А. Лосев

НА БЕРЕГУ ВЕЛИКОЙ РЕКИ

Советская Россия

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Повесть П. Лосева «На берегу великой реки» посвящена детству и ранней юности великого русского поэта, певца печали и мести народной, Николая Алексеевича Некрасова.

Первая часть повести рисует детские годы поэта, картины тяжелой жизни подавленных нуждой и горем крепостных крестьян.

События второй части развертываются в древнем городе Ярославле, где Некрасов учился в губернской гимназии.

На протяжении всей книги показывается становление мировоззрения поэта, формирование его личности.

На родине поэта – в Ярославской области – первая часть повести П. Лосева вышла под названием «У берегов большой реки».

Настоящее издание дополнено и переработано автором.

- Павел Лосев
  - Часть первая
    - Рябина
    - Пороша
    - Встреча
    - Зимний день
    - Дорогой подарок
    - Друзья-приятели
    - Мать
    - Первое стихотворение
    - Аксай
    - Большая дорога
    - Добрые разбойники
    - Под грозой
    - Отъезд
  - Часть вторая
    - Стрелка
    - В классе
    - Серое небо
    - Которосль
    - Полушкина роща
    - Чертобесие
    - Царь– батюшка
    - На Сенной
    - Прощай, гимназия!
    - Возвращение

- В столицу!

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35

Павел Лосев
На берегу великой реки

Часть первая
Грешнево

Рябина

Ни в ком противоречия,
Кого хочу – помилую,
Кого хочу – казню.

Н. Некрасов. Из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»

В чулане было темно. Маленькое, круглое, затянутое пыльной паутиной оконце запотело. Коля протер его ладонью и глянул наружу. Грустная картина открылась перед ним. Догола раздели холодные ветры старый сад. От частых дождей, от ненастной погоды все деревья, еще недавно такие кудрявые и зеленые, сделались черными, постаревшими.

Только рябина не сдается. Хоть и на ее ветвях нет **уже** ни листика, зато ярко полыхают красные гроздья, особенно в те редкие минуты, когда проглянет из-за облаков, мокрых и низких, усталое солнышко. Рябина – ягода осенняя. Сейчас – горькая да кислая. А вот стукнет первый морозец, тогда, сделай милость, рви ее, ешь – ничего не найдешь вкуснее и слаще.

Удивительно, до чего быстро проходит лето, вздыхает Коля. Оглянуться не успеешь, а уже летят кругом багряно-желтые листья и шуршат, шуршат под ногами, как живые.

Конечно, зимой тоже не так уж плохо. Тут тебе и ледяная горка, и быстрые санки, и веселые снежки. Но не слишком ли долго тянется она, зима эта самая? Ведь верных полгода, если не больше! Ну, почему бы не постоять еще ясным, теплым денечкам? Подождали бы где-нибудь на далеком Севере серые тучи с мелким надоедливым дождем. Затерялись бы в неуютных полях непрошеные, неопрятные гости – кашли да насморки. Ему-то, Коле, они еще не так страшны, а вот брату Андрюше – прямо беда. Как осень, так он непременно в постель: лоб горячий-горячий, а рот открыт, как у беспомощного птенца. Даже сладкие нянины снадобья – малиновое варенье, сотовый мед и душистые тягучие сиропы – мало ему помогают. «Такой уж он у нас хлипкий», – горестно вздыхая, говорит старая няня Катерина…

Да вот и она сама. Легка на помине! За тонкой перегородкой слышится ее добрый певучий голос:

– Николушка, родименький! Где ты?

Даже няня не знает об этом укромном местечке, куда любит уединяться Коля. Правда, здесь не особенно уютно, пахнет

мышами и плесенью, но зато тут тихо, никто не мешает думать. У самого окна стоит, скособочившись, старое отцовское кресло. Оно, ободранное, покачивается, но на нем все же можно сидеть, читать книжки. Коля и прячет их сюда, чтобы младший братик не разорвал. Чего с него спрашивать, с несмысленыша, он не понимает, что такое книги. А Коле без них и жизнь не в жизнь!

– Иду, нянюшка, иду! – отозвался он, выйдя из чулана и открывая дверь в коридор. – Что случилась? Кому я нужен?

– А папеньке. Они требуют. Аль забыл?

– Разве уже девять часов?

– Эва! На десятый пошло. Поспешай, мой милый.

Вчера за обедом отец приказал Коле ровно в девять утра быть на крыльце дома.

– Мужиков судить-рядить буду, – басил он, вытирая жирные губы салфеткой. – А ты поглядишь да послушаешь. Поучишься, как с холопами обращаться следует. Пригодится! Вот скоро вырастешь и обзаведешься своей собственной вотчиной. Тысчонки две крепостных заимеешь. Хе-хе! Не то, что у меня, грешного, – двухсот не наберется.

Отец сокрушенно вздохнул и, вставая из-за стола, похлопал сына по плечу:

– Ты у меня толковый. Умом не обидел бог. Знаю, не посрамишь рода некрасовского. Скажи, не так?…

Торопливо натянув на плечи теплую курточку, Коля бросился к выходу. Но у самой двери остановился, прислушался. Так и есть – уже началось! За дверью раздавался сердитый голос отца. Нет, не стоит попадаться ему на глаза. Лучше как-нибудь незаметно, из-за уголка, вынырнуть. И он юркнул к боковому выходу.

– А, явился! – заметив сына, произнес отец и потянул его к себе. – Вот здесь встань, справа. Ближе, ближе!

Отец сидел на широком стуле, сплетенном из прутьев гибкого ивняка. Его плотные, прямые ноги в начищенных до блеска сапогах были вытянуты вперед. На голове – высокий картуз с алым околышем, на плечах – офицерская шинель с голубоватым отливом.

Слева возвышалась дородная фигура старосты Ераста. Его окладистая борода черна, как у цыгана.

Шагах в пяти от крыльца толпилась кучка понурых, молчаливых крестьян. Они были без шапок, в длинных домотканных рубахах с бесчисленными разноцветными заплатами, в стоптанных, испачканных рыжей глиной лаптях.

За мужицкими спинами мелькало чье-то женское лицо с низко спущенным на лоб стареньким клетчатым платком. Да это же Василиса, узнал Коля, мать его деревенского дружка Савоськи.

Волосы у нее седые-седые, как у няни Катерины. «Неужели и ее отец судить-рядить будет? – с тревогой подумал он. – За что? Уж не Савоська ли напроказил? Да нет. Он бы сказал, только вчера с ним виделись. Тут, должно быть, что-то другое».

– Так ты говоришь, сдохла твоя лошадь, Прошка? – спрашивал между тем отец стоявшего перед ним сухощавого мужика с впалой грудью и сутулой спиной.

– Сдохла, кормилец ты наш, – сгибаясь почти до земли, отвечал печально крестьянин, – как есть сдохла. Намедни.

– А почему? Растолкуй мне, пожалуйста, – прищурил глаза отец. – Почему?

Мужик истово перекрестился.

– На все воля божья, батюшка-барин. От старости лет сдохла Карюха. Век вышел.

– Ишь ты, век вышел, – насмешливо проговорил отец. – Рассказывай сказки! Небось нахлестался в кабаке, как свинья, да и загнал животину. Скажи, не так?

– Спаси Христос, батюшка-барин, – глядя больными, усталыми глазами, плачущим голосом отозвался крестьянин. – Да мне зелья этого поганого и на дух не нужно. Вот и Ераст Силыч подтвердить могут.

Отец вопросительно глянул на старосту:

– Как?

Ераст презрительно хмыкнул в черную бороду:

– Все они – одного поля ягода. Только и твердят: в кабак далеко, да ходить легко, а в церкву – близко, да ходить склизко!..

Откинувшись на спинку стула, отец раскатисто захохотал:

– Это ты, братец мой, в самую точку. В кабак далеко, да ходить легко! Ловко! Ха-ха-ха!

Подогретый господской похвалой, староста самодовольно крякнул и продолжал:

– Где кабачок, там и мужичок! Это любому-всякому известно! Им бы о боге подумать да на барина часок лишний потрудиться, а они – за косушку! Знаю я их!..

В толпе загудели. А сухощавый мужик, упав на колени, громко всхлипывал:

– Отец родной, милостивец наш! До вина ли мне! Детишек куча. С голоду пухнут. А Карюха куда как была стара. Все зубы выпали. Хоть кого спроси… Окажи божескую милость, дай лошаденку немудрящую какую. Пожалей детишек малых. Ради пресвятой богородицы… – И крестьянин ткнулся губами в кончик блестящего барского сапога.

– Ну, ладно, ладно, – брезгливо подтянул ноги отец. – Так и быть, дам лошадь. А за то, что не сберег прежнюю, отправляйся

на конюшню… Фомка, эй, Фомка!

Из толпы высунулось подслеповатое лицо пожилого мужика:

– Что прикажешь, батюшка-барин?

– Посеки его, Фомка, малость, – показал отец пальцем на сухощавого крестьянина. А затем неожиданно добавил: – Потом и он тебя немного похлещет. Ко взаимному, так сказать, удовольствию. Хи-хи-хи!

До чего же противно Коле это хихиканье! В такие минуты он страшно не любит отца. Он кажется ему чужим, неприятным человеком.

– Батюшка-барин! – услышав, что и ему придется лечь под розги, взвыл подслеповатый мужик – Меня-то за что? Я-то чем провинился?

– Выходит, ты в своем доме не хозяин. Холсты, холсты где? Двадцать аршин.

– Не посылай на конюшню, барин, – умолял крестьянин, – завтра будут холсты. Глаза у бабы ослабли. Видит плохо. Задержалась чуток. А завтра холсты принесу. В собственные ручки Аграфене-ключнице сдам. Видит бог…

– То завтра, то сегодня, – сердился отец. – Марш на конюшню, и никаких разговоров!..

Тут взор его упал на выглядывавшее из-за плеча подслеповатого мужика испуганное лицо Василисы.

– А ты здесь зачем?! Тебя кто звал?! – закричал он.

Василиса, задрожав от страха, едва слышно пролепетала:

– Степаху, сынка моего, звали, а он отлучимшись. Вот я заместо него.

– Этого еще не хватало! Ишь, до чего глупая баба додумалась… Ераст, где Степка? Докладывай!..

– Виноват, не проследил! – заегозил староста. – Дурит парень. В Аббакумцево повадился.

– В Аббакумцево? К девкам, что ли? Ох, уж задам я ему!

Староста хотел что-то ответить, но, поперхнувшись, промолчал.

Рывком откинув шинель на спинку стула, отец погрозил Василисе кулаком:

– Одно остается – продать всю вашу семейку беспутную. Никакой, то есть, пользы от вас. Морока одна… Пошла прочь! А Степку ко мне немедля. Слышишь?

Схватившись за голову, Василиса исчезла за воротами.

Глубокая тревога охватила Колю. Неужто и в самом деле продаст отец семью этой несчастной женщины? И Савоську, и его старшего брата Степана, и меньших братишек и сестренок? Бедный Савоська! Он и не подозревает, что его ждет. Всем

сердцем волнуясь за судьбу своего закадычного дружка, Коля шмыгнул носом. Потом еще и еще. Отец невольно обернулся.

– Что, скучаешь, брат? – нахмурившись, спросил он. – Неинтересно? Тебе бы только баклуши бить. Скажи, не так?

Баклуши? Коля никакого понятия о них не имеет чудное слово. Откуда его отец выкопал?

– Вижу, надоело тебе, ступай-ка гулять, – сказал вдруг отец!

Уже чего-чего, а этого Коля никак не ожидал. Думал, долго еще придется около отца стоять – мужиков у крыльца много, наверно, с каждым строгий разговор будет.

– Можно и за ворота, папочка? – расхрабрился он.

– За ворота? – Отец сморщил лоб. – Ладно. Разрешаю. На все четыре стороны!

Боясь, как бы отец не передумал, Коля быстро выскочил на улицу. Он и радовался и горевал. Как хорошо, что удалось избавиться от этих невеселых дел, от грозных окриков отца! Но его волновала Савоськина судьба. Чем-то все закончится?

По узенькой стежке, протянувшейся вдоль забора барского дома, он бросился к своему приятелю. Миновал избу старосты, новенькую, с желтыми, как воск, бревнами, добротно проконопаченными сухим белым мхом. В окнах Ераста – самые настоящие стекла. Ни у кого в деревне их нет.

Эх, такую бы избу да Савоське! А то у них – избушка на курьих ножках. Сбоку подпорки, как костыли у хромого. Солома на крыше обветшалая, прелая, проросшая. Одно-единственное окошко тусклым пузырем затянуто.

В темных сенях, пропахших навозом, он чуть не столкнулся лбом с Савоськой.

– Ты ко мне, что ли? – неприветливо спросил тот.

– Вестимо! Потолковать надо.

– Ой, некогда! – с досадой махнул рукой Савоська. – За братаном побегу! В Аббакумцево! Матка посылает!

– И я с тобой!

– Ежели хочешь – бежим!

И мальчуганы во всю прыть кинулись к околице на ходу перепрыгивая грязные лужи.

Аббакумцево видно издалека. Оно стоит на высокой, спускающейся в сторону Волги горе. На самой ее вершине белеет старая церковь с остроконечной колокольней.

Чем ближе к Аббакумцеву, тем сильнее спешит Савоська. Так и не расскажешь ему ничего. Коля запыхался. Со лба текли струйки пота. Шуточное ли дело эдак лететь. Да еще в гору.

– Савоська, эй, Савоська! Постой!

Но того уже и след простыл. Словно на крыльях стремится

вперед. Угонись за ним, попробуй!

Только у церковной ограды догнал он приятеля.

– Вот несется, вот несется, – тяжело дыша, заговорил он. – Ну прямо, как в скороходах.

– Чего? – не понял Савоська.

– В скороходах, говорю. Это сапоги такие. Как наденешь их на ноги – сразу за тридевять земель. Сто верст в минуту. Во как!..

Но Савоська весьма равнодушно отнесся к сапогам-скороходам. Не до них ему сейчас. Другая забота на сердце.

– Мамка сказала – к учителю ушел Степаха, в поповский дом, – оглянувшись вокруг, словно кто мог его подслушать, зашептал он. – А ежели там собака? Да злющая?

– Так ведь она, верно, на цепи, – успокаивал Коля. – Давай я первым пойду. Хорошо?

Еще бы! Признаться, Савоську не столько собака пугала, сколько те, кто живут в поповском доме. Особенно учитель, Александр Николаевич.

Подойдя к поповскому дому, окруженному голубым палисадником, Коля открыл калитку и шагнул за ограду. Никакой собаки. Тихо, как на кладбище.

В эту минуту дверь отворилась. На пороге показался человек с русой бородкой, в очках. Волосы на его голове доходили почти до самых плеч, как у священника. Это и был учитель Александр Николаевич.

– Здравствуйте, дети! – мягким, бархатистым голосом произнес он, снимая очки и близоруко глядя на ребят.

– Здравствуйте, Александр Николаевич! – радостно отозвался Коля.

– Вас, наверное, матушка прислала? Потребовались какие-нибудь книги? – продолжал учитель.

– Нет, это не я к вам, это он, Савоська, к вам, – дергая дружка за рукав, ответил Коля. – Ну, говори, не бойся.

Но тот окончательно растерялся. Опустив низко голову, будто окаменел.

– Что же ты молчишь, мой друг? Может быть, язык по дороге потерял? – ласково пошутил Александр Николаевич.

А Савоська даже не улыбнулся. Молчит – и все!

– Да он брата своего ищет, Степана, – ответил вместо него Коля.

С любопытством оглядывая Савоську с ног до головы, учитель погладил его по вихрастой голове.

– Это зачем же тебе братец нужен? Соскучился без него? Так, что ли?

– Не, – прошептал Савоська, – дядя Ераст приказал, староста.

К самому барину требуют.

– К барину? – тревожно переспросил учитель. – Это другое дело.

– Мамка слезами заливается, – уже более уверенно говорил Савоська, поднимая глаза. – Сердится барин на Степана. Грозится всех нас продать в чужую сторону.

– Продать? – Александр Николаевич задумался и вздохнул. – Это штука серьезная. Сейчас я позову Степана. – И, пригнувшись под притолокой, он скрылся за дверью. Через минуту на крыльцо вышел Степан, сопровождаемый учителем.

Выслушав бессвязный рассказ Савоськи, он озабоченно откинул назад с большого загорелого лба красивые русые волосы.

– Да-а, – уныло протянул Степан. – Выходит поспешать надо. – Затем, обернувшись к Александру Николаевичу, он застенчиво сказал:

– Так что я уж в другой раз решу эту задачку Простите, Александр Николаевич, за беспокойство.

Спускаться с горы было легко. К тому же Степан вел ребят по знакомой ему, едва приметной в пожелтелой траве полевой тропинке.

Вышли возле господской конюшни. Степан повернул к дому старосты. А Савоська предложил Коле:

– Айда к нам! Я тебе человечков покажу.

– Каких человечков? – заинтересовался Коля.

– Да Степаха слепил. До чего ловко! Сам увидишь!

Хоть и давно пора домой, там, верно, уже хватились его, но на минутку заглянуть, пожалуй, можно.

Заглянул, да чуть не целый час и пробыл. Вместе с Савоськой разглядывал у раскрытой двери (чтобы виднее было) стоявшие на длинном опрокинутом вверх дном деревянном ящике забавные фигурки из глины. Вот один маленький человечек смело размахнулся косой – сразу видно, что траву косит. А другой над своей головой цеп поднял – значит, снопы молотит. Третий сидит на пеньке и на балалайке играет. Ну, а четвертый подбоченился лихо и пошел вприсядку…

Налюбовавшись глиняными человечками, Коля уже собрался было уходить, как вдруг в избу с рыданиями ворвалась мать Савоськи. Седые ее волосы растрепались, клетчатый платок сполз набок. Она, как пласт, упала на лавку и громко запричитала:

– Ох, горе-горюшко! Ох, за что нам такие муки выпали?

– Мамка! Ты что, мамка? Кто обидел тебя? – кинулся к ней Савоська.

– Да не меня, Степаху нашего, кровиночку мою, – сквозь слезы отвечала Василиса, стукаясь головой об лавку. – На

«девятую половину»[1] послали. Ни за что, ни про что!

Она зарыдала с новой силой.

Стоя в полутемном углу, Коля печально смотрел на Василису, с болью в сердце слушая ее горестные причитания.

– Царица небесная, пресвятая богородица! Да какой же из него псарь, какой собачник? – будто убеждая кого-то, плакала Василиса. – Малым дитей был – его барбосы проклятые покусали. С той поры видеть он их не может. А теперь – на псарню! Да еще сейчас сечь будут. О, господи! За что муки такие? За какие прегрешения?

Незаметно выбравшись из тесной избы, Коля медленно поплелся домой. В синеватых лужах грустно блестело холодное, негреющее солнце. Огнем пламенела рябина под окнами. Алые ягоды ее напоминали капли крови, которая вот теперь, в эту минуту, может быть, брызжет из белого тела Степана. Хмуро каркала серая ворона на макушке гнилой ветлы, пророча новые беды.

Никогда еще не было Коле так печально и тоскливо, как сегодня. Будто он с тягостных похорон возвращался. Будто умер кто-то родной и близкий.

Пороша

Рога трубят ретиво,
Пугая ранний сон детей,
И воют псы нетерпеливо…

Н. Некрасов. «Несчастные».

Снег повалил с утра. Все кругом побелело: и черная с застывшими комьями грязи дорога, и зеленые, разбросанные тут и там полоски жидкой озими, и желтые квадраты жнивья, и голые рощи, и перелески.

Вечер. В длинном господском доме, на самом краю Грешнева, рано зажглись огни. Тускло мелькают они в узких продолговатых окнах, наполовину скрытых высоким забором.

Позади дома смутно вырисовываются темные очертания вязов и лип. Они таинственно уходят в сумеречную глубину старого сада.

В этот час Коля сидит в столовой, прижавшись в углу к теплой печке, облицованной цветными изразцовыми плитками. В стороне, напротив окна, склонился над низким круглым столом отец.

Он внимательно рассматривает мелкие частицы разобранного охотничьего ружья, бережно поднимает их одну за другой к свету, иногда что-то неопределенно мыча себе под нос.

В руках у Коли книжка. Но он не читает. Ему скучно. Бесстрастно следит он за движениями отца.

И еще два человека в комнате. Они покорно стоят у двери. Один из них доезжачий[2] Платон, пожилой бородатый мужик в длинном армяке, другой – охотник Ефим Орловский, бритый, с короткими усами, в высоких сапогах.

– Значит, все готово? – строго спросил отец, не поворачивая головы.

– Как есть все готово, Алексей Сергеевич, – наклонил голову доезжачий.

Платон – старый, опытный псарь. Ему даже разрешается называть барина по имени-отчеству.

– Вот и отлично! – повеселел отец. – Куда же поначалу двинемся?

– Надо полагать, в Николо-Бор, Алексей Сергеич, там теперь зверя пропасть.

– Николо-Бор, значит? Добре! Туда так туда!

Коля видит, как, почесав небритую щеку, отец перевел

суровые, навыкате, глаза в сторону Ефима:

– А ты что молчишь? Не согласен?

– Нет, почему же не согласен, – осторожно кашлянув в кулак, ответил охотник. – Нам все равно, где зверя бить. Были бы, батюшка-барин, ружьишко да порох.

– А поди у тебя их нет? – насмешливо глянул на него отец. – С голыми руками на охоту ездишь? А? Скажи, не так?

– Я, батюшка-барин, не жалуюсь. Вашей милостью все у меня есть.

– Ну, то-то!

Отец трижды хлопнул в ладоши. Хлопки прозвучали гулко, как выстрелы. Коля вздрогнул. В дверях показался босоногий мальчуган в холщовой рубахе без пояса, с густо намазанными конопляным маслом рыжими волосами, остриженными под кружок.

– А ну-ка, угости нас, чудо-юдо! – крикнул ему отец.

Мальчик мгновенно исчез и через минуту появился с серебряным подносом, на котором стояли три рюмки – одна большая, позолоченная, с тонким рисунком, другие – поменьше, из простого синего стекла.

Взяв большую рюмку, отец опрокинул ее в рот, смачно крякнул, вытер губы рукавом. Затем приказал Платону:

– Пей!

Доезжачий приблизился к подносу. Бережно, боясь выплеснуть хоть самую малую толику вина, взял двумя заскорузлыми пальцами рюмку и, перекрестив ею широкий рот, быстро выпил.

– А ты что стесняешься? – обратился отец к охотнику. – Чай, не красная девица. Пей!

Ефим молча снял с подноса рюмку, степенно выпил и слегка нагнул голову.

Опорожнив еще одну рюмку, отец широко зевнул.

– Ступайте! – приказал он. – Я прилягу. Ефим вышел первым. А Платон, не успев закрыть дверь, вдруг услышал за своей спиной:

– Постой! Степка где?

Доезжачий смущенно затеребил бороду.

– Должно, на псарне. Где еще быть, – неуверенно ответил он и, почтительно кашлянув в кулак, добавил:

– Наказали его тогда оченно по справедливости. Другой бы благодарил, что так легко отделался, а он, вишь ты, обиделся. Благородного из себя корчит.

– Мало ему всыпали, – заворчал отец. – Погоди, я еще за него возьмусь, разрисую спину по всем правилам.

Неслышно прикрыв за собой дверь, Платон ушел. Отец собрал ружье и оглянулся вокруг.

– Ты все еще тут? Почему не спишь? – недовольно спросил он Колю. Тот быстро поднялся и, пробормотав «спокойной ночи, папенька», поспешил в свою комнату. Брат Андрюша давно уже спал, блаженно посвистывая носом. Осторожно, стараясь не разбудить спящего, Коля улегся рядом с ним на постель.

В доме тишина. Но вот где-то скрипуче закуковала кукушка. Это часы в гостиной.

За окнами неслышно падал мягкий, пушистый снег. Он опускался лениво, медленно, и казалось, что ему не хочется ложиться на жесткую, неуютную землю.

Сиротливо приткнувшись к высокому забору господского дома, утомленно спала деревня. Не разбудила ее и пронесшаяся в сторону Костромы запоздалая тройка. Лишь вперебой загалдели галки в вершинах лип.

Монотонно застучала колотушка: одноглазый сторож Игнат вышел на охрану господских владений.

Во второй половине ночи снег перестал сыпать с неба. Но везде уже белым-бело. Низкие густые облака повисли над деревней.

В такую погоду только бы спать да спать под унылое завывание ветра в трубе. Но хозяин дома уже проснулся, спустил волосатые ноги на облезлую медвежью шкуру. Вот он снял со стены изогнутый, потемневший от времени серебряный охотничий рог и приложил его к губам.

Протяжный, хватающий за душу звук пронесся по тихим, объятым сном комнатам, вырвался сквозь окна на улицу. Задремавший было в тесной будке сторож Игнат испуганно вскочил и часто-часто застучал колотушкой.

А нудный звук все нарастал и нарастал. Он проникал всюду, врываясь и в тихую, полную светлых снов детскую. Зашевелились на подушках маленькие головки, звонко заплакал годовалый ребенок, всполошилась старая няня Катерина. Слышно, как она уговаривала малыша:

– Спи, спи, мой голубчик! Закрой глазоньки! Баю-бай! Баю-бай!

Но малыш не успокаивался и плакал все громче. Из соседней комнаты с горящей свечой в руках, вся в белом, как привидение, появилась мать. Взяв ребенка на руки, она ласково качала его, приговаривая:

– Успокойся, мой глупышка! Я с тобой, я здесь! Ребенок постепенно затих. Но хриплый звук охотничьего рога возник с новой силой. Пугливо вздрогнув, малыш теснее прижался к

матери…

– Николенька, ты не спишь? – зашептал в темноте Андрюша.

Брат не отозвался.

– Николенька! Слышишь?

– Ну, что тебе? – сонным голосом откликнулся Коля.

– Папенька на охоту собирается.

– Знаю. Спи!

– Не могу. Разве уснешь, когда шумят.

Мальчики замолкли. Не звучал уже и рог. Но зато теперь отовсюду доносились скрип и хлопанье дверей, топот ног. Старый дом сотрясался от глухого гула.

На улице затявкала собака, потом другая, третья – и вскоре несмолкаемый лай заполнил весь двор.

На крыльцо вышел сам виновник ночной суматохи. Он в синей, отороченной мехом венгерке, в смушковой шапке с алым бархатным верхом. В правой руке – арапник.

Окинув зорким взглядом двор, Алексей Сергеевич повелительно крикнул:

– Платон!

И тотчас же во всех углах двора раздалось, как эхо:

– Платон! Платон! К барину!

Откуда-то из глубины двора вынырнул доезжачий. Расталкивая сгрудившихся у крыльца людей, он почти бегом приблизился к барину.

– Все ли готово? Докладывай! – хлопнул арапником по сапогу помещик.

– Как есть все готово, Алексей Сергеевич, – в пояс кланялся доезжачий. – Прикажете отправляться?

– Где Ефим?

– Тут я! На месте! – бодро откликнулся охотник.

– А Степка?

Платон поперхнулся:

– Так что послали за ним.

– То есть как послали? – сдвинул брови Алексей Сергеевич. – Здесь он быть должен.

– То-то и дело, что нету его, – растерянно теребил бороду Платон. – В избу к нему конопатого Семку угнал. Не занедужил ли, чего доброго, Степка…

Алексей Сергеевич презрительно хмыкнул:

– Занедужил? Скажите, какие нежности! Да я его из гроба подниму… Не может холоп болеть без моего разрешения. Скажи, не так?

Левая щека Алексея Сергеевича нервически дернулась, словно кто кольнул ее булавкой.

К Платону подбежал запыхавшийся, усыпанный веснушками парень. Увидев барина, он упал на колени и, еле переводя дыхание, выпалил:

– Нетути! С вечера, бают, Степка не заявлялся.

– Каналья! – злобно сверкнул глазами Алексей Сергеевич. – Сбежал, не иначе сбежал!

– Руки на себя не наложил ли? – неуверенно произнес Платон.

Но Алексей Сергеевич и слушать не хотел.

– Чепуха! Ерунда! – кричал он на весь двор. – Сбежал! Знаю. Давно замышлял, мерзавец. Из-под земли его достану. На дне моря не скроется.

Под разноголосый собачий хор в ворота въезжали верховые охотники. На них, как и на помещике, синие венгерки, только из грубого сукна и изрядно потрепанные, с заплатами на локтях. На головах – высокие, похожие на воинские киверы, картузы с лакированными козырьками. Таких замысловатых картузов ни у кого, кроме некрасовских егерей, в здешних краях не увидишь. Зато обувь у охотников самая непривлекательная: сапоги с оторванными подметками, стоптанные опорки, дырявые лапти.

Опустившись на услужливо подставленный Платоном стул, Алексей Сергеевич раскатисто скомандовал:

– Отправляться! Арш!..

Пестрая свора собак шумно выкатилась со двора.

Вслед выехали верховые. Кто-то из охотников тонким, визгливым тенорком протяжно затянул:

Не пора ли нам, ребята,
Своих коников седлать?

Ему ответил нестройный хор басовитых голосов.

Гей, гей, нам пора
Своих коников седлать!..

А запевала продолжал спрашивать:

Не пора ль коней седлать,
В чисто поле выезжать?…

С каждой минутой голоса удалялись. Затихал и собачий гам.

В доме снова тишина. Уткнувшись носом в подушку, заснул

Андрюша. Но Коля не спал. Он слышал, как за стеной, в детской, няня негромко говорила:

– Уехали, матушка-барыня, уехали. Отгалдели, отлаяли… Барин-то напоследки сильно лютовал. Степашку Петрова, вишь, не могли найти. Сбежал, бают, незнамо куда. А барин грозится: из-под земли, мол, его достану. – И няня горестно заохала…

Утром, едва успев открыть глаза, Коля толкнул брата в бок:

– Слышал? Степан пропал.

– Какой Степан?

– Савоськин брат.

– Вот тебе и на! Как же это он пропал?

– А очень просто: сбежал!

– Куда?

– Наверно, в лес.

– Попробуй, спрячься теперь в лесу. Холодно! Снегу скоро наметет страсть сколько!

– А может, он в город.

– В город? – недоверчиво протянул Андрюша. – Да там его сразу схватят.

– Думаешь, в Ярославль? Что он, глупый, что ли? До Питера доберется, до столицы. А там людей, говорят, видимо-невидимо. Разберись, кто беглый, кто какой.

– Это, пожалуй, правда, – подумав, согласился Андрюша. – В Питере поймать трудно.

Он замолчал и, кажется, снова заснул. А Коля думал о Степане. Где он сейчас? Неужели не вернется? А как же Савоська? Как его сестренки? Отца у них нет. В позапрошлом году его медведь в лесу примял…

Из гостиной донесся шорох. Потом стукнула деревянная дверца стенных часов, и бессонная кукушка, выскочив из своего домика, прокричала семь раз.

А за окнами опять замелькали снежинки. С Волги прилетел студеный ветер, сурово пригнул голые – вершины молодых, недавно посаженных матерью лип, тоскливо завыл в трубе, как бездомная собака.

По широкому, протянувшемуся за желтым забором усадьбы большаку, изъезженному и истоптанному, прокатили первые сани. Это кто-то из своих, грешневских, обновлял путь.

– Просыпайтесь, голуби! Пора! – послышался за ширмой ласковый голос няни Катерины. А вот и ее доброе морщинистое лицо.

Няня подошла к окну, раздвинула шторы, и, глянув во двор, певуче-мягко произнесла, словно разговаривая с кем-то:

– Вот и пришла ты, наша красавица. Здравствуй, здравствуй,

гостья желанная!..

Привстав на колени, Коля с любопытством прислушался.

– С кем ты это, нянюшка, беседуешь?

Няня обернулась и закачала головой:

– Услышал? Ах ты, проказник этакий!.. Это я зимушке, родимый, кланяюсь. Вишь, какая пороша выпала. Первозимье! Первопуток! Красота неописуемая!

Сунув ноги в мягкие войлочные туфли, Коля в одной ночной рубашке поспешил к окну. Будто белым полотном накрыло весь двор. И Жучкина будка словно ватой закутана.

– До чего же нынче славно на улице! – обрадовался он. – Только бы на санках кататься.

– Бр-р! Холодно! – вздрогнув, отозвался Андрюша. – Так бы целый день и не вылезал из-под одеяла. Лежал да лежал.

Коля весело засмеялся:

– Как медведь в берлоге! А лапу сосать будешь?

Снова глянув в окно, он вдруг восторженно закричал:

– Воробьишки! Милые! И откуда их столько налетело? Тьма-тьмущая.

– А они с полей, Николенька, – подпирая щеку рукой, объяснила няня. – Которые воробьи круглый год в деревне проживают, а которые в поле. Летом зернышки клюют, козявок разных ловят. А выпадет снег – они поближе к человеку летят. Знают ведь, шельмы этакие, накормят их добрые люди.

– Давай и мы их покормим, – живо сказал Коля. – Хлебца бы, нянюшка? А?

– Сейчас, голубчик, сейчас, – ответила няня, – Для святого дела хлебца не жаль.

Она принесла с кухни большую румяную краюху. Коля быстро разломил ее пополам и, мелко-мелко искрошив одну половину, бросил крошки в форточку. Дружной стаей воробьи ринулись с деревьев и крыш на снег. Выхватывали друг у друга крошки, отчаянно дрались. Вдруг, как по команде, шумно поднялись в воздух.

– Чего это они? – удивился Коля, прижимаясь носом к мокрому стеклу. – А-а! Васька! Ишь, разбойник, – под крыльцом прячется. Я тебе задам, злодей! – погрозил он кулаком.

Но черный кот с белой манишкой на груди не замечал ничего. Он сладко облизывался, глядя на воробьишек. Но те, как няня говорит, – птицы стреляные. Их на мякине не проведешь. Насмешливо посматривали они сверху на своего врага, словно подзадоривая: «Попробуй, достань нас!»

Во двор въехали груженные березовыми дровами сани. Рядом с пегой пузатой лошадью шагал мальчуган лет десяти в

надвинутой на самый лоб старенькой заячьей шапке, в длинном, не по росту, полушубке, с вылезающими наружу клочьями овчинной шерсти. На широком румяном лице мальчика неуклюже торчал похожий на картофелину нос.

– Савоська! – испуганно вырвалось из уст Коли, вспомнившего про Степана. – Эй, Савоська! – крикнул он в форточку. – Здорово! Куда ездил?

От неожиданности мальчуган вздрогнул и повернул к форточке грустно-унылые глаза.

– Это я-то? – переспросил он, увидев в окне барича. – А в Качалов лесок. Дровишек на кухню привез. Дядя Ераст меня затемно поднял. Матка у нас хворает. А братан пропал.

– Ты, верно, голодный? – забеспокоился Коля. – Хочешь хлеба?

Савоська молчал, стыдливо опустив голову. По всему было видно, что ему очень хочется есть. Коля торопливо просунул в форточку остаток краюхи:

– Бери, Савоська, бери. А днем пирога тебе принесу. С печенкой!

Сзади кто-то потянул Колю за рубашку. Опять эта няня!

– И что мне с тобой делать? – сердилась она. – Застудишься – и помрешь. Нет, видать, ни капельки тебе меня не жалко.

– Что ты, нянюшка, что ты, милая! – бросился к ней Коля.

– Я так тебя жалею, так люблю. Ты хорошая!

– Была бы хорошая, не мучил бы меня своим непослушанием. Вот ужо, если не матушке, так Александру Николаевичу беспременно на тебя пожалуюсь. Он человек справедливый. Пускай тебя уму-разуму поучит…

Встреча

…Но помню я: здесь что-то всех давило,
Здесь в малом и большом тоскливо сердце ныло.

Н. Некрасов. «Родина».

Мутный рассвет еще только поднимался над городом, когда из настежь распахнутых ворот белого губернаторского дома выехала красивая, покачивающаяся на рессорах карета, запряженная тройкой сытых породистых лошадей.

Управлял тройкой представительный, с широкой, как лопата, бородой, кучер. Он с достоинством держал вожжи, то натягивая, то ослабляя их. Позади скакали на рыжих конях два солдата в теплой обмундировке – один седоусый, толстый, лет пятидесяти, другой помоложе, с заметными следами оспы на лице.

Очень скоро не совсем обычная для этих мест, внушительная карета оказалась на левом берегу Волги. Отсюда, стоило только обернуться, хорошо был виден оставшийся позади город: приземистая, точно вросшая в берег, арсенальная башня – жалкий остаток окружавших когда-то город неприступных крепостных стен, бесчисленные лазурные и золоченые главы старинных церквей, длинный ряд невзрачных мещанских домишек.

По бокам замелькали подслеповатые избенки Тверицкой слободы, показалось усеянное покосившимися деревянными крестами кладбище с унылой часовней из красного кирпича. Затем стали надвигаться высокие сосны, запестрел мелкий, осыпанный первым легким снегом кустарник.

Сопровождавшие карету солдаты негромко беседовали между собой.

– По здешней дорожке я, братец ты мой, хаживал, и не один раз, – простуженно хрипел седоусый солдат, придерживая висевшую сбоку саблю.

– Это по какому такому случаю? Ты ведь не тутошний, сказывал – тамбовский, – откликнулся молодой.

– Арестантов, братец ты мой, сопровождал. В Сибирь, на каторгу! – объяснил старый солдат.

– Вот оно что! – блеснул глазами собеседник. – Выходит, эта дорога до самой Сибири тянется?

– Выходит так. Потому ее Сибиркой и прозывают.

Солдаты замолчали, задумались. Изредка всхрапывали кони,

Мерно постукивали колеса. Карета катилась теперь столбовым почтовым трактом, по сторонам которого тянулись нескончаемой линией белоствольные березы.

Рванул холодный, пронизывающий ветер.

– Ну и погодка, будь она неладна. Все нутро насквозь продувает! – зябко поеживаясь, жаловался молодой служака.

– Да, погодка – того, неважнецкая! – снисходительно подтвердил седоусый. – Я уж и без того простудимшись…

– Эх ты, служба, служба! – вздохнул молодой солдат. – И за какие только наши прегрешения терпеть приходится? Чего ради? Ровно ты собака бездомная. Нет, той, пожалуй, лучше. Она, по крайности, вольная. Куда хочет, туда и бежит. Не то, что мы… Верно ведь баю?

– Верно-то оно верно, парень. Только ты того: языку воли не давай! Он, известно дело, не только до Киева – до Сибири доведет, – сурово предупредил старый солдат. – За такие слова, ежели, не приведи бог, начальство услышит, как раз по этой самой дорожке, по Сибирке, с шумом-звоном тебя погонят. После Сенатской[3] куда как строго везде стало.

– Я что, я ничего, – боязливо залепетал молодой солдат, – я так, промежду прочим.

Карета спустилась вниз, к переезду через узенькую речку. Но тут, на самой середине полуразрушенного моста, заднее колесо, проломив гнилую доску, с треском провалилось. Кучер, едва не слетев со своего возвышения, громко ругнулся.

Дверцы кареты с легким стуком отворились, и из нее глянул полный человек с холеным, чисто выбритым лицом. Это был царский сановник граф Лопухов. Он приезжал в Ярославскую губернию по делам службы и теперь спешил в Кострому, боясь, чтобы не замело дорогу снегом – тогда далеко в карете не уедешь.

– Что такое? – раздраженно бросил Лопухов, нервно передернув плечами. – Почему остановились?

– Сей момент, ваше сиятельство – засуетился кучер, помогая графу выбраться наружу.

Солдаты спешились, отвели коней в сторону и привязали за торчавшую на берегу одинокую старую иву.

– Давай, берись! – командовал им кучер, ухватившись за колесо. – Взяли! Подняли!

Но колесо не поддавалось. Оно, словно нарочно, осело еще глубже.

Граф степенно поднялся на бугор противоположного берега и оттуда со снисходительной усмешкой наблюдал за происходившей у кареты суетой.

А вокруг раскинулись белые безлюдные поля. И Лопухову

внезапно стало тоскливо от этого пустынного, холодного спокойствия. Он попробовал засвистать что-то веселое, и, как бы в ответ на этот свист, откуда-то донесся глухой лай. На берегу показалась группа всадников, окруженных шумной стаей породистых собак. Собаки туго натянули сворки и, увлекая за собой охотников, с визгом рвались к карете.

Возвращаясь домой, Алексей Сергеевич еще издали заметил застрявшую на мосту карету. Хотя охота была удачной, он ехал не в духе. Надо же было так случиться, что охотник Ефим перед самым его носом подстрелил красивую пушистую куницу. «Знал ведь, шельма, – сердился Алексей Сергеевич, – что я тут, рядом. Нет, первым ударил из ружья!» По дороге он выместил зло на встречном мужике, который сидел на задернутом серой дерюгой возу.

– Сворачивай! – закричал крестьянину Некрасов.

Тот испуганно спрыгнул с воза и стал торопливо тянуть свою клячу в сторону. Лошаденке явно не хватало сил вытащить груженую телегу из глубокой колеи.

– Вали в канаву! – скомандовал Алексей Сергеевич своим охотникам.

Насмерть перепуганный мужик упал на колени.

– Смилосердствуйся, барин! На базар горшки везу. Поколотятся. Без куска хлеба дети останутся…

Но тщетны были просьбы. Воз с горшками с грохотом повалился в канаву.

Под горячую руку Алексей Сергеевич собирался было и карету свалить набок. Но, приблизившись к месту, сразу обмяк. Карета удивила его своим видом. Высокие колеса, блестящий лаковый кузов с белыми занавесками и кони, каких он давно здесь не видывал. Ясно, что в такой карете едет не простой, захудалый помещик и тем более не уездный чиновник. Кинув взгляд на противоположный берег, Некрасов быстро, как только позволяло его грузное тело, выпрыгнул из седла и, семеня толстыми ногами, бросился вперед.

Старый солдат, широко раскинув руки, пытался было преградить путь неведомому человеку. Но тот толкнув служивого в грудь, одним махом вбегал на другой берег.

– Ваше сиятельство! Александр Петрович! – радостно кричал он, на ходу стаскивая шапку с головы. – Какими судьбами? Вот уж никак не ожидал здесь вас встретить.

Граф слегка поморщился.

– Э-э! Если не ошибаюсь, мой старый сослуживец? – процедил он, лениво протягивая руку.

– Так точно, ваше сиятельство! – по-военному отрапортовал

Алексей Сергеевич. – Имел счастье находиться под вашим начальством в Малороссии.

– Капитан Некрасов? Кажется, так?

– Так точно, ваше сиятельство! Ныне – майор в отставке. Уволен за болезнью по высочайшему его императорского величества приказу!

– Значит, со службой покончено? – продолжал граф. – Живете в деревне, милейший Некрасов?

– В своем родовом имении, ваше сиятельство! – снова отчеканил Алексей Сергеевич, удивляясь про себя, как же все-таки мог оказаться граф в этой глухомани.

Словно угадывая эти мысли, Лопухов со вздохом произнес:

– А мне, как видите, приходится колесить по широким российским просторам. Ничего не поделаешь. Дело, служба!..

– Все по военной части изволите служить, ваше сиятельство? В каком звании, позвольте полюбопытствовать? – спросил Алексей Сергеевич, продолжая стоять с открытой головой.

– Увы, милейший Некрасов, военную службу я тоже оставил, предпочтя ей статскую.

Лицо Алексея Сергеевича вытянулось.

– Я теперь сугубо гражданский деятель, – продолжал граф, не замечая удивления собеседника. – Его императорское величество милостиво соизволил поставить меня во главе учреждения, именуемого министерством…

Алексей Сергеевич чуть не задохнулся от волнения. На лбу выступили капельки пота.

– Ваше сиятельство, ваше сиятельство! – восторженно забормотал он. – За великую честь сочту пригласить вас к себе. Имение мое совсем рядом. Рукой подать! Осчастливьте, ваше сиятельство!

Лопухов торопился. В Костроме его ждали с часу на час, и он уже хотел сказать решительное «нет», но в эту минуту около графа появился кучер и, непрерывно кланяясь, стал докладывать, что лопнуло колесо и дальше ехать невозможно.

Алексей Сергеевич словно только и ждал этого.

– Все будет в порядке, ваше сиятельство, – быстро заговорил он, боясь упустить удобный момент. – У меня каретный мастер отменный. Во всем уезде не найти такого…

Обернувшись к толпе ожидавших его на том берегу охотников, он загремел во всю мощь своего голоса:

– Эй, Платон! Тащить наверх! Мигом!

Не прошло и пяти минут, как дружными усилиями охотников карету выволокли на высокий берег. Она слегка припадала на один бок.

Заботливо поддерживаемый Алексеем Сергеевичем, граф забрался в глубину своего экипажа. Некрасов властно махнул кучеру рукой.

– Трогай!

Вскоре показались деревенские строения: стоявшие на отшибе риги и амбары, подслеповатые избы с соломенными крышами, почерневшая от времени деревянная замшелая часовня, а за «ей столб с надписью на выцветшей доске:

«Сельцо Грешнево помещика господина Некрасова».[4]

Через две-три минуты карета остановилась.

– Приехали, ваше сиятельство! Пожалуйте! – раздался голос Алексея Сергеевича.

Граф нехотя вылез и оглянулся. Карета стояла у крыльца длинного одноэтажного дома. Каким-то запустением веяло от всего: ступеньки крыльца подгнили, и одна из них уже провалилась, на дверях торчали лохматые остатки старой обивки, покосившийся желтый забор грозился вот-вот рухнуть.

В довершение ко всему – небритое и явно несимпатичное лицо хозяина усадьбы. Должно быть, окончательно опустился, мысленно заключил Лопухов, вспоминая, что капитан Некрасов и раньше был привержен к выпивке и картежной игре.

Графа провели в дом. Задержавшись у крыльца, Алексей Сергеевич подозвал к себе Платона и строго произнес:

– Смотри у меня, не забудь: Ефиму – десять. Сам исполни!

За обедом настроение графа несколько улучшилось. Некрасов познакомил его со своей женой – Еленой Андреевной. Она отлично говорила по-французски, умела непринужденно поддержать беседу. В ее присутствии Лопухов почувствовал себя почти как дома.

Отдохнув после сытного обеда, граф собрался было ехать дальше. Но Алексей Сергеевич, успевший к этому времени изрядно выпить, и слушать не хотел об отъезде.

– Александр Петрович! – чуть не плача, восклицал он. – Ну куда это на ночь глядя? Останьтесь до утра, переночуйте.

А тут явился кучер с докладом:

– Так что карету только к завтрему исправят.

Волей-неволей пришлось остаться.

Вечером Елена Андреевна играла для гостя на рояле, пела романсы Гурилева. Довольно сносно разбиравшийся в музыке, Лопухов сделал заключение, что у хозяйки дома приятный, задушевный голос и очень тонкий слух.

Потом графа завоевал Алексей Сергеевич. В его Руках щелкнула колода новеньких карт.

– Признаться, дражайший Александр Петрович, страсть как

обожаю картишки, – с пьяной откровенностью признавался он. – По-моему, бо-о-оль-шой толчок они мозгам дают!

Принесли вино. Гость сначала пил мало, но затем разошелся: то и дело прикладывался к рюмке. И в картежной игре он не отставал. Ловко тасуя, с треском ударял картами о стол. Алексей Сергеевич, проигрывая гостю, нервничал, но старался и виду не подавать. Выкидывая карты на кон, он попутно изливал жалобы то на соседей-помещиков, то на уездные и губернские власти, то на собственных братьев и сестру.

Когда-то, в давние времена, Грешнево принадлежало богатому царскому стольнику – боярину Полуектову, который выдал дочь за безвестного дворянина Некрасова, служившего в царском войске. В приданое своей дочери Полуектов выделил, вместе с другим добром, и ярославское сельцо Грешнево. Так сделалось оно некрасовской вотчиной.

Алексей Сергеевич приехал сюда осенью 1824 года, после того как вышел в отставку. В это время в Грешневе проживали два его брата, а сельцо было разделено на несколько частей. Одной владел брат Сергей, другой – Дмитрий, третьей – сестра Татьяна, вышедшая замуж за поручика Алтуфьева и уехавшая в город Елец.

Тесно было трем братьям в сельце, как трем медведям в одной берлоге. Алексей Сергеевич начал судиться с ними и заставил их убраться восвояси.

Оставалось только заполучить долю сестры. Но это оказалось не простым делом.

Алексей Сергеевич пытался купить у сестры ее крепостных крестьян, проживавших в Грешневе. Но та назначила непомерно большую цену. Тогда Некрасов учинил настоящую осаду. Алтуфьевские мужики не могли даже овцу выпустить со своего двора: вся земля вокруг принадлежала Алексею Сергеевичу.

Но упрямая сестра тем не менее не сдавалась. Она сидела в Ельце и посмеивалась над усилиями своего оборотистого братца.

И вот теперь, пользуясь присутствием высокого гостя, Алексей Сергеевич плачущим голосом упрашивал:

– Александр Петрович, ваше сиятельство! Окажите такую божескую милость. Воздействуйте своей властью.

Граф неопределенно хмыкал в ответ. Ему снова становилось досадно^ ну почему он остался здесь, в этой медвежьей берлоге? Проклятое колесо! И надо же было ему сломаться именно в этот день…

Тасуя карты, хозяин дома все бубнил и бубнил:

– И еще одно дельце имею к вам, многоуважаемый Александр Петрович. Намедни дворовый человек сбежал у меня. Псарь, Степка Петров. Давно он в мыслях имел до Санкт-Петербурга

добраться. Болтал среди мужиков, что ему богом талант даден. Из глины фигуры всякие мастерит. У нас тут по соседству, в Свечкине, многие этим балуются, особливо Мишка Опекушин![5] Вот Степка, мерзавец, у него и нахватался… Александр Петрович! Ежели он в столице обнаружится, прикажите его по этапу сюда пригнать. Да пусть всыплют ему по первое число. Век вам благодарен буду!

Чтобы отвязаться от назойливого жалобщика, граф записал просьбу в книжечку в дорогом кожаном переплете. Алексей Сергеевич сразу повеселел.

– Не о себе забочусь, о детях, – засуетился он, словно оправдываясь. – Ради них хлопочу. У меня такие, Александр Петрович, сыны растут – загляденье! На них хоть сейчас мундиры надевай. Да вот извольте сами посмотреть.

Алексей Сергеевич кинулся к двери. Резко толкнув ее, он закричал куда-то в глубину коридора:

– Эй, кто там! Андрюшку с Николкой сюда! Живей!

Прошло несколько минут. Граф небрежно потягивал мадеру из бокала, Алексей Сергеевич собирал карты со стола.

Скрипнула дверь. Робко озираясь по сторонам, е комнату вошли Коля и Андрюша.

– Вот! – торжественно загудел Алексей Сергеевич. – Герои! Богатыри! В меня пошли.

Граф милостиво похлопал детей по плечам, а Алексей Сергеевич, наполнив высокие рюмки вином, приказал:

– Пить! За здоровье их сиятельства. До дна! Чтоб ни одной капельки не оставить. Никакого зла!..

Мальчики смутились. Они неподвижно стояли посредине гостиной, не решаясь взять рюмки.

– Я кому сказал? – повысил голос Алексей Сергеевич. – А? Ну! И чтоб враз!..

Андрюша выпил не поморщившись. А Коля закашлялся, на глазах его блеснули слезы.

– Молодец! – похвалил Алексей Сергеевич Андрюшу, а Коле грубо бросил: – Лопух! С одной рюмкой не мог управиться!

Сказал – и поперхнулся: а вдруг граф примет нечаянно вырвавшееся слово «лопух» на свой счет? Ах, как он оплошал!

Но граф сделал вид, что ничего не заметил.

Алексей Сергеевич снова засуетился, приказал еще принести из погреба вина. Картежная игра и попойка возобновились.

Предоставленные самим себе, мальчики тихо сидели в углу на дырявом диване с вылезающими наружу пружинами. Андрюша дремал, а Коля исподлобья внимательно наблюдал за всем, что происходило в комнате.

Лопухов выпил более чем изрядно и насвистывал игривый мотив из модной венской оперетки. Грузно притопывая сапогами, отец пустился в пляс.

– Музыку! – загорланил он. – Музыку! Елена, ко мне!

Но Елена Андреевна не вышла на зов мужа. Она только плотнее прикрыла дверь в детскую комнату. А по дому неслось уже новое приказание:

– Послать Аграфену! Аграфену ко мне!

Ключница Аграфена (ох, как не любил ее Коля!), румяная, дебелая, в ярком цветастом сарафане, не заставила себя долго ждать. Войдя в гостиную, она томно повела плечами и поклонилась сначала гостю, а затем хозяину.

– Изволили звать, батюшка-барин?

– Девок давай! Пускай песни поют да хороводы водят. Быстро! И сама не задерживайся…

В гостиной появились дворовые девушки. Потупив глаза, они выстраивались вдоль стены в два тесных ряда.

– Начали-почали, поповы дочери! – подбоченясь, голосил отец, подражая выкрикам разбитных ярославских торгашей. – Запевай!

Аграфена взмахнула рукой, и девушки затянули величальную:

Уж как светлому князю мы песню поем,
Уж и песню поем, честь воздаем,
Называем по имени,
Величаем по отчеству.
А и свет батюшка, Лександр Петрович,
Подари-ка нас подарочком,
Не рублем и не полтиною,
А златою гривною…

Довольный граф громко рассмеялся. Он потрепал самую молодую певицу по щеке и, вынув из кармана горсть серебряных монет, бросил их на пол.

С визгом подобрав деньги, девушки затянули хороводную. Они плавно ходили по кругу, держась за руки, напевая:

Со вьюном хожу,
С золотым хожу…

Ворвавшись в середину девичьего круга, отец сипло вскрикивал:

– Дуй! Крой! Эх-ма!..

В гостиной духота. Тускло мигали свечи. Большие тени пляшущих метались из стороны в сторону.

Коле неприятно, что отец пьян и куражится, как говорит о нетрезвых людях няня. Не нравится ему и граф. Какой-то чопорный. Глаза красные, как у зайца. На щеках багровые пятна, нос блестит, будто намазанный маслом. Он тоже здорово захмелел. Сразу видно. Вот отец остановился около него, утирается пестрым платком. Граф зашептал ему что-то на ухо.

– Что? Недоволен? – строго глянул он вдруг в сторону сыновей. – Кто может быть недоволен в моем дому, да еще в присутствии его сиятельства?… Эй, ко мне! Плясать! Слышишь?

Сначала Коля не понял, что этот возглас обращен к нему. Но отец схватил его за руку:

– А ну, пляши! Потешь дорогого гостя.

С силой вырвав руку, Коля быстро скользнул за дверь. Вслед ему неслись угрожающие крики отца:

– Я тебе покажу!..

Вихрем ворвался он в детскую и, крепко обняв мать, опустил голову к ней на колени. Мать ни о чем не спрашивала. Она понимала, кто обидел сына. Это был и ее обидчик. Только один он свободно живет и дышит в этом доме. Все остальные – рабы. Их удел – страдания.

…Граф уехал из Грешнева чуть свет. От завтрака он отказался, сославшись на головную боль. Измятый, невыспавшийся, Алексей Сергеевич сам открывал ворота и долго махал рукой, крича пропитым голосом вслед удаляющейся карете:

– Александр Петрович!.. Не поминайте лихом!.. Не обессудьте!.. Опять приезжайте!. Музыка будет. Свой оркестр заведу… Только приезжайте!..

Карета уже миновала псарню, последнее строение, которым заканчивалось Грешнево с Костромской стороны, а Алексей Сергеевич все кричал:

– Насчет Степки не забудьте! Сделайте распоряжение, кому полагается. Пускай доставят его ко мне! Живым или мертвым… Александр Петрович!.. Ваше сиятельство!..

Зимний день

И голос твой мне слышался впотьмах,
Исполненный мелодии и ласки,
Которым ты мне сказывала сказки
О рыцарях, монахах, королях.

Н. Некрасов. Из поэмы «Мать»

Алексей Сергеевич уезжал на целую неделю в Ярославль. Вернувшись домой, он вызвал старосту Ераста и начал похваляться. Оказывается, поездка в губернский город была очень успешной. Во-первых, удалось высудить у соседа-помещика некую сумму денег. Во-вторых, стронулось с места дело против сестры Татьяны, елецкой поручицы. Правда, пришлось понести расходы. То одному чиновнику красненькую, то другому. Известно: судиться – не богу молиться, поклоном не отделаешься. Зато обещали прижать ее как следует, выбить из грешневского угла. И, в-третьих, в губернаторском доме приняли прошение «об установлении розысков беглого крестьянина Степки Петрова».

Отдав Ерасту распоряжения по хозяйству, Алексей Сергеевич милостиво, без обычного крика, отпустил его. Затем он выпил бутылку кислого бургундского вина, привезенного из Ярославля по случаю успеха, и, достав из своего шкафа красивую резную шкатулку, долго любовался ею.

Зимой темнеет рано. Всего три часа, а за окнами полумрак. Коля сидел у камина и при свете ярко пылающих дров читал балладу «Лесной царь». Эту книгу дала ему мать.

Страшно Коле. Кажется ему, что бородатый царь густых лесов где-то рядом. Это его холодное дыхание доносится от окна.

Хлопнула дверь, и в комнату ввалился отец. Вздрогнув от неожиданности, Коля быстро поднялся с места, испуганно пролепетав:

– Добрый день, папенька!..

– А-а! Здравствуй, пострел! – добродушно забасил отец и поставил на камин шкатулку.

– Чем мы занимаемся? Читаем? Смотри, глаза испортишь.

Он грузно опустился в кресло, сладко потянулся, зевнул и каким-то необычным, воркующим голосом произнес:

– Подойди ко мне! Да поближе. Не бойся, я не кусаюсь.

Отец опустил руку в карман и вынул блестящий игрушечный пистолет. Он из вороненого металла, совсем как настоящий.

– Спасибо, папочка! – поцеловал Коля отца в колючую щеку.

Подарок ему нравился. У него никогда не было такого чудесного пистолета.

– А теперь садись со мной рядом, – продолжал отец, подкручивая усы. – Беседовать с тобой хочу.

Вот это уж мало радует. Кто его знает, о чем отец будет беседовать. Не рассердился бы, как всегда.

А тот выгреб из камина круглый, отливающий золотом уголек и щипчиками положил его в трубку с длинным янтарным мундштуком. Глубоко затянувшись табачным дымом и полуобняв сына левой рукой, он лениво спросил:

– Ну, так что ты там читаешь? О чем?

– Про лесного царя, – чуть слышно ответил Коля.

– Так, значит, про царя? Это хорошо. А кто сочинил?

– Жуковский, папенька.

– Дай-ка, книжку, – потребовал отец. Внимательно посмотрев на портрет поэта, он сказал:

– Василий Андреевич Жуковский? О, это высокая особа! Доводилось его видеть. Ему, брат, повезло, – вздохнул отец. – Ко двору пробился. У царского наследника в воспитателях состоит. Каково? С генералами запросто водится, хотя сам он, признаться, невысокого рода-происхождения. Матушка его из турецкого племени, на войне солдатами нашими была в полон захвачена. А батюшка – так себе, одно только звание, что дворянин. Не чета нам, Некрасовым! Мы – столбовые дворяне, с древнего веку идем. Одначе не улыбнулась нам жизнь… М-да, не улыбнулась… До царского двора не дотянулись. Ну, и то хорошо, что нищими не стали. А ведь все могло быть. Все! Скажи, не так?

Обдав сына облаком дыма, Алексей Сергеевич взял с камина резную шкатулку и вытащил из нее аккуратно сложенный синеватый лист бумаги. Осторожно трогая его пальцами, он спросил:

– Я никогда тебе не показывал это?

Коля закачал головой.

– Помню, не показывал, – подтвердил отец, – мал ты еще. Впрочем, ладно. Читай!

Секунду он помедлил, а затем развернул лист перед глазами сына.

– Вслух читай! – приказал он. – Да с выражением, как тебя длинноволосый учит.

Коля смутился: ну, зачем отец так нехорошо говорит об учителе? Александр Николаевич славный. С ним очень интересно

заниматься.

Чуть наклонив голову вперед, Коля с трудом разбирал написанное: буквы от времени выцвели, стерлись. Дрожащим голосом, стараясь не торопиться, он читал:

«Имение у Салтыкова отнять и Некрасовым отдать, Салтыкова в Сибирь сослать. Павел…»

При последнем слове Алексей Сергеевич с умильным лицом поднялся с места и, опустив руки вниз, вытянул их по швам.

– Царский рескрипт! – важно, но совсем неясно для Коли произнес он. Последнее слово показалось каким-то странным, будто коростель скрипит в траве. Рескрипт! Скрип! Скрип!

Отец снова погрузился в кресло и, благоговейно гладя таинственный лист бумаги ладонью, с гордостью сказал:

– Их императорское величество государь Павел Петрович самолично изволили подлинное подписать.

Многозначительно подняв указательный палец, он добавил:

– Да, братец ты мой, только благодаря этому мы не стали нищими и нам кое-что осталось на существование.

Ну, это уж совсем загадка. Какое такое подлинное? И почему, если бы царь не подписал его, они стали бы нищими?

А отец, то закрывая, то открывая глаза, рассказывал:

– Давно это было. Я тогда еще пешком под стол путешествовал. Мой батюшка, а твой дедушка, значит, проживал в Москве. Богатейший был старик. Куда там! Владел имениями в Рязанской, Орловской, Ярославской и прочих губерниях.

Словно собираясь с мыслями, Алексей Сергеевич умолк, выбил в камин пепел из трубки. Потом, вспомнив, должно быть, что-то неприятное, криво усмехнулся и тряхнул головой:

– Но имелась у покойника, царство ему небесное, маленькая страстишка: любил в карточки срезаться. Конечно, ничего плохого в этом нет. Не в смысле осуждения говорю. Но батюшка иной раз уж очень этим увлекался, и потому в конце жизни осталось у него всего-навсего одно Грешнево. А незадолго до смерти он и его проиграл своему приятелю Салтыкову. Умер батюшка и не оставил нам ни кола ни двора! А у нашей матушки, твоей бабушки, значит, ни мало ни много – девять ртов. И вот однажды, забрав всех нас, отправилась она в Петербург. А там, оставляя нас на попечение знакомых, неведомо куда отлучалась.

Отец опять замолчал, постукивая пальцем по подлокотнику кресла. Коле интересно. Куда же ездила бабка и чем в конце концов завершилась вся эта история?

– Как-то раз матушка вдруг нам сказала, – снова заговорил отец: – «Дети, завтра повезу я вас в один большой дом. Когда мы приедем туда, будьте умниками: стойте смирно и ждите. А потом

выйдет одна важная дама. И вы все тут упадите на колени и плачьте, плачьте, плачьте!..» На другой день оказались мы в большом доме, в огромной светлой комнате. Мать шепотом напомнила, что мы должны делать, и куда-то скрылась. Прошло каких-нибудь полчаса, а нам, признаться, за целый год показалось. Уж так тогда надоело стоять, так ноги устали. Но вот в дверях появилась высокая, нарядная и красивая женщина. Помня материнский наказ, мы все упали на колени и стали громко рыдать. Я, кажется, больше всех старался. Подойдя к нам красивая женщина погладила нас по головам и сказала: «Успокойтесь, детушки! Я позабочусь о вас, не дам вас в обиду…» А через неделю мать получила вот этот высочайший рескрипт.

Помахав синеватым листом, Алексей Сергеевич бережно сложил его вчетверо и снова спрятал в шкатулку.

В комнату неслышно вошла Елена Андреевна.

– Алексей Сергеевич, когда вы будете обедать: сейчас или позже? – неуверенным голосом спросила она.

– Обедать? – сладко зевнул Алексей Сергеевич. – Можно и сейчас, милочка.

Привстав с кресла, он галантно поцеловал матери руку. Елена Андреевна вспыхнула: уже давно муж не был так внимателен к ней. Что случилось с ним сегодня?

– Пойдем, братец ты мой, закусим, – пригласил Алексей Сергеевич сына. – Да покажи матери свой пистолет, похвались подарочком…

В столовой отец, громко чавкая, с аппетитом ел любимую жареную зайчатину, обильно запивая ее вином. Елена Андреевна неторопливо сообщала домашние новости. Лизонька разучила на рояле новую пьесу. Анюта малость поссорилась с Костей: не поделили что-то. А Феденька почти не капризничает, растет таким умницей. Только вот Андрюша слег в постель, голова у него опять горячая.

– Гм, да! – изредка вставлял Алексей Сергеевич, принимаясь за новый кусок жаркого. – А ты как себя чувствуешь, милочка?

– Благодарю вас, хорошо!

– Изволили ли заниматься музыкой?

Нет, до музыки ли. Дети отнимают все ее время. К тому же она была сегодня в деревне – заболела Василиса Петрова, пятый день не встает. Отнесла ей лекарство.

Алексей Сергеевич нахмурился. Левая щека его дважды передернулась.

– Жене помещика не пристало возиться с дворовой челядью, – мрачно произнес он. И, пожевав запачканными жиром губами, сердито заворчал: – Как только ты могла пойти в избу этого

негодяя, этого мерзавца? Его плетьми запороть мало. В землю живым закопать…

– Но мать Степана ни в чем не виновата, – робко убеждала Елена Андреевна. – Она больная, ей нужна помощь. У нее нет хлеба. Умоляю – распорядитесь! Помогите больной женщине.

С силой отшвырнув тарелку на середину стола, Алексей Сергеевич резко откинулся на спинку стула.

– Еще что прикажете, сударыня? – ехидно прищурившись, спросил он и вдруг, ударив кулаком по столу так, что запрыгала вся посуда, в бешенстве закричал:

– Запрещаю! Слышишь? Запрещаю! Чтобы больше в деревню ни ногой! Ишь ты, хлеба! А каши твоя арестантка не хочет? Березовой каши! А?…

Много раз бывал Коля свидетелем родительского гнева, но таким видел отца, пожалуй, впервые: нехорошие, обидные слова сыпались одно за другим. Обхватив голову руками, мать молчала. А отец с грохотом повалил стул и, выкрикнув напоследок какую-то угрозу, скрылся за дверью.

Тяжело вздохнув и оправив волосы, Елена Андреевна подошла к сыну.

– Мой дорогой мальчик, – мягко сказала она. – Ты не должен осуждать отца. Он устал с дороги. Погорячился. У него такой характер. Все будет хорошо…

Подойдя к зеркалу, мать сделала вид, что ничего не случилось, что она ни капельки не расстроена.

– Ты бы пошел к Андрюше, – сказала она, – Ему, бедному, скучно.

– А вы тоже придете, мамочка?

– Непременно, мой милый.

– И почитаем?

– Обязательно, мой мальчик! Обрадованный, он направился к брату. Еще бы не радоваться: каждый день с нетерпением ждет он того часа, когда в детской появится мать и ласковым, чуть печальным голосом, словно жалеет кого-то, начнет читать книгу или рассказывать о далеких городах и странах, о странствующих рыцарях, хитрых монахах и величественных, но сердитых и гневных, как отец, королях.

Укутанный теплым одеялом, Андрюша лежал в постели. Широко открытыми неподвижными глазами смотрел в растрескавшийся потолок. Взгляд его усталый, подернутый поволокой, как у раненого птенца, дышал он тяжело, иногда глухо покашливал.

Увидев Колю, Андрюша оживился.

– Как хорошо, что ты пришел! – тихо произнес он. – А то все

про меня забыли. Право… Где мамочка?

– Она скоро придет, будем читать, – усаживаясь в ногах у брата, ответил Коля. – А пока давай поговорим.

– Давай.

– Папенька опять гневался. Из-за Степана! На маменьку сильно кричал.

Лицо Андрюши болезненно искривилось:

– Мне так ее жалко.

– А мне и Степана жалко, – вздохнул Коля. – Я нынче Савоське два куска пирога отнес. Он мне сказал по секрету, что Степан в Питер подался. Это ведь неплохо? А? Только ты смотри, не проболтайся! Я ведь тебе тайну доверил!

– Вот ты всегда так, Николенька, – обиженно шмыгнул носом Андрюша. – Все считаешь меня за маленького. А я ведь на целый год старше тебя.

– Андрюшенька, миленький, да у меня и а мыслях не было тебя обижать. Это все так говорят, когда тайну доверяют.

В комнату вошла с горящей свечой мать. Она поставила подсвечник на край стола и, приблизившись к кровати, положила руку на Андрюшин лоб.

– Как ты себя чувствуешь, мой родной?

– Хорошо, мамочка, – прошептал Андрюша и закашлялся.

Коля заботливо пододвинул матери кресло. Она устало опустилась на него.

– Милые мои мальчики! Мне почему-то ничего не хочется читать вам сегодня. Немножко болит голова.

«Ах, какая жалость! – вздохнул Коля. – Бедная мама. Ей нездоровится. Значит, не будем читать. Тогда, может быть, она что-нибудь расскажет».

– Рассказать? – ласково глянув на Колю, переспросила Елена Андреевна. – Пожалуй! Не скучно ли вам будет послушать про одну девушку? Боюсь, неинтересно.

– Нам все интересно, что вы рассказываете, мамочка, – оживился Коля. – Все, все!

– Ну что ж, – неуверенно согласилась мать. – Слушайте.

И тихим, полным тревоги и волнения голосом, она начала рассказ:

– Давным-давно произошло это, мои мальчики, в далеком, неведомом краю…

Коле кажется, что это не мать говорит, а песня льется, переливается, журча, как весенний ручей, и воображение уносит его туда, в далекий, неведомый край, о котором идет рассказ.

Заходящее солнце бросает свей алый свет на голубой морской залив. Распустив белый парус, по спокойной поверхности вод

плывет легкая ладья. На ней – старая строгая игуменья.

Впереди, на крутой скале, показался древний, с высокими крепостными стенами замок. А чуть подальше сверкал яркой белизной монастырь.

Колокольным звоном встречают игуменью.

Окруженная послушницами в черных одеждах, она медленно идет вершить суд.

Низко нависают старые мрачные своды монастырского подземелья. Одна за другой падают с потолка на каменный, пахнущий гнилью пол грязные капли. Тусклый свет лампады скупо озаряет заплесневелые стены.

В самом углу подземелья – тяжелый, с толстыми ножками стол. Над ним склонились монашеские фигуры в черных рясах.

Перед судьями, опустив голову, стоит юная красивая девушка. Длинные русые волосы разметались по голым плечам. Лицо ее бледное, как у мертвеца. На белом разорванном платье – алые пятна крови, следы ужасных пыток.

Эту девушку судят за то, что она, не выдержав бесцельной, бессмысленной жизни в монастыре, пыталась бежать отсюда. Опостылели ей и глухая печальная келья, и бледная мерцающая лампада перед иконой. Хотелось света, тепла, счастья! Глубокой ночью она покинула монастырь. За ней устремилась погоня. По всей округе гудел набатный звон колокола. Нигде не могла найти себе приюта юная беглянка. Ее настигли, заточили в подземелье, стали безжалостно мучить и днем и ночью. И вот она перед монастырским судом.

Как изваяние, застыла девушка. В глазах ее глубокая скорбь. Покорно ждет она решения своей судьбы. Какие еще муки придумает ей бессердечная игуменья?

А злые судьи выносят беглянке беспощадный приговор: вечное заточение в черном роковом склепе, в темной сырой стене!

Вот поднял руку главный судья с сухим, как пергамент, лицом. Палач воткнул длинный факел в землю и бросился к девушке. С громким отчаянным криком бьется она в его сильных и цепких, как клещи, руках.

Втиснул палач свою жертву в узкое могильное ущелье и быстро замуровал его тяжелыми камнями, густо смазанными вязкой глиной. Только крохотное оконце осталось в стене. В него будут ставить черепок с водой и бросать корки черного хлеба, пока не умрет несчастная пленница…

Елена Андреевна умолкла. В комнате наступила такая тишина, что слышно было, как тоненько посвистывает, словно суслик, ветер на чердаке.

– Мамочка, это правда? – содрогнулся Коля.

– Вероятно, правда, мой мальчик, – с грустью ответила мать. – Я прочла в новом журнале. Вчера прислали из Петербурга. О судьбе этой несчастной девушки написал поэт Василий Андреевич Жуковский.

Зябко передернув плечами, мать привстала. Глянула на Андрюшу, забеспокоилась: – Тебе опять плохо, мой милый?

– Нет, мамочка, что вы! – успокоил Андрюша. – Я просто думаю: какие нехорошие эти судьи! За что они так мучили бедную девушку?

– А я… я ненавижу их! – сурово сдвинул брови Коля. – Я им за все, за все отомщу!

Мать улыбнулась:

– Ах ты, мой славный мститель! Но ведь этих судей давно уже нет на белом свете.

Поправляя свечу, Елена Андреевна с сожалением вздохнула:

– Напрасно я вам все это рассказала. Совсем забыла, что вы у меня такие впечатлительные. Впрочем, дело поправимое. Мы сейчас повеселимся. Споем песенку. Мою любимую.

И, лукаво подмигнув Коле, она негромко запела:

Во поле березонька стояла, Во поле кудрявая стояла. Люли-люли, стояла, Люли-люли, стояла.

Мальчики дружно подхватили веселый, задорный припев:

Люли, люли, стояла, Люли, люли, стояла…

Дорогой подарок

В добрую почву упало зерно,
Пышным плодом отродится оно?

Н. Некрасов. «Саша»

Каждое утро в одно и то же время появлялся Александр Николаевич на пороге детской. Щеки его горели от мороза. Хоть и не так уж далеко от Аббакумцева, да приходится идти открытым полем – ветрено, студено, а пальтишко учителя – на рыбьем меху.

– Ну-с, мы готовы? – приветливо произносил он, протирая запотевшие очки. – Прошу в классную. Пожалуйте, молодые люди!

Отец не терпел Александра Николаевича. Коля не раз слышал, как он при виде учителя ворчал:

– Не зря, ох, не зря его из семинарии выгнали. Бурсак! Вольнодумец! Тьфу!

Алексей Сергеевич давно бы отказал ему. Но были некоторые обстоятельства, удерживавшие его от этого шага.

Прежде всего – дешевле учителя нигде не найдешь. Платить приходится сущие гроши. – Затем и то следует учитывать, – вслух рассуждал отец, – квартира у него своя собственная, поить-кормить не надо. А пригласи учителя со стороны – хлопот не оберешься…

Занятия начались, как всегда, в половине девятого. В комнате, похожей больше на чулан, чем на класс, было прохладно. Елена Андреевна не раз просила мужа привести в порядок печку в классной, но Алексей Сергеевич и в ус не дул.

Коля сидел за партой в шерстяной курточке, а Андрюша кутался в теплый материнский платок. Они очень походили друг на друга, только у Андрюши волосы русые и глаза голубые, а Коля кареглазый с темно-каштановой шевелюрой.

Сквозь узорчатые, замысловато разрисованные морозом стекла полукруглого окна скупо пробивался голубой утренний свет.

Уроки начались с закона божьего. Как скучно тянулся первый час! Александр Николаевич то и дело позевывал, шагая из угла в угол и пощипывая свою русую бородку.

– Читайте «отче наш», – лениво приказал он Коле. Подняв голову кверху, тот утомительно однообразно, как муха, попавшая в паутину, жужжал:

– Отче наш, иже еси на небеси… хлеб насущный даждь нам днесь…

Затем взгляд учителя упал на Андрюшу.

– «Троицу»! – коротко произнес он.

Поправив платок на плечах, Андрюша поднялся неуверенно стал тянуть, словно опасаясь, что его сейчас накажут:

– Пресвятая троица… очисти грехи наши… прости беззакония наши…

Из всех непонятных и скучных слов в этих молитвах Коле нравились только четыре: «иже еси на небеси». Их можно было произносить скороговоркой несколько раз подряд, можно даже напевать на веселый мотив. Они какие-то складные, быстрые, хотя туманные и загадочные. Александр Николаевич и не пытался разъяснить их смысл, как он это делал на других уроках. Дослушав молитву, а иногда оборвав ученика на середине, учитель брал псалтырь в руки и читал, как дьячок в Аббакумцевской церкви, гнусаво, нараспев:

– Двери отверзи нам, благословенная богородица…

В такие минуты Коле хотелось смеяться.

Захлопнув книгу, Александр Николаевич сразу делался строгим. Обычным своим баском он требовал:

– К следующему уроку прошу знать наизусть «верую» и «милосердие».

Второй час проходил живее. Хотя Коля и не особенно уважал арифметику, но она куда интереснее закона божьего. Но лучше всего он чувствовал себя на уроке родной речи. Александр Николаевич тут прямо-таки преображался. Он уже не ходил из угла s угол, а, прислонившись к стене и полузакрыв глаза, медленно и выразительно диктовал:

– Жестокосердый! Посмотри на детей крестьян, тебе подвластных. Они почти наги…

Ученики старательно писали это на грифельных досках. (Учитель почему-то запрещал пользоваться при диктанте тетрадями. Вот арифметика – другое дело. Записывайте в тетради сколько угодно!)

Александр Николаевич подошел к ученикам и внимательно посмотрел на доски.

– Так! Хорошо! – сказал он Коле.

Но Андрюше не повезло. У него целых три ошибки – пропустил буквы в словах.

– Не торопитесь, молодой человек, – склонясь к ученику, советовал Александр Николаевич, – вдумывайтесь в то, что вы пишете. «Жестокосердый» – значит жестокий сердцем. Понятно? А у вас что? «Жестокосерый». Почему серый? Совершеннейшая

бессмыслица!

Андрюша смущен, а учитель быстро-быстро стер с доски все написанное. Мальчики зашушукались.

– Внимание! Прошу внимания! – стукнул карандашом Александр Николаевич. – Сейчас будет трудное предложение. Пишите.

И Александр Николаевич снова стал диктовать, взмахивая после каждого слова рукой, будто обрубая что-то:

– Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы…

Полузакрыв глаза, учитель о чем-то задумался. Затем, затеребив бородку, спросил:

– Готово? Вот и чудесно! Вы, надеюсь, поняли, что это написано стихами?

Ученики молчали. Конечно, они поняли, что это написано стихами. Но они не поняли, о чем здесь говорится – какие бичи, какие железы?

А учитель по очереди берет в руки грифельные доски и с каким-то особенным чувством вполголоса читает написанное вслух. Он с явным сожалением проводит мокрой тряпкой по гладкой, блестящей поверхности досок.

– Спасибо, дети! Написано правильно! Но со знаками препинания у вас не все благополучно. А написано верно. Очень верно!

И голос у Александра Николаевича почему-то дрожит, словно учителю жалко кого-то.

Заложив руки за спину, он опять задумчиво зашагал из угла в угол. Коля, тихонько толкнув брата в бок, шепнул: «Вот какие мы молодцы!» Анд-рюша улыбнулся и показал пальцем на свой лоб: дескать, что там толковать, не пустые головы.

Мальчикам становилось весело. Пользуясь тем, что Александр Николаевич углубился в свои мысли, Коля вытащил из-под парты гусиное перо с ощипанными краями и бросил его вверх. Ловко пущенное, оно полетело к потолку, а оттуда прямо на веснушчатый Андрюшин нос. Зажав ладонью рот, Коля захохотал. Андрюше не больно, но обидно. Так вот же тебе! Перо устремилось обратно, больно кольнув обидчика в ухо.

Углубленный в свои мысли, Александр Николаевич не замечал ничего. Вдруг дверь в классную отворилась. Вошел отец. Он в своей обычной красной фланелевой куртке. Подозрительно глянув из-под густых насупленных бровей на учителя и учеников, негромко кашлянул. Мальчики быстро вскочили со своих мест,

вытянув руки по швам.

– Извините, любезнейший Александр Николаевич, – вкрадчиво заговорил отец, потирая ладони, – я всего на одну минутку.

Коля изумился. Отец называл учителя по имени-отчеству. Удивительно! Никогда раньше этого не бывало.

По-хозяйски пододвинув к себе стул, Алексей Сергеевич грузно опустился на него. Стул скрипнул и пошатнулся.

Второго стула в классной нет. Секунду постояв около парты, Александр Николаевич подошел к подоконнику и с независимым видом сел на него. Подоконник низенький, тесный, но это не смущало учителя. Обращаясь к своим ученикам, он обычным своим голосом сказал:

– И вас прошу садиться!

– Еще раз извините великодушно, милейший Александр Николаевич, – мирно рокотал отец, укладывая свои большие волосатые руки на живот. – Явился к вам, как бы сказать, с одним мудреным вопросом. Вы человек просвещенный, образованный, священное писание изучали.

Учитель сидел полусогнувшись, подперев кулаком подбородок. Он никак не мог понять, что означает этот визит, какое неотложное дело привело сейчас отца его учеников сюда?

А Алексей Сергеевич, пожевав губами, с таинственным видом спросил:

– Слыхали о звере-то?

Александр Николаевич удивленно поднял брови:

– О каком звере?

– Не слышали? Ай-ай-ай! – закачал головой Алексей Сергеевич. – Вся губерния только и твердит об этом. Появился, сказывают, в наших краях дикий безбожный зверь. На боку у него антихристово число: 666. И будто видели этого зверя на Шексне, за Рыбной слободой. Как вы думаете, доберется он до Грешнева?

Александр Николаевич снял очки и старательно протер их платком. Коля насторожился: что скажет сейчас учитель? Неужели этот ужасный зверь и в самом деле скоро появится в Грешневе?

– Что я думаю? – не торопясь, ответил учитель. – Я думаю, это досужий вымысел. Насколько мне ведомо, такого дикого зверя за номером 666 в в природе не существует. Смею заверить, что нам пока не угрожает никакая опасность.

– Ну, ну, не говорите так, – тяжело заерзал Алексей Сергеевич, и стул снова заскрипел под ним. – Сатанинская сила любой облик может принять. Это, сказывают, Бонапарта из ада выпустили. Он за свое поражение расквитаться хочет.

Александр Николаевич громко, без стеснения засмеялся:

Вот он каков, Наполеон Бонапарт! Даже на том свете ему неймется!

– Смех тут, господин обучающий, совсем ни к чему, – обиделся Алексей Сергеевич. – А вот ежели объявится этот зверь здесь, так вы небось первым «караул» закричите. От Рыбной слободы до нас – больно недалеко.

Но Александру Николаевичу хоть бы что. Он беспечно ухмылялся, дробно постукивал кончиками пальцев по подоконнику.

А бедный Андрюша совсем скис, того и гляди заплачет.

– Ты не бойся, – тихо уговаривал *его* Коля. – Слушай, что Александр Николаевич говорит. Никакого зверя нет.

Но Андрюшу убедить трудно.

– А ежели все-таки появится? – шепчет он.

– Пускай появляется. Мы собак на него выпустим. Ясно?

Коля произнес последнее слово так громко, что отец сердито глянул на него:

– Это что такое? Совсем распустился. И чему только вас учат. А ну, марш отсюда! Оба!

Дети испуганно ринулись к двери. В коридоре они уселись на кучу какой-то мягкой рухляди, не решаясь уйти в свою комнату. А вдруг отец потребует их в класс. И потом Александр Николаевич не давал еще заданий на завтра.

Второпях они неплотно закрыли за собой дверь, и теперь до них отчетливо долетали голоса отца и учителя.

– Как сыну священнослужителя, вам полагалось бы знать, что от дьявола завсегда разные пакости исходят, – поучал Алексей Сергеевич.

– Все может быть, все может быть, – однотонно повторял учитель. – В природе много неясного. Есть еще какие-то не раскрытые, сверхъестественные законы.

– Ага! А я что говорю? Сверхъестественные? Значит, и зверь с сатанинским числом может быть. То-то вот и оно!..

Скрипнул стул, послышались тяжелые шаги отца.

– Впрочем, оставим наш бесполезный спор, – снова вкрадчивым голосом заговорил он. – Совсем он ни к чему. Спорят только вода с огнем. Хе-хе-хе! У меня к вам, любезнейший Александр Николаевич, маленькое дельце. Совершенно, понимаете, ерундовая просьбишка. Я бы, конечно, мог и к другим обратиться, но, зная ваши таланты, решил побеспокоить именно вас.

– Мои таланты? – удивился учитель. – Я что-то у себя их не замечал. Впрочем, рад вам служить.

Однако в голосе Александра Николаевича Коля не почувствовал особой радости.

– Вы, вероятно, уже слышали, что у меня случилось несчастье? – скорбным голосом спросил отец.

– Несчастье? К сожалению, я ничего об этом не знаю.

– Представьте, сбежал крепостной человек Степка Петров.

С минуту длилось молчание.

– Но я не понимаю, при чем тут я? – холодно сказал Александр Николаевич.

– Одну минутку, одну минутку! Сейчас все объясню! – заторопился отец. – Как-то попались мне, изволите ли видеть, ваши писания. Совершенно случайно. Смотрю и любуюсь: до чего же у вас почерк роскошный. Загляденье! Каждая буква играет, как алмазная…

– Почерк у меня самый обыкновенный, – сухо прервал учитель.

– Что вы, что вы! Талант! С таким почерком можно большую карьеру сделать, даже на службу в канцелярию генерал-губернатора попасть.

– Увольте, не хочу я в канцелярию!

– Браво, браво! – громко хлопнул в ладоши отец. – Видно птицу по полету. Губернаторской канцелярии мало? В министерство метим? Отлично! Там такие люди тоже нужны. Желаете, окажу вам протекцию? У меня министр – близкий друг. Его сиятельство граф Александр Петрович Лопухов. Гостем в моем доме недавно был. Слыхали?

– И в министерство поступать у меня нет желания.

– Как? И в министерство не хотите? Ну, знаете, не ожидал. Впрочем, ваша воля. Как говорится, потчевать можно, неволить – грех. Да-с, милейший, грех!

Снова наступило молчание. Мальчикам надоело сидеть в углу. Они затеяли возню. Свалившись на пол, Андрюша загремел стоявшим в углу ведром.

– Кто там? – раздраженно крикнул из классной комнаты отец.

Дети оцепенели. Вот сейчас выглянет строгое лицо отца, и тогда все пропало. Подумает, что они нарочно подслушивали.

Но тревога оказалась напрасной. Слышно, как Алексей Сергеевич снова изо всех сил расхваливал почерк учителя.

– Вам что-нибудь написать нужно? – догадался Александр Николаевич.

– Вот именно! – обрадованно подтвердил отец. – Имею намерение подать покорнейшую просьбу в правительствующий сенат по поводу всероссийских розысков Степки Петрова. На местные власти, признаться, мало надеюсь. Так вы уж извольте

написать.

Слышно, как учитель часто-часто застучал пальцами по подоконнику.

– Увольте, не могу! – твердо сказал он наконец.

– То есть как «не могу», позвольте спросить? Почему вы не хотите уважить мою покорнейшую просьбу?

– Почему? – Александр Николаевич помолчал. – Извольте, я скажу. Вот вы говорили о таланте. Так, если хотите знать, Степану Петрову он самим богом дан.

Алексей Сергеевич громко запыхтел:

– Скажи на милость, какой Ломоносов! Я ему покажу талант! Доберусь до разбойника!..

– Простите, тогда мне нечего больше вам сказать, – не повышая голоса, проговорил учитель. – Желаю здравствовать.

Дверь классной распахнулась, и Александр Николаевич быстрыми шагами направился к выходу. Заметив своих учеников, он повернулся к ним и сказал:

– Сегодня мы больше не занимаемся, дети. А завтра… завтра будет видно. До свиданья!

Мальчики бросились в свою комнату. Здесь из окна было видно, как, засунув руки в карманы, учитель торопливо шагал по дороге к Аббакумцеву.

Придет ли он завтра? Разрешит ли ему отец продолжать занятия? И Коля поспешил с этими вопросами к матери.

Выслушав сына, Елена Андреевна погладила его по голове и грустно сказала:

– Как это все нехорошо получилось! Ну, зачем вы остались там? Зачем подслушивали? – И столько глубокой скорби было в ее словах!

За дверью послышалось недовольное бормотание. Это отец. Коля теснее прижался к матери. Стукнула дверь.

– Я ему покажу, где раки зимуют! – выкрикивал отец. – Он у меня напляшется.

– Вы, кажется, чем-то взволнованы? – протягивая руку для поцелуя, спросила Елена Андреевна. Но отец, не замечая руки, продолжал ругаться:

– Метлой поганой прикажу гнать. Чтоб и духу его не было!

Все ясно: учителю отказано! А Елена Андреевна в глубине души еще надеялась, что дело закончится обычной вспышкой несдержанного в своем гневе мужа, не дойдет до крайности. Но, увы!

– Андрюше с Николенькой осенью в гимназию, – робко напомнила она.

– Невелика беда, если и не поедут, – пробурчал отец. –

Гимназия, гимназия! Одни только расходы. За обучение платить, за то, за другое!

Мать печально опустила голову. Екнуло сердце и у Коли. Значит, прощай, гимназия! А сколько о ней было разговоров, как мечтали они с Андрюшей о красивых гимназических мундирах.

Неужели действительно все кончено? Какое горе! Так вот и сидеть дома, взаперти? Не выдержав, Коля громко заплакал. Безуспешно пыталась успокоить его встревоженная мать.

– Ну, чего ревешь? Чего нос повесил? – уже другим тоном неожиданно заговорил отец. – Отправлю, отправлю в гимназию. Дай срок! А обучителя найдем. Дело нехитрое. Теперь их много развелось… на нашу голову. Найдем! Сегодня же с тобой к Катанину поедем. Чего-чего, а учитель у него найдется. Кстати, и щенков попрошу. Давно собираюсь…

Вот так раз! Никак не ожидал этого Коля. И гимназия будет и к Катанину поедут. Ах, как здорово!

С отцом иной раз бывает такое. Находит на него добрый стих, как говорит няня. А откладывать своих решений он не любит. Сразу берется за дело. Сказано, значит все!..

Через час из ворот барского дома выехали легкие санки, в которых сидели Алексей Сергеевич и закутанный с ног до головы Коля. Сначала путь лежал по торному, плотно укатанному Костромскому тракту. Запряженный в санки вороной жеребец Керчик быстро перебирал стройными ногами.

Вскоре сани свернули влево. Дорога шла теперь открытым полем. Керчик то и дело увязал в снегу. Бока его вспотели. Из оскаленного рта брызгала белая, как снег, пена.

Впереди выросла высокая стена хвойного леса. Будто густой позолотой окрашены стволы стройных, вечно зеленых сосен. Веселым хороводом кружились на встречных полянках молоденькие елки, причудливо одетые в белоснежные наряды. Стремительно пересек дорогу заяц-беляк, мелькнув коротким, словно обрубленным хвостом.

Ослабив вожжи и пустив Керчика шагом, отец похвалялся:

– Уж я этих косоглазых столько на своем веку побил, что и счет потерял. По одной только нынешней пороше сотни три застрелил. Да разве это звери! Мелюзга, вроде ершей в Волге. Вот лиса – другое дело: зверь первостепенный. Ну, и с медведем интересно позабавиться. Жаль, куниц теперь попадается мало. В прошлом году всего двух убил. А ныне… – Алексей Сергеевич поперхнулся, вспомнив, как Ефим застрелил куницу у него под носом, – ныне и того нет.

Причмокнув, он резко дернул вожжами:

– Э-эх, пошел!

Рванув сани, Керчик, как ветер, понесся вперед. Со свистом поскрипывали полозья.

Скоро Коля увидит того знаменитого Катанина, о котором так часто и много твердил отец, то отчаянно, на чем свет стоит, ругая, то восхищаясь его богатством. Ругая Катанина, отец говорил, что он опасный вольнодумец, что его выслали из Петербурга в деревню по приказу самого государя. Отца особенно возмущало, что Катанин пишет стихи и даже печатает их в журналах.

Часа через три после отъезда из Грешнева путники добрались наконец до места. Санки остановились у крыльца двухэтажного дома с белыми величественными колоннами. Алексей Сергеевич не успел выбраться из санок, как Керчика подхватил под уздцы неизвестно откуда вывернувшийся молодой парень с лихо заломленной шапкой на черных кудрях.

– Ты у меня смотри, – цыкнул на парня Алексей Сергеевич, – дай остыть, не сразу пои! Испортишь коня.

– Знаем. Не впервой. Наш брат в этом деле ученый.

– Ого! – изумленно выкатил глаза Алексей Сергеевич. – Ты как отвечаешь? Как отвечаешь, я спрашиваю!

– Обыкновенно отвечаем, – не смутился парень, – знаем, говорю, свое дело. Учены!

– А я вот тебя еще поучу, – погрозил кулаком Алексей Сергеевич, со злостью бросив шубу на санки.

В широких дверях дома стоял бородатый швейцар с золотыми галунами. Он с достоинством склонил седую голову:

– Петр Васильевич скоро будут! Извольте подождать в гостиной.

И то, что швейцар назвал своего барина по имени-отчеству, и то, что он недостаточно низко поклонился, еще больше возмутило Алексея Сергеевича. Хотел было он рявкнуть на слугу, но сдержался: не в своем доме, не в Грешневе. Уж там-то он показал бы, как надо кланяться!

В уютной гостиной Колю после мороза охватила приятная теплота. Угнездившись в мягком кресле, он с любопытством осматривался вокруг. Громадные светлые окна. Длинный стол с резными ножками, стулья с высокими спинками, обитыми красным бархатом. А на стенах большие картины в золоченых рамах. И люди, изображенные на картинах, не такие строгие, как на портретах в грешневском доме. В углу комнаты стоял громадный книжный шкаф со стеклянными дверцами.

Отец уселся возле сына и смотрел куда-то во двор. Коле скучно. Он еще раз бросил взор на картину, глаза его устало слипались. Потер кулаком – не помогало. Лучше уж и не

открывать!

Проснулся Коля от громкого раскатистого смеха. Кто-то незнакомый заливисто хохотал, приговаривая:

– Это уморительно! Это феноменально![6] Сиятельнейший граф Лопухов застрял на гнилом мосту? Вот где он воочию увидел российскую действительность. Ха-ха-ха!

Открыв глаза, Коля увидел сидящего напротив отца человека с темной, зачесанной назад гривой волос и туго закрученными, торчащими, как стрелки, усами. Одежда незнакомца, как и у отца, полувоенная: мундир без погон, синие брюки с алым кантом. Стоячий воротничок мундира туго врезался в крутой упрямый подбородок.

Коля перевел взгляд на отца: тот недовольно морщился: должно быть, ему не по душе был смех.

– Их сиятельство граф Александр Петрович – мой хороший друг, – с нескрываемой гордостью произнес он. – Я имел высокую честь служить с ним в одном полку. Он уже и тогда был в большом чине.

– Ах, вот что! – без всякого удивления, зато с заметной иронией отозвался сидевший напротив отца человек. – Знаю, знаю графа, как свои пять пальцев. Умен, хитер, ничего не скажешь. Изворотлив, как вьюн. Любит пыль в глаза пускать. Нос по ветру держит. А в общем и целом – далеко пошел!

Это забавляло Колю. До чего же смешно говорит этот человек. Что ни слово, то присказка. «Нос по ветру держит»? Будто отцовская гончая.

Однако слушать долго не пришлось. Отцовский собеседник (это, конечно же, сам Петр Васильевич Катанин, Коля сразу понял!) пригласил своего гостя закусить и погреться с дороги.

– Только как нам быть с нашим молодым человеком? – спросил вдруг Катанин, повернувшись к Коле. – Ба, да он уже изволил проснуться. Здравствуйте, мой юный друг!

Коля смутился:

– Простите, пожалуйста. Я нечаянно. Я на минутку задремал.

– Нет, нет, не принимаю никаких извинений, – широко улыбнулся Катанин. – Сон – это штука законная. И рад бы, говорят, не спать, да сон одолеваете И еще говорят: кто спит, тот обедает… Но, я думаю, что это не совсем так. После сна почему-то особенно есть хочется. По сему поводу не откажите составить нам компанию за столом.

Петр Васильевич взял мальчика под руку и повел в столовую. Хозяин дома нравился Коле. Он и говорит как-то по-особенному, и угощение у него на славу. Кажется, он никогда еще не ел таких вкусных блюд. Впрочем, чужой хлеб – давно известно! – всегда

почему-то лучше своего, домашнего.

На столе появилась свежая, сочная клубника. Прямо глазам не верится. На улице мороз, снег, а тут клубника! Придвинув вазу с ягодами поближе, Катанин уговаривал:

– Угощайтесь, мой юный друг. Это ананасная. Прямо с грядки. Из собственной оранжереи!..

Катанин поднял бокал с искрящимся пенным вином и чокнулся с Алексеем Сергеевичем. Они завели разговор о собаках.

– Нет, что бы ни толковали, а с вашими борзыми никому не потягаться. По всей округе слава о них идет. Охотники не нахвалятся. Ей-богу! – льстиво говорил отец, разглаживая усы.

– Что ж, собаки действительно неплохие, – как-то очень равнодушно согласился Катанин.

– Вы бы мне, достопочтимый Петр Васильевич, парочку-другую щеночков уступили. За оплатой дело не станет. А цена меня не пугает.

– Сделайте удовольствие, – склонил голову Катанин. – Любых выбирайте! И денег я с вас по-соседски не возьму.

– Помилуйте! – отец зажмурился от удовольствия. – Дружба дружбой, а денежки врозь. Я готов рассчитаться хоть сейчас… Вы обидите, отказавшись.

Коля испугался: а чем отец платить будет? Он дорогой обмолвился, что ни копейки с собой не взял, что Катанин непременно даст щенков в долг… А потом, когда же, наконец, он о главном заговорит – об учителе? Ага, вот, кажется, собирается что-то сказать. Но его опередил Катанин:

– Многих ли мужиков, дорогой соседушка, вы изволили на оброк перевести? – спросил он.

Отец беспокойно завозился на стуле:

– На оброк? Гм! Всего двоих. Для пробы. Торговлишкой пробавляются.

– А по моему разумению оброк следовало бы применять смелее, – в раздумье произнес Катанин. – Он значительно легче для крестьян. Какое мнение вы на этот счет имеете?

Алексей Сергеевич нервно кашлянул. Коля чувствовал, что отец сердится. И чего это он? Барщина, оброк – скука какая. Вот если бы он учителя попросил. За этим ведь и ехали.

– Какое мнение? – недовольно переспросил отец. – Да никакого, извините! Не затрудняю себя мыслями о мужике. Со своими делами не успеваешь справиться.

– Но оброк взаимно выгоден, – убеждал Катанин, – и барину, и мужику.

– Может оно и так. Не спорю! Но позвольте еще раз повторить: мне важны только мои интересы… И потом посудите

сами: отпустишь мужика в город, а он там разных вольностей нахватается. Перечить вздумает. Так я уж лучше его около себя подержу. Пускай на моих глазах работает.

А Катанин, словно не слушая Алексея Сергеевича, задумчиво устремил глаза в потолок.

– Если бы только все понимали, – с глубокой горечью воскликнул он, – как трудно жить мужику: сеять хлеб, платить подати, выставлять рекрутов, быть вечным рабом! Мне становится смешно, когда иные из нас философствуют: сельская тишина, мир полей, русская природа… Какие бессмысленные, пустые слова!

Коля видит, что отец в смятении. Языком губы облизывает, кряхтит, словно тяжелый мешок на себе тащит. А Петр Васильевич хорошо говорит, будто стихи читает. Вот бы ему с Александром Николаевичем встретиться. Они бы, наверно, сразу друг другу понравились.

Не замечая, как нахмурился старший гость, Катанин с увлечением продолжал:

– Впрочем, барщина ли, оброк ли – одного поля ягода. По моему суждению, самое верное – дать мужику волю, освободить от барской зависимости. Кстати, я уже намереваюсь поступить со своими крестьянами именно так. Пора! Как вы думаете?

Отец в явном смятении. Он молчит, нахохлившись, как филин. Заметив, что гость недоволен, Катанин любезно спросил:

– Не желаете ли пройти на псарню? Выбрать щенков засветло. Пожалуйста!

Он отрыл дверь и негромко приказал кому-то:

– Помогите господину Некрасову… Да, да, любых!

Когда отец, неуклюже поклонившись, ушел, Катанин остановился возле стула, на котором сидел Коля.

– Вы, наверно, все зеваете, – ласково произнес он. – Взрослые всегда такие неинтересные. Болтают что-то непонятное. А вам скучно? Не так ли?

– Нет, что вы. Напротив, – привставая со стула, ответил Коля. – Мне совсем у вас не скучно, мне очень нравится.

– Что же вам, мой юный друг, здесь нравится? – пряча улыбку в густых усах, выпытывал Катанин. – Вероятно, ягоды, клубника? Я, надеюсь, не ошибся?

– У вас много книг, – прошептал Коля.

– Ах вот как! – Катанин с удивлением глянул на своего молодого гостя. – Значит, вы любите книги?

– Нам маменька каждый вечер читает. У нее своя библиотека. И Андрюша тоже любит книги.

– Андрюша – это братец ваш?

– Да. Он меня старше на целый год. Но, представьте, часто

болеет, – все больше проникаясь доверием к Катанину, рассказывал Коля. – А мне по ночам книги снятся. Вот один раз чувствую, что скоро проснусь, и давай их под подушку прятать. А проснулся – ничего нет. Такая досада!

Катанину нравился этот любопытный мальчуган. Кажется, не в отца растет.

– Что же вам читает маменька? Каких писателей? – поинтересовался он.

– А всяких! Данте, Шекспира, Вальтера Скотта, Державина, Карамзина, Жуковского…

– Великолепно, превосходно! – восклицал Катанин. – А разве Пушкина вы не читали?

– Как же, как же, – заторопился Коля и вздохнул: – У нас только одна книжка. Должно быть, Пушкин мало пишет.

Петр Васильевич громко рассмеялся:

– В этом его упрекнуть никак нельзя. Пишет завидно много. Но печатают мало. Вот в чем секрет.

Обняв гостя за плечи, он потянул его за собой в соседнюю комнату, где Коля видел огромный, со стеклянными дверцами книжный шкаф. Катанин подошел к нему, открыл дверцы, и перед Колей предстало великое множество разных книг в кожаных переплетах с золотым тиснением.

Это вам на память о нашем добром знакомстве, – подал Катанин книгу в зеленой обложке. И, как о чем-то самом обыкновенном и простом, сказал: – Автор сей книги, Александр Сергеевич Пушкин, – мой старый, добрый друг. Мы частенько встречались с ним. В Петербурге. Перед моим отъездом в деревню он преподнес мне два экземпляра своей новой книги. И хотя есть такое правило – не дарить дареное, я делаю для вас исключение. Надеюсь, Александр Сергеевич не посетует на меня, что я нашел ему на Волге такого славного читателя.

Потом он лукаво прищурил глаза:

– А сами вы, позвольте узнать, не пишете стихов?

– Что вы, что вы, – смутился Коля, но, подумав, признался: – Я к маменькиным именинам хочу написать. Боюсь, ничего не получится.

– Почему же? Попробуйте, мой юный друг, – тепло улыбнулся Катанин. – Попытка – не пытка. Кстати, когда будут именины вашей матушки?

Коля назвал число, а Катанин, достав из кармана записную книжку, что-то записал в ней.

Теперь, когда Коля проникся доверием к Петру Васильевичу, он решил сам поговорить об учителе. Хотел расхвалить Александра Николаевича, пожалеть, что больше его не будет в их

доме. Но на пороге появился отец.

– Благодарствую, – все еще хмурясь, произнес он. – Отобрал троечку. Так что вы извольте уж счетик прислать. С оплатой не задержусь…

И, переводя взгляд на сына, приказал:

– Одевайся!..

В обратный путь отправились затемно. Взошла луна и осветила голубым мерцающим светом лес, поляны, дорогу. Под ногами шевелились и скулили упрятанные в мешок щенки. Отец всю дорогу молчал. Лишь подъезжая к Грешневу, он недовольно стал бурчать:

– Счастье наше, что учителя у него не попросили. Такого бы подсунул ветродуя, почище нашего поповича… Ух! Я бы всех вольнодумцев этих!.. – он со злостью хлестнул Керчика по спине.

Вздрогнув, Коля крепко прижал к себе дорогой подарок. Ему казалось, что книга согревает, что от нее исходит какое-то необыкновенное тепло. То-то маменька обрадуется этому подарку. И Андрюша вместе с ней. Будет что почитать!..

Друзья-приятели

Я постоянно играл с деревенскими детьми…

Из автобиографии Н. Некрасова

Кот Васька всю ночь спал на теплой лежанке. Но под утро, когда она остыла, забрался к Коле под одеяло. Сначала присоседился у ног, потом стал пробираться поближе к подушке. По пути он слегка, без всякого злого умысла, тронул нос спящего мягкой пушистой лапой. Коля открыл глаза: «Ах ты, негодник! Что ты мне спать не даешь? Я очень устал. Ты не знаешь, куда я ездил? Вот то-то! К Катанину! Ух, какую он мне книжку подарил. Стихи! Пушкина! Там и про кота есть. Про ученого. Он даже сказки сказывает. Да. Да!»

Полежав чуточку спокойно, Васька вдруг захотел играть: щекотал Коле то пятки, то спину, то живот.

«Нет, надо подниматься! Покоя Васька все равно не даст».

Коля спустил ноги на пол. Брр, холодно! Быстро натянул на себя рубашку, штаны, чулки. На лежанке стояли теплые валенки.

Не умываясь, он набросил на плечи тулупчик и на цыпочках отправился к двери, тихонько приговаривая:

– Гулять, гулять!

Васька отлично понимал эти слова. Он уже у двери. Коля пропустил его вперед и вышел на крыльцо. На дворе ни души. Отец уехал к своему приятелю – соседнему помещику Тихменеву. Никто не нарушал утреннего спокойствия, не кричал, не бегал, не суетился.

С наслаждением вдыхал Коля сладкий морозный воздух. Пар белыми клубами валил изо рта.

Попрыгав немного по снегу, Васька подбежал к двери и просительно мяукнул.

– Ладно, ладно, иди! Вижу, не хочешь со мной гулять, – нарочито ворчливо сказал Коля, открывая тяжелую дверь.

Оставшись один, он глянул в сторону деревни. Над соломенными крышами поднимались голубые дымки – хозяйки затопили печи.

Коля не спеша направился к конюшне. Он еще издалека заметил около нее хромого конюха Трифона, отставного солдата, сражавшегося против Наполеона и побывавшего вместе с русскими войсками в Париже.

Держа порванную уздечку в руках, Трифон степенно поздоровался и спросил:

– Куда это ты собрался в такую рань, Миколай Лексеич?

– К тебе, – ответил Коля. – Санки готовы?

– А как же! В полном акурате. Катайся на доброе здоровье.

Санки стояли у стены конюшни. Раньше они были серыми, грязноватыми, а теперь стали светло-голубыми, как летнее небо.

– Хорошо, дядя Трифон! Спасибо!

– Не стоит благодарности, Миколай Лексеич. Завсегда рад тебе услужить, – польщенный похвалой, поклонился Трифон. А затем, почесав в затылке и сокрушенно тряся оборванной уздечкой, заворчал:

– Вот навязался на мою голову, окаянный, прямо спасу нет!

– Кто это, дядя Трифон? Кого ты бранишь?

– Жеребец тут один есть. Молоденький. Аксаем кличут. Вишь всю муницию изорвал. Такой озорной, такой непутевый!

Коле любопытно посмотреть. И он зашагал в конюшню, сопровождаемый заботливым напутствием Трифона:

– Ты, Миколай Лексеич, остерегайся его. Подальше держись. Как бы не куснул, проклятущий!..

Аксай, рыжий и узкомордый жеребец с коротко остриженным хвостом, сердито бил копытами по деревянному настилу.

Постояв около Аксая минуты две, Коля вышел на улицу. А Трифон уже не один. На толстом сосновом бревне сидел Кузяхин отец – охотник Ефим с трубкой во рту. Он старательно высекал огонь из кремня.

– И ты бы присел, Миколай Лексеич, – проговорил Трифон. – В ногах правды нет… Аль торопишься?

Куда торопиться! Дома все спят. Он сел на краешек бревна. Ему хочется послушать Трифона. Тот всегда так интересно рассказывает про войну с французами.

Ефим с ожесточением ударил по кремню шероховатым куском железа. Густо посыпались мелкие искры. Трут загорелся. Потянуло запахом жженой ветоши. Подавая горящий трут Трифону, Ефим со вздохом произнес, должно быть, продолжая разговор:

– Огонь да вода – нужда да беда!

– Что правда, то правда, – согласился Трифон, – огонь жжет, вода заливает, беда бьет – нужда поджимает. Такое уж наше мужицкое дело-положение.

Из трубки повалил дымок. Затянувшись три раза подряд, Трифон передал трубку Ефиму. Они курили по очереди.

– А ты не особенно к сердцу принимай, что тебя посекли, – успокаивал Трифон. – В нашем деле-положении к этому

привыкать надо. Везде бьют. В солдатах я был – пороли, домой вернулся – опять же порют.

Ефим закачал головой:

– Было бы за что бить. А то ведь из-за какой-то несчастной куницы. Ежели бы не я, ушла бы она беспременно. Скок на дерево – и поминай как звали.

С опаской глянув на Колю, он полушепотом добавил:

– Ох, лютой он у нас! Ох, лютой!

– А где лучше-то найдешь? – дымя трубкой, ответил Трифон. – Какой сапог ни надень, любой жмет.

Коля чувствует, что речь идет об отце. Но заступаться за него не хочется. Зачем?

Сплюнув на испачканный навозом снег, Ефим спросил:

– Слышал, что в Плещееве-то приключилось?

– В каком Плещееве? – поднял бровь Трифон.

– Да князя Гагарина имение. От Ярославля верст тридцать.

– А-а! Князя Гагарина кто не знает. Ну и что?

– Так вот, – продолжал Ефим, – в Плещееве в этом самом мужики силу свою проявили.

Трифон пододвинулся ближе:

– То есть как – силу?

– А очень просто. Замучил их барин. Что ни день, то на конюшне дерут. Вот терпели они, терпели, а потом собрались всем миром и пошли в город к губернатору, с жалобой.

– Поди-ка, смельчаки какие! – изумился Трифон. – Что же губернатор-то им сказал?

Ефим вздохнул:

– Вертайтесь, сказал, обратно к своему барину и будьте у него в полном послушании, потому он вам от бога даден. «Помилуйте, кричат мужики, замучил он нас». А губернатор снова: вертайтесь да вертайтесь! Но мужики никак не отступают, своего требуют. Тут губернатор солдат с ружьями на них – опять не отступают! «Выпороть их, бунтовщиков, всех до единого!» – кричит губернатор. Выпороли! На Сенной площади в Ярославле, перед всем народом. А мужики обратно уперлись на своем. Взбеленился тогда губернатор и приказал сим же часом угнать всех в Сибирь…

– А все-таки не сдались! – с восхищением закачал головой Трифон. – Выходит, герои… Это я понимаю. Ай да мужики!..

Коле не удалось дослушать разговор до конца. От крыльца дома долетел голос няни:

– Николушка! Куда ты делся ни свет, ни заря? Маменька беспокоится. Простудишься.

Мать действительно, была не на шутку встревожена.

– И что это за манера – прямо с постели, полуодетым на

улицу? – сердилась она. Но, поцеловав румяные, пышущие морозной свежестью щеки сына, успокоилась…

В этот день Александр Николаевич не пришел в Грешнево. Отец еще вчера послал ему предупреждение, чтобы он не являлся больше в усадьбу. Занятий сегодня не будет.

– Разрешите нам с Андрюшей сбегать на Самарку. На санках покататься. Ну, пожалуйста, мамочка, – начал упрашивать Коля.

– С Андрюшей? – беспокойно глянула на старшего сына Елена Андреевна. – Так далеко?

– Что вы, что вы, мамочка, это же совсем близко! А Андрюша совсем здоров. Ну, спросите его.

– Хорошо, хорошо, разрешаю, – со вздохом согласилась мать. – Только ненадолго. Скоро вернется отец.

С радостным визгом и шумом мальчики начали одеваться.

Чтобы попасть к крутому берегу извилистой речки Самарки, надо выйти через ворота на большую дорогу, миновать замерзший пруд, кузницу. Но у Коли есть другой, более короткий путь. Еще прошлым летом он проделал в заборе потайную лазейку. Через нее удобнее попадать в деревню, к закадычным друзьям-приятелям. Правда, сейчас к лазейке пробраться довольно сложно: в саду снегу по самый пояс.

За забором ползла свежепротоптанная дорожка. Вся она изрезана полозьями санок.

– Ага! – обрадовался Коля. – Савоська уже там. – И он показал рукавичкой на рябые полосы в снегу. – Это его корзинка, смотри, как нацарапала.

Еще издали увидели они деревенских ребят, толпящихся на берегу Самарки. Слышались оживленные крики, смех. Коля прибавил шагу, Андрюша едва успевал за ним.

Первым их заметил Кузяха.

– Ура! Николка-иголка идет! – весело загорланил он, бросая шапку в воздух.

– Ну, ты! Чего над самым ухом орешь? – заворчал на Кузяху Митька Обжора, сын старосты Ераста. – Обрадовался, сам не знает чему. Будто сто лет не видались.

Но Кузяха не обратил внимания на Митьку. Будто и нет его.

– Давай скореича сюда, – звал он Колю. – Ух и покатаемся.

А Митька завистливо гундосил:

– Гляди-кась, у них санки новые. Ишь, какие голубенькие, ишь…

– Вовсе и не новые, – вступился в разговор Савоська. – Это старые дядя Трифон покрасил. Правду я говорю, Алеха?

– Правду! – тоненько раздалось в ответ. Мы вместе с дядей Трифоном красили, я помогал ему. – Это сказал Алеха Муха,

самый маленький среди ребят. Он круглый сирота. Отец и мать у него умерли от холеры, и его приютила в своей избе сварливая бобылка Лукерья.

– Ой, батюшки, какой помощничек выискался! – послышался чей-то, еще более тонкий, чем у Алехи, насмешливый голос.

– А ты молчи! Чего нос суешь? Тебя не спрашивают, – повернул голову Алеха. – Шла бы себе в куклы играть. Только все за мальчишками и вяжешься.

Насмешливый голос принадлежал Кланьке Няньке, быстроглазой дотошной девчонке. Рядом с ней стояла черная, как смоль, Лушка Цыганка. Обе они, как и мальчуганы, в рваных отцовских армяках, подпоясанных веревками из мочалы, на ногах – полосатые онучи и стоптанные лапти. Только старые материны платки и выдавали девочек. Впрочем, Алеха Муха тоже в платке, перетянутом на груди крест-накрест. Это не мешало ему, однако, считать себя настоящим мальчишкой и даже изредка колотить Кланьку за то, что она девчонка. Но чаще всего Алехе самому попадало от Кланьки.

Запыхавшиеся, оживленные, подошли Коля и Андрюша к своим друзьям-приятелям. Здорово накатали гору! Блестит, как стекло. Вот сел на свою ледянку – разломанную старую корзину – Савоська. Он сильно оттолкнулся ногами, успевая на ходу вытереть рукавицей нос:

– Но, поехали!

Коля поставил голубые санки у самого обрыва и удобно устроился на них. Сзади – Андрюша, обхвативший брата руками. Резкий толчок – и только ветер засвистел в ушах.

А сверху уже спускались крохотные санки Алехи Мухи. С форсом пролетел на салазках с железными полозьями Митька Обжора. Он всегда что-нибудь жует, даже теперь, когда летит с горы.

Последним свалился сверху, как тяжелый куль, Кузяха. Он сбил Митьку с ног, и тот, подавившись недожеванным куском, разразился кашлем. Из глаз его бежали слезы. Не успев откашляться, он начал браниться:

– Ух ты, урод беспалый! Погодь, ужо я тебя взбутетеню![7]

Кузяха петухом налетел на Митьку:

– А ну, взбутетень! Попробуй! – выставил он вперед кулаки. На левой руке у Кузяхи всего четыре пальца. Мизинец он успел отстрелить на охоте.

– Да рази Митька будет драться, – поддразнивала Кланька. – Куда ему, боится!..

– Это я-то боюсь? – хорохорился Митька. – Захочу, одной левой рукой из него кислую капусту сделаю.

Но Кланька продолжала дразнить:

– Так уж и капусту! Смотри, как бы из самого тебя тюрьку не сделали. Верно, Кузяха?

Чего там спрашивать! Кузяха не даст себя в обиду. Он развернулся и двинул Митьку по лицу. Удар был не очень сильным, пустяковым, но Митька упал на снег и завыл:

– У-у-у. беспалый! Вот я тятьке пожалуюсь. Пошлет тебя на «девятую половину». Всыплют горячих, будешь знать, как драться. И батьке твоему, ворюге Орловскому, всыплют.

Ну как тут удержаться! Не позволит Кузяха оскорблять отца. Батька его в жизни ничего чужого не брал. И Митьке еще попало. Он надсадно, как аббакумцевский дьячок, гнусил.

– Орловский вор украл топор!

Нет, это уж совсем нестерпимо. Новый удар, на этот раз основательный, – и Митька полетел с ног. Теперь он ревел, как недорезанный телок.

– Гм-ы! Ма-а-мка!

Глупая Кланька от восторга упала в снег, и, захлебываясь смехом, припевала:

Староста, староста,
Попляши, пожаласта!

В другое время Митька задал бы ей перцу за такую песенку. Но сейчас не до нее. Он сморкается, плюется, поглаживает щеку и воет, воет, воет.

– Перестал бы ты, наконец! Что ты, как собака голодная! Надоело! – не выдержал Коля, пробегая с санками мимо Митьки.

– Да-а, а чего он дерется, беспалый, вот ему будет ужотко. Тятьке пожалуюсь.

– Сам виноват, – заступился за друга Коля. – Зачем напраслину возводишь? Не стыдно?

Шмыгая мокрым носом, Митька затих. Но Кланька не давала ему покоя. Прихлопывая рукавицами, она задорно напевала:

Староста, староста,
Попляши, пожаласта!

И никто не вступался за Обжору. Ничего ему больше не оставалось, как убраться отсюда подобру-поздорову. О нем сразу же забыли. Катание продолжалось вовсю.

Раньше всех устали девочки. Они сели около прибрежной ракиты на перевернутое корыто и стали потихоньку

разговаривать. Коля слышал, как Лушка вздыхала:

– Ой, поесть охота! Хоть бы корочку какую завалящую. Мамка третий день хлеба не печет – мука кончилась.

– А мы лепешки из мякины жуем, – жаловалась Кланька, – весь язык исколола.

Помолчав, словно обдумывая свое положение, девочки затянули, как взрослые женщины по вечерам на завалинке, тоскливую песню про горькое житье-бытье.

Неподалеку от поющих сел отдохнуть запыхавшийся Андрюша. Он вытирал рукавичкой липкий пот на лбу. Андрюше надоело слушать скучную песню, и он робко упрашивал девочек:

– Спойте что-нибудь повеселее! Ну, пожалуйста!

Озорновато переглянувшись, девочки хихикнули и запели:

Андрей-воробей,
Не гоняй голубей,
Гоняй галочек
Из-под лавочек…

– Вы что к нему пристаете? – услышал обидную песенку Коля.

– А мы не пристаем, мы поем!

И, верно, пришлось бы проучить девчонок, если бы в эту минуту не крикнули:

– Митька вертается!

Коля повернул голову в сторону деревни. Оттуда двигалась какая-то черная точка.

– Жучка! Мишкина Жучка! – узнал Алеха.

И вот собачонка уже перед ребятами. Она радостно взвизгивала, валялась в мягком снегу. А за ней плелся в больших дырявых валенках ее хозяин – Мишка Гогуля, плотный, как свинчатка, паренек с постоянно удивленными разными глазами: один голубой, другой серый.

– Что так поздно? – спросил Савоська, почесывая Жучку за ушами.

– Так ведь как раньше-то уйдешь? Матка то одно, то другое заставляет. Дров наколол целый воз, а ей все мало, – деловито ответил Мишка.

– А салазки твои где? Потерял?

– Да нет. Матка запрятала. Не дам, говорит, пока навоз из хлева не выкинешь. А его гора целая – на неделю работы. Я и убег. Будет мне теперича, накостыляет матка по шее. Ну и пущай! Покататься страсть как хочется.

Савоська успокоил его:

– Авось не накостыляет. Всех дел не переделаешь. А ну,

давай, садись ко мне.

Но тут вмешался Кузяха:

– Он со мной. Верно, Мишутка, со мной?

Остановившись возле Мишки, Коля ласково предложил:

– Бери наши, жалеть не станешь!

Мишутка растерялся. Он смущенно глядел то на одни, то на другие санки. Забота друзей и осчастливила, и обескуражила его. Конечно, голубые лучше. Но уж очень они красивые. На них и садиться-то страшно. Куда проще с Савоськой устроиться. И он опустился на корзинку.

А Коля обиделся… Ну, почему Мишутка отказался? Разве плохи голубые санки? Подходящие! Далеко катятся.

– Давай с тобой меняться, Кузяха, – сказал он приятелю.

Кузяха не решался:

– У меня старые!

– Ну и что? Они мне нравятся!

– Ладно, пожалуй, сменяемся на немножко.

А девчонки совсем притихли. Они слепили круглые шарики из оттаявшего в кулаке снега и стали играть в «камушки». Подбрасывая шарики вверх, Кланька легко схватывала их на лету. Потом это же проделывала Лушка. Но у нее получалось хуже. Один шарик отлетел в сторону. Лушка потянулась за ним и заметила позади кустов, шагах в ста от ребят, большую серую собаку.

– Эвон, еще Жучка! – с удивлением произнесла она.

Кланька не поняла:

– Какая Жучка, где Жучка?

– А эвон, за кустами. Ты встань, встань.

Кланька нехотя встала и глянула в ту сторону, куда указывала подруга. В глазах ее появился испуг.

– Ишь, какая агромадная. Должно, из Гогулина.

– Давай спросим Мишутку, – предложила Лушка, – он гогулинский. Эй, Гогуля! Подь сюда!

– Ну, чего там?

– Иди глянь – чья это собака? Страшенная!

Теперь увидел и Мишутка. Серая собака, поджав хвост, словно застыла.

– В Гогулине таких нет, – уверенно произнес он. – Вот я сейчас Жучку на нее напущу. Жучка! Жучка! Фью! Фью!

На свист хозяина подлетела Жучка. Мишутка вытянул руку вперед:

– Возьми! Куси!

Не трогаясь с места, Жучка начала громко лаять.

– Куси, куси! Чужая!

Но Жучка и не думала кусать. Она трусливо прижалась животом к снегу и тихонько попятилась назад. А большая серая собака шевельнулась и тоскливо провыла несколько раз подряд.

– Волк! – чуть не задохнулся от испуга Мишутка.

Подпрыгнув, как ужаленные, девочки с отчаянным визгом бросились бежать, выкрикивая на ходу:

– Волк! Волк!

Вслед за ними помчалась и Жучка. Изредка оглядываясь назад, потрусил Мишутка. Клубочком покатился маленький Алеха Муха. Размахивая длинными рукавами, утекал от беды Савоська.

Тревожное «волк» настигло Колю в ту минуту, когда он на Кузяхиных санках катился с братом под гору.

– Бежим! – побелел как полотно Андрюша.

Легко сказать – бежим! Кругом сугробы, а впереди крутой берег.

– Какой там волк, – начал успокаивать Коля брата, – выдумали тоже… Это все девчонки!

Но Андрюша, дрожа, прижимался к брату и готов был расплакаться. В эту минуту на горе показался Кузяха.

– Вылезайте! – возбужденно крикнул он. – Я прогнал волка!

Мальчики, обрадованные, влезли на гору. Перед ними печальная картина. Кругом в беспорядке валялись санки и ледянки.

А Кузяха, захлебываясь от волнения, рассказывал:

– Ка-ак я замахнусь на него палкой, да ка-ак крикну во все горло, он и давай бог ноги! Тятька говорит, днем волки людей опасаются. А вот ночью лучше им не попадайся. Загрызут! Только я и ночью не боюсь, хоть сто волков будь…

Оживленно переговариваясь, они поспешили к деревне. Еще издали Коля увидел, как перепуганные ребята теснились около забора усадьбы. Кузяха насмешливо крикнул им:

– Эй, зайцы косоглазые! Здорово лепетнули. Только пятки засверкали!

Отозвался один Алеха:

– Да, лепетнешь! Волчище – ужасти какой!

Савоська и Мишутка конфузливо молчали. Чего там оправдываться – виноваты!

В эту минуту прозвучал сердитый голос:

– Вот они где, молодчики!

Из-за угла вывернулся подпоясанный красным кушаком староста Ераст. Увидав Колю и Андрюшу, он укоризненно покачал головой:

– Уж вам-то, баричи, совсем здесь не место. Нехорошо. Очень

нехорошо. Батюшка дюже недовольны будут.

Сердито насупив брови, староста стал надвигаться на Кузяху:

– Это ты моему Митюшке нос расквасил?

– Он не виноват! – вступился за друга Коля. – Митька сам пристал.

– Зачем он моего тятьку обозвал? Какой он вор? – спрашивал Кузяха. – Тятька у меня хороший.

Ераст ухмыльнулся:

– Хороших не секут, а ему барин всыпал. Выходит, вор!

– Сам ты вор, – надвинув шапку на глаза, крикнул Кузяха. – Барский лес продавал, а денежки себе в карман.

У старосты глаза на лоб полезли от злости. Он брызгал слюной, лихорадочно отстегивая кожаный ремень под шубой:

– Я вот тебе покажу лес!

Но Коля не дал в обиду своего дружка.

– Не тронь! – решительно произнес он, закрывая Кузяху собой и раскинув руки в обе стороны.

Неожиданный защитник смутил Ераста. На барчука руку не поднимешь. За ним Кузяха, как за каменной стеной. Тогда староста обрушил свой гнев на Савоську.

– Тебя еще здесь не хватало, шельмец! Что? Тоже в братца пошел? Одна порода. – Он больно дернул Савоську за ухо.

– Зачем обижаешь? Что он плохого сделал? – выкрикнул Коля, не отходя от Кузяхи.

От усадьбы донесся глухой шум. Ржали лошади, лаяли собаки.

– Никак, барин приехали! – озабоченно забормотал староста и опрометью кинулся к дому.

– Нам пора! – встревожился Андрюша.

Пробравшись через лазейку в сад, Коля выглянул оттуда и помахал своим друзьям-приятелям мокрой рукавичкой: дескать, не робейте!

Мать

Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя,
Кто жизнь твою сгубил… О! Знаю, знаю я!

Н. Некрасов. «Родина»

Нового учителя отец так и не нашел. Если верить няне (а она всегда говорит правду), он и не думал его искать.

– До учителя ли ему, матушка-барыня, – сказала она Елене Андреевне, – эвон псов-то сколько развел.

Чтобы не терять напрасно время, за обучение мальчиков взялась сама Елена Андреевна. Но сегодня она с утра почувствовала недомогание, уроки пришлось отложить. Укутанная теплой клетчатой шалью, мать сидела в глубоком кресле. На щеках ее лихорадочный румянец. Глаза усталые, грустные.

Коля и Андрюша устроились у окна. Они перелистывали толстую, с пестрыми цветными рисунками книгу из библиотеки матери.

– Идите сюда, мои мальчики, – попросила Елена Андреевна, вытирая платком капельки пота на лбу. – Мне скучно одной.

Дети быстро перебрались к креслу матери.

– Как жалко, что мы не сможем сегодня заниматься, – печально произнесла Елена Андреевна. Но Коля поспешил утешить ее:

– Ничего, мамочка, мы и то все время учимся и учимся. Надоело!

Мать ласково улыбнулась:

– Ты такой смешной! Конечно, учиться нелегко. Но зато как славно будет потом. Кончите гимназию, поступите в университет…

– Да-а, в университет, – недоверчиво протянул Коля. – Папенька собирается отдать нас в кадеты, в военное училище. А я не хочу. Не люблю – ать-два, ать-два!

Елена Андреевна рассмеялась, достала с туалетного столика красивую черепаховую гребенку и, расчесывая сыновьям волосы, ласково гладила их по голове, рассказывала:

– А я, мои малыши, училась в пансионе. Там было много таких же, как я, девочек в коричневых платьях с белыми фартуками. Обучали нас разным наукам, даже польскому языку.

От нас Польша была очень недалеко, да и в нашем городе жило немало поляков. Мои подруги в шутку звали меня гордой полячкой, Мариной Мнишек. Вот чудачки!.. Я же настоящая украинка, щирая, как говорят у нас в Малороссии.

Елена Андреевна мечтательно закрыла глаза и мягко, нараспев, заговорила снова:

– Как упоителен, как роскошен летний день в Малороссии! Как томительно жарки те часы, когда полдень блещет в тишине и зное… Все как будто умерло; вверху только, в небесной голубизне, дрожит жаворонок, и серебряные песни летят по воздушным ступеням на влюбленную землю…

Затаив дыхание, слушал Коля эти чудесные, необыкновенные слова. Они звучали, как волшебная музыка, унося, словно на крыльях, в далекую, неведомую Украину.

Мать умолкла.

– Ой, как хорошо, мамочка! – восторженно воскликнул Коля.

– Это Гоголь, – чуть слышно вымолвила мать, открывая глаза. – Николай Васильевич Гоголь. Как-нибудь на досуге мы непременно почитаем его книгу «Вечера на хуторе близ Диканьки».

В комнату неслышно вошла няня. Вид у нее расстроенный, глаза заплаканные.

– Прости, ради бога, матушка Елена Андреевна, меня старую, неразумную, – стоя у порога, кланялась она. – Помешала я любезному разговору с малыми детушками.

– Нет, нет, ты не мешаешь, нянюшка, – успокоила Елена Андреевна. – Да ты, кажется, огорчена чем-то?

– Ох, матушка Елена Андреевна, – громко запричитала няня, – у внученьки моей, Дашеньки, такая беда-несчастье. Защити ее, бедную. Сиротинка она круглая.

– Что с ней? Кто ее обидел? – встревожилась Елена Андреевна.

Придерживаясь за плечи сыновей, мать приподнялась с кресла, неуверенной походкой подошла к няне и обняла ее.

– Что с ней, нянюшка?

– Пускай уж сама Дашутка все по порядку обскажет, – утирая фартуком глаза, всхлипнула няня. – Дозволь ей войти.

Не успела няня открыть дверь, как к ногам Елены Андреевны упала молодая девушка в расстегнутой овчинной шубейке, с тяжелой русой косой, перевесившейся через плечо.

– Матушка-барыня, заступница наша, – стукнулась девушка лбом об пол. – Помоги! На тебя вся надежда!..

– Что ты, что ты, милая, поднимись! – уговаривала Елена Андреевна, наклонясь к девушке.

Испуганно смотрели на Дашу мальчики. Уж не захворала ли она? Ведь больные крестьянки часто ходят к матери за лекарствами.

А девушка рыдала все сильнее.

– Ох, матушка-барыня, замуж Дашутку хотят выдать, – говорила сквозь слезы няня, – за немилого!

– За хромого, за старого! – со стоном вырвалось у девушки. – За Трифона!

– За Трифона? – всплеснула руками Елена Андреевна.

– Он ей в дедушки, матушка Елена Андреевна, годится, в дедушки. Втрое ее старше. Старуху свою в прошлом году схоронил… – Няня подошла к Елене Андреевне ближе и зашептала: – А у Дашутки свой суженый есть. Егерь Матюшка, не изволишь ли знать? Жить они друг без друга не могут. Либо с ней, бает Матюшка, либо, говорит, в Лешее озеро. Мать вытерла платком взмокший от волнения лоб:

– Не плачь, Даша! Не надо. Я попрошу Алексея Сергеевича. Непременно попрошу. Он изменит свое решение.

Но ее слова звучали как-то нетвердо. Коля чувствовал это, и в его сердце закрадывалось сомнение: а вдруг отец останется на своем? Что тогда? Неужели Матюшка и в самом деле бросится в Лешее озеро? А Даша?

Как только просительницы скрылись за дверью, мать в изнеможении откинулась на спинку кресла.

– Вы бы в постель легли, мамочка, – обеспокоенно произнес Коля, протягивая матери стакан с водой. – Вам нельзя так тревожиться.

– Конечно, мамочка, – добавил напуганный всем происшедшим Андрюша. – Отдохните.

Но мать решительно поднялась с кресла, сбросила с себя шаль, подошла к зеркалу и поправила прическу.

– Я потом отдохну, мои мальчики, – сказала она. – А сейчас пойду к отцу. Вы, пожалуй, можете погулять немного. Только не ходите на Самарку. Говорят, там волки.

У Коли не было никакого настроения гулять. Не привлекала улица и Андрюшу. Ему хотелось полежать.

Коля забрался в чулан и целых три часа читал. *6* руках его была подаренная Катаниным книжка. Он читал «Руслана и Людмилу», ненавидел коварного Черномора, восторгался храбростью и верностью Руслана.

От книги оторвал его нянин голос:

– Николенька, обедать!

Когда Коля вышел, он изумился: волосы у няни беспорядочно выбились из-под темного повойника, руки ее тряслись.

– Маменька обратно занедужила, – зашептала она. – В постель слегла. Вот поспит часок-другой, глядишь, и полегчает. Охо-хо, царица небесная!..

Перед сном няня пригласила мальчиков к матери. Увидев ее, Коля вздрогнул. Она очень изменилась за те несколько часов, которые прошли после разговора с няней и Дашей. Голова ее утопала в подушках. Лоб закрывал сложенный вчетверо и смоченный уксусом белый платок. В комнате пахло горькими лекарствами. Дети робко подошли к кровати. Мать открыла глаза и чуть слышно сказала:

– Поцелуйте меня, мои мальчики. Спокойной ночи, мои хорошие…

Андрюша не выдержал и громко заплакал.

– Ну что ты, что ты, мой маленький? – пыталась улыбнуться мать. – Наверное, очень устал? Тебе надо отдыхать днем. После обеда… Ты слышишь, нянюшка?

– Как не слышать, матушка Елена Андреевна, – откликнулась няня, стоя за спиной мальчиков. – Да ведь разве их днем загонишь в постель?

Няня заботливо укутала ноги больной, смочила уксусом платок на лбу и, усевшись у изголовья, ласково уговаривала.

– Не принимай близко к сердцу, матушка Елена Андреевна. – Что поделаешь! Такая уж, видно, доля у Дашутки.

Елена Андреевна дышала тяжело, прерывисто. Глаза ее были недвижно устремлены в потолок.

– О детушках своих допрежь всего думай, – продолжала уговаривать няня. – Себя береги. Здоровье можно поправить. Съездила бы к нетленным мощам Николая-угодника в Бабайский монастырь, свечу бы поставила. Как рукой все болести снимет.

Подперев рукой щеку, няня задумалась. Потом вновь стала упрашивать:

– А ты, матушка Елена Андреевна, послушай меня грешную, съезди в монастырь.

– Ладно, нянюшка, ладно. Вот будет получше – и съезжу, помолюсь, – обещала, наконец, мать.

Отправив Колю и Андрюшу в детскую, Елена Андреевна долго не могла забыться. Она думала о своей жизни, о судьбе своих детей. Что будет с ними, если она умрет? Явится в дом чужая женщина. Мачеха! Может, попадется и добрая, ласковая, но все равно ей не заменить детям родной матери. А отец? Он никогда не был близок к детям. Да и о ней самой никогда не заботился. Ему нужны только охота, карты, вино.

Теперь у них семья, дети. Большая семья! Андрюше и Коле осенью в гимназию. Приходится думать и о Лизоньке. Устроить

бы ее куда-нибудь в пансион… А там подрастут Федя, Костенька, Аня.

Ради детей она готова на все. Орлицей будет защищать их от всех жизненных бурь и ураганов. Любую грозу выдержит. Только бы не оказаться раньше времени на погосте. Жить, жить, жить! В самом деле: не послушаться ли няни? Не съездить ли в монастырь? Может, действительно, свершится чудо?…

* * *

Прошла неделя. Как-то за обедом Елена Андреевна сказала мужу, что хочет отправиться в Бабайки помолиться. Тот поморщился и угрюмо ответил:

– Скажи Трифону, чтобы только Керчика не трогал.

– Разве вы не поедете со мной?

– Не за горами твой монастырь. Доберешься и без провожатого.

– Можно мне с вами, мамочка? – робко попросил Коля и, заметив, что мать колеблется, стал упрашивать: – Ну, пожалуйста, ну, миленькая, золотая, славная!

Как тут было отказать!

На следующий день Коля сидел рядом с матерью в зимнем дорожном возке, запряженном тройкой низкорослых неторопливых лошадей. Их выбирал Трифон. – «Нам спешить некуда, – бормотал он себе под нос, – матушке-барыне спокой нужен. Быстрота ей ни к чему: тише едешь, дальше будешь». День выдался на редкость мягкий, безветренный. Медленно падал снежок.

– В такую погоду, матушка-барыня, любо-дорого по свежему воздуху прокатиться. – обернулся к Елене Андреевне Трифон. Но она ничего не ответила. Тогда Трифон заволновался. Ему показалось, что барыня сердится на него.

– Ежели вы насчет Дашутки, – елозя на козлах, начал оправдываться он, – то я тут ни при чем. Не моя добрая воля.

Но Елена Андреевна смотрела на кучера отсутствующим взглядом, углубленная в свои думы.

Впереди показался монастырь. Он стоял на правом берегу Волги, и тройка быстро неслась к нему по занесенному снегом льду. Расстроенный молчанием барыни, Трифон забыл осторожность и гнал лошадей вовсю.

С тревожным любопытством глядел Коля на приближавшиеся с каждой минутой монастырские строения, высокие белые стены, купола, кресты.

С легким скрипом вползал возок под низкие своды каменных ворот.

Приезжих провели в гостиный двор – кирпичное одноэтажное здание, протянувшееся вдоль монастырской стены. В полутемной, с круглым оконцем комнате густо пахло полынью. Кроме покрытого скатертью стола и низенькой скамьи, в углу – деревянная кровать с синим стеганым одеялом. На стене – древняя выцветшая икона с бледно мерцающей лампадой из зеленого стекла.

Эта мрачная комната не понравилась Коле с первого же взгляда. Опять промелькнула в его памяти картина подземелья. Наверное, вот такое же крохотное окошечко оставили той несчастной девушке, которую замуровали в холодной, сырой стене…

Дорога, хотя и не столь дальняя, утомила Елену Андреевну. Она прилегла на постель и устало закрыла глаза.

Коле скучно. Чем ему заняться. В полутемной комнате нет ничего интересного. Разве выглянуть во двор? Он набросил на плечи тулупчик, надел шапку и выскользнул из комнаты наружу.

С высокого резного крыльца мальчик увидел Трифона. Конюх поставил лошадей под навес и теперь куда-то направлялся, стряхивая снег с голиц. Спустившись вниз, Коля увязался за ним.

Трифон привел его к монастырским конюхам. Все здесь напоминало людскую в Грешневе. Так же тесно и душно. В нос ударяли запахи пота, дегтя, кислого хлеба. Обитая мешковиной дверь то и дело открывалась, пропуская клубы холодного воздуха.

Сняв шапку, Трифон степенно поздоровался с сидящими за большим столом бородатыми людьми. Одни из них лениво жевали, другие негромко беседовали, а двое молодых людей, пристроившись на лавке, играли в карты, переговариваясь между собой:

– А туза, брат, не хочешь?

– Не страшен твой туз! У меня козырь!

– Что ж, давай присядем, Миколай Лексеич, – сказал Трифон, опускаясь на широкую скамью.

Коля сел рядом, исподлобья осматриваясь кругом.

– Это чей молодец-то? – спросил Трифона прислонившийся к печке какой-то лохматый человек в ситцевой рубашке с расстегнутым воротом.

– Грешневского помещика, господина Некрасова сынок, – неохотно ответил Трифон.

– Уж не того ли, что намедни в Тимохине на почте смотрителю зубы выбил? – продолжал лохматый. – Сказывают, страсть какой злющий!

– Тот или не тот, – недовольно проворчал Трифон, – наше дело кучерское. Запряг и поехал. Вот и вся недолга.

Облизав сухие губы, Трифон попросил:

– Угостите кваском, почтенные. В горле пересохло.

– Кваском? – засмеялся лохматый. – Да здесь друг, и простой воды напросишься. Такое уж у нас заведение. Но, между прочим, есть у нас небольшой запасец… Испей!

Лохматый вытащил из-под скамьи кувшин с квасом и наполнил глиняную кружку. Трифон залпом опорожнил ее.

– Хорош квасок! Благодарствую!

Обернувшись, он спросил:

– Может, и ты испробуешь, Миколай Лексеич?

Интересно, каков монастырский квас? «Господи, что за кислятина!» – сморщился Коля. Осенняя клюква в сравнении с этим квасом – чистый мед. Но он выпил все до дна – неудобно было оставлять квас в кружке. Скажут, зло оставил!

– Что, понравился? Добрый квасок? – лукаво подмигнул лохматый. – Вишь, как о нас отец-игумен заботится. Ну, да и мы в долгу не остаемся. Любого попа вокруг пальца обведем. Верно, ребята?

Трифон с укоризной закачал головой:

– Будет тебе смутьяничать-то. В святом месте и такие речи. Грех!

– Грех-то в орех, а ядро-то в рот, – не терялся лохматый. Правду баю. А бог правду любит. Могу и сказочку по сему делу рассказать. Как?

Сидящие вокруг стола люди весело зашумели:

– Давай, давай, сказывай, Гаврюха!

Лохматый ухмыльнулся и начал:

– В некоем царстве, в некотором государстве жил-был поп. Какой, спрашиваете? Обнакновенный. Долгогривый. Из жеребячьей породы.

Слушатели дружно захохотали. А Гаврюха рассказал о том, как один работник, по имени Иван, жадного попа провел. Коле тоже любопытно. Он смеялся вместе со всеми. Вот уж никак не ожидал, что в монастыре такие забавные люди живут. Ему думалось, что все здесь строгие, ходят, потупив глаза, да молитвы шепчут.

Клубы белого пара ворвались в помещение. Послышался чей-то голос:

– Не у вас ли тут мальчонка, с барыней приехамши? Ищут его.

Коля быстро вскочил с лавки.

– Иди, иди скорее к маменьке, – заторопился Трифон.

Встревоженная Елена Андреевна встретила сына упреком:

– Ну разве можно так? Ты очень напугал меня. Не знала, что и подумать.

– Мамочка, я ведь на минутку, – оправдывался Коля.

По монастырскому двору прокатился мощный удар большого колокола. Затем тонко забренчали маленькие колокольцы.

– К вечерне зовут… Пойдем! – Мать трижды перекрестила Колю.

В церкви пахло воском и ладаном. Приблизившись к большой, ярко освещенной иконе, мать поставила перед ней горящую свечу.

Началась служба. Елена Андреевна усердно клала поклоны, а Коля крестился лишь изредка, бросая взор то влево, то вправо. Мать опустилась на колени и потянула сына за собой. Но ему неприятен был холод каменного пола. Поглядывая под ноги, он увидел расколотую изразцовую плитку. Из щели несло сыростью и плесенью. «Наверное, там подземелье». Сердце его забилось учащенно.

– Мамочка, – зашептал он матери на ухо, – а внизу есть кто-нибудь?

– Где внизу?

– В подземелье, под нами?

Мать приложила палец к губам:

– Ш-ш-ш! В церкви нельзя разговаривать. Молись, молись!

А как тут молиться, когда кажется, что внизу кто-то стонет, просит о помощи.

– Мамочка!

– Молчи, милый, молчи!

После церковной службы мать повела Колю прикладываться к мощам. Но он не увидел никаких мощей – просто длинный ящик, покрытый узорчатыми тяжелыми тканями. Коля представлял себе все иначе: лежит старенький старичок с белой бородой, как на иконе, скрестил руки на груди. Все подходят к нему, а он совершает чудеса… И вот тебе на – ни старичка, ни чудес! Один только ящик…

Мать не захотела ночевать в монастыре. Отправились домой. Когда подъезжали к Грешневу, в окнах усадьбы горели огни. У крыльца встречала одна няня.

– Все ли благополучно? – беспокоилась мать.

– Все хорошо, матушка Елена Андреевна, – ответила няня, – в добром здравии детушки… А уж как я рада, что ты святому угоднику поклонилась. Не пропадет твоя молитва…

Няня склонилась к Елена Андреевне и с опаской шепнула:

– А сам-то гуляет. Опять к нему Тихменев заявился, смутьян

этот бесов.

Как ни пьян был Алексей Сергеевич, а из окна увидел приехавших.

– Так! Изволили вернуться, значит? – распахнул он дверь в комнату матери. – Со святым духом вас! Не желаете ли в нашу компанию?

– Благодарю вас! Уже поздно! – как можно спокойнее и мягче ответила Елена Андреевна. – К тому же, дорога утомила меня.

– Это как же понимать? – рассердился Алексей Сергеевич. – Брезгуешь нашим обществом? Не уважаешь моих гостей? – Он потянул жену за собой. Мать сопротивлялась слабо. Какие у нее, больной, силы! И в эту минуту произошло неожиданное. Коля бросился к матери и заслонил; ее от отца, как загораживал Кузяху от старосты.

– Папочка, не надо! Не обижайте маму! – дрожащим голосом упрашивал он.

Отец грубо оттолкнул его в сторону. Коля упал, ударившись головой об угол шкафа. От боли и обиды он горько зарыдал. Елена Андреевна с испугом бросилась к сыну.

А отец, покачиваясь, скрылся за дверью.

– Милый мой, хороший, дорогой! – горячо целуя сына, приговаривала мать. – Тебе больно? Очень больно?

– Нет, мамочка, – вытер слезы Коля, – просто я испугался.

И долго-долго сидели они, крепко обнявшись, с заплаканными лицами, обиженные и оскорбленные, мать и сын. А из гостиной, где шла попойка, доносились грубый смех, нестройное пение, грохот падающих стульев, звон посуды…

После мучительной бессонной ночи утром Елена Андреевна не смогла подняться с постели. К вечеру у нее начался бред. Алексей Сергеевич, почувствовав неладное, поскакал в город. Оттуда он привез лекаря, обрусевшего немца Германа Германовича, бритого и толстого старичка, с кожаным саквояжем в руке.

Лекарь осмотрел больную и приказал давать ей померанцевые капли, настой перечной мяты и трефоля. Стоя у дверей комнаты, в которой лежала больная мать, Коля слышал, как Герман Германович сказал:

– У больной есть нервный потрясений. Пожалуйста, давайте ей полный покой. Никакой волнений! Этот болезнь может иметь самый печальный оборот…

Двое суток была Елена Андреевна в полубеспамятстве. Наконец, утром третьего дня открыла глаза и попросила пить. Алексей Сергеевич почти неотлучно находился около ее постели. Впервые за последние годы он почувствовал жалость к жене,

гладил ее по растрепавшимся волосам, целовал худенькую руку.

А еще через несколько дней, сидя у постели жены, он с небывалой для него заботливостью спросил:

– Не хочешь ли ты о чем-нибудь попросить меня, душечка? Я все сделаю для тебя.

Помедлив, Елена Андреевна прошептала:

– Выдайте Дашу за Матвея.

– Ах, ты опять об этой девке, – помрачнел Алексей Сергеевич.

Но, вспомнив строгий наказ лекаря[1] заторопился:

– Ладно, ладно! Сделаю по-твоему. Сегодня же напишу попу. Пускай окрутит…

Когда Коля зашел проведать мать, он застал ее оживленной и бодрой. Она попросила позвать к ней няню.

– Вот, нянюшка, – встречая старушку, торжествующе сказала Елена Андреевна, – это судьба твоей внучки… Зовите на свадьбу! – И передала в трясущиеся руки няни развернутую записку. В ней было написано:

«Священнику Аббакумцевской церкви.

Отец Николай!

Прошу сочетать законным браком крестьянина моего Матвея с девкой Дарьей.

Помещик майор Некрасов».

Прижав записку к груди, няня с радостным плачем поспешила к внучке.

Коля заметил на глазах матери слезы и удивился: «Чего это она? Радоваться надо, а не плакать. Ведь все так хорошо закончилось!»

Первое стихотворение

Помню, я что-то посвятил
матери в день ее именин…

Из автобиографических
записей Н. Некрасова

«Нет, это все-таки интересно, – думал Коля, – что там рисует Андрюша?»

Няня уже дважды напоминала:

– Спать, спать пора, голуби!

Но Коле не до сна. Остается немного – всего пять-шесть букв. Зачем переносить на завтра то, что можно сделать сегодня, сейчас?

В углу, у маленького столика, поджав под себя ногу, удобно устроился Андрюша. Он усердно водил кисточкой по бумаге. Вдруг Коля услышал за спиной тихое сопенье и быстро, обеими руками закрыл лежавшую перед ним тетрадь.

– Не прячь, покажи, пожалуйста. Я никому ни слова, – вкрадчиво просил Андрюша, заложив руки за спину.

– Нет! Не сейчас!

– Ну и не надо, ну и не показывай! Если хочешь знать, мне это совсем даже неинтересно, – обиженный, брат направился на свое место.

Вот наконец дописана последняя буква. Коля аккуратно свернул тетрадь в трубку и, перевязав ее шелковой голубой лентой, спрятал в шкаф.

Вскоре поднялся со стула и Андрюша. В руках у него тоже ленточка, только другого цвета – пунцово-алая. И сверток его побольше, повнушительнее.

Забравшись в постель, Коля лежал с открытыми глазами. Он ждал Андрюшу. Но тот о чем-то долго разговаривал с няней в соседней комнате.

Внимание Коли невольно привлек доносившийся сквозь окно густой шум из сада. Это ветер гудел в вершинах старых лип. Но гудел он совсем не страшно, не так, как в долгие зимние ночи, – тихо, мягко, словно ласкался к кому-то.

Коля мечтательно закрыл глаза. Признаться, холода уже порядком надоели. Скорее бы лето… Незаметно он заснул.

Под утро ему приснился страшный сон. Коля падал с высокой-высокой горы. Как обвалившийся камень, он быстро катился вниз. Спирало дыхание, часто колотилось сердце. Вот уже

совсем близко земля. Еще немного – и ударится он о нее, разобьется вдребезги, даже косточек не останется. Секунда, другая, третья – Коля в отчаянии закричал и проснулся.

У постели стояла няня. Она заботливо укрывала мальчика одеялом, поправляла смятую подушку.

– Ах, нянюшка, я едва не разбился, – взволнованным шепотом рассказывал Коля. – Чуть не от самого неба падал. Ой, как жутко! Если бы ты только знала!..

Няня улыбнулась и мягким, певучим голосом объяснила:

– Это ты растешь, Николушка. В силу входишь. Да ты не пугайся, ведь понарошку падаешь. А ежели и в самом деле когда упадешь – не велика беда. Без этого, родимый, не вырастешь. Ты еще поспи. Рано проснулся. Я разбужу, придет время. – Она бесшумно закрыла за собой дверь.

Но Коле уже не хотелось спать. Он проворно спрыгнул с кровати, натянул штанишки и, шлепая просторными домашними туфлями, кинулся к умывальнику.

С улицы, сквозь полураскрытую форточку, долетел гортанный крик. Коля прислушался. Что это? Вернулись грачи? Не может быть! Вчера о них даже и помину не было. Еще полно кругом снега, и сугробы доходят до самых окон.

Но крик повторился – солидный, уверенный, звучный. Не выдержав, мальчик прямо с полотенцем в руках забрался на подоконник.

Так и есть! Грач! Белоносый и какой-то немного потрепанный, должно быть, не успел привести себя в порядок после долгой дороги.

Коле кажется, что этого грача он видел в прошлом году. Уж очень голос знакомый. Ну, конечно, тот самый!

Вдруг кто-то сильно дернул за конец спустившегося полотенца.

– Ой! – испуганно воскликнул Коля. Посмотрев вниз, он увидел Андрюшу.

– Ты зачем туда забрался? Вдруг папенька заметит?

– Ну и пусть, – спрыгнул Коля на пол. – Я на грача смотрел.

– На грача? На какого грача?

– Из далеких стран прилетел. На свое место вернулся. Прошлогодний. Я его сразу узнал, честное слово!

– Так уж и узнал, – усомнился Андрюша. – Они, грачи, все одинаковые.

– А вот и нет. Он особенный, горластый!

– Все они горластые!

Заслышав голоса детей, в комнате появилась няня. Она в новом сатиновом платье со светлым горошком, сияющая,

оживленная.

– Воркуете, голуби? Воркуйте, воркуйте. Есть о чем погуторить. Нынче у матушки вашей, Елены Андреевны, дай ей бог здоровья, день ангела. Чай, не забыли?

Смешная няня. Разве можно об этом забыть!

– Ну, одевайтесь быстрее, – торопила няня, – да и поздравлять пойдем, по всем честным правилам, как положено.

Няня ревностно осмотрела мальчиков с ног до головы, старательно причесала им волосы, одернула рубашки, поправила чулки.

– Вот и ладно, вот и хорошо! Вроде, никакого изъяну не видно. Сначала вы, а потом Лизонька с меньшими. Всем свой черед! – приговаривала она и, взяв мальчуганов за руки, повела к матери.

Мать сидела в своем любимом стареньком кресле, обитом желтой кожей. Она в длинном белом платье с широкими рукавами. Ее красивые русые волосы уложены в большой узел. На шее – крупные янтарные бусы, на руках – тонкие золотые браслеты.

Позади кресла – отец с нафабренными усами, в новом мундире без погон. Он держал правую руку на груди.

В комнате все как будто прежнее, и в то же время ощущалось что-то неуловимо новое, праздничное. Светлее обычного поблескивал рояль. Не так строго, как всегда, смотрели с портретов дед Сергей Алексеевич и прадед Алексей Яковлевич, о которых часто напоминал детям отец. А это что за прелесть! Букет алых живых роз! Коля и не знал, что их вчера совсем неожиданно прислал Петр Васильевич Катанин из своей оранжереи. Вот они-то, должно быть, да утреннее солнце, пробивающееся через серые шторы, и создавали эту праздничную обстановку в комнате.

Как старший, первым подошел к родителям Андрюша. Он шаркнул ногой и звучно поцеловал волосатую руку отца. Затем осторожно наклонился к нежно пахнущим худеньким рукам матери.

Настала очередь Коли. Забыв об отце, он бросился к матери на шею, осыпал ее поцелуями. На глазах Елены Андреевны слезы. Она горячо любит сыновей, оба они ей дороги, но к младшему у нее особое чувство. Он кажется ей чересчур бледным и хрупким, хотя болеет куда реже, чем Андрюша.

Но вот мальчики, точно по команде, отступили на шаг от кресла. Развязав бант, Андрюша развернул сверток.

– Дорогая маменька! – дрогнувшим голосом произнес он. – От всей души… от всей души поздравляю вас с днем ангела…

Андрюша хотел еще что-то сказать, но с ужасом почувствовал, что слова, которые он придумал и заучил вчера, сегодня куда-то исчезли. И он в смущении замолк.

– Ну-ка, посмотрим, что тут такое? – хрипло пробасил отец, протягивая руку к Андрюшиному листу. Мрачное лицо его вдруг оживилось. Он громко захохотал:

– Молодец, Андрей! Знай, брат, наших!

Что же так понравилось отцу? Колю разбирало любопытство. А отец, как бы угадывая его желание, повернул Андрюшин рисунок в сторону сыновей. Вот, значит, над чем трудился Андрюша! Ясно – это битва русских воинов с наполеоновскими солдатами. Слева, на первом плане, – сам фельдмаршал Кутузов на белой лошади, толстый, в фуражке без козырька, с красным околышем. И вся грудь его в сверкающих орденах и медалях. Лошадь Кутузова так велика, что фигурки убегающих врагов кажутся ничтожными козявками.

– Пришел Кутузов бить французов! – продолжал оживленно басить отец. – Ишь, как утекают! Ха-ха-ха! Хвалю, Андрей, хвалю. Должен из тебя отличный генерал выйти, даром что ты у меня такой квелый… Скажи, не так?

Неожиданный успех брата вдохновил Колю. Он уверенно расправил перед собой тетрадь и выразительно прочел:

Любезна маменька, примите
Сей слабый труд
И рассмотрите,
Годится ли куда-нибудь…

Стихи в тетради написаны крупными, довольно красивыми, хотя и не совсем ровными, буквами. Некоторые из них слегка падают набок, другие чуточку уходят вверх или спускаются вниз. А вокруг – венок из полевых цветов: васильков, ромашек, колокольчиков, лютиков. Чуть пониже венка – лира с изогнутыми, как лебединые шеи, завитками.

– Что за прелесть! – восторгалась мать. – Нет, вы только посмотрите, Алексей Сергеевич. Какой чудесный венок! И стихи, стихи.

Коля чувствовал себя на седьмом небе. На щеках его заиграл румянец, алый, как ленточка, которой Андрюша перевязывал свой сверток.

И вдруг, как гром среди ясного неба, раздался насмешливый голос отца:

– Ерунда! Вздор!

Он держал Колину тетрадь перед собой и ядовито кривил

губы.

Елена Андреевна резко повернулась назад и почти вырвала тетрадь из рук мужа.

– Зачем вы так, Алексей Сергеевич? Ну, зачем?

– Ерунда! Вздор! – не терпящим возражения тоном повторил отец. – Дурная забава! Не люблю стишков. Не вижу в них никакого проку.

– Что вы, что вы! Стихи – это прекрасно! Они облагораживают душу, – Елена Андреевна еще крепче прижимала сына к себе. – Если мальчику это нравится, пусть пишет…

– Чепуха! Дурь! – все более распаляясь, кричал отец, и левая щека его дернулась несколько раз подряд. – В нашем роду стихоплетов не было и не будет. Служить пойдет! Погоны наденет!

Елена Андреевна знала, что в таких случаях лучше всего молчать. Алексей Сергеевич не терпел никаких противоречий и, когда ему возражали, доходил до неистовства.

В зале сделалось тихо. Затем Елена Андреевна тронула мужа за руку и принужденно-веселым голосом сказала:

– Завтракать пора, завтракать! Ступайте-ка, дети, в столовую. А я вслед за вами с девочками приду.

Мальчуганы поспешили к двери. В коридоре Андрюша укоризненно проворчал:

– Видишь, к чему твои вирши привели! Ты бы хоть со мной посоветовался. Я бы подсказал тебе. Нарисовали бы вместе, как Суворов через Чертов мост переходит. Помнишь, в журнале было? И папенька бы остался доволен.

– Но ведь сегодня не его именины, – с горечью возразил Коля. – Не для него стихи, для маменьки. – И сквозь слезы у него с болью прорвалось: – А ведь я так старался, так старался! Если бы ты только знал.

– И медведь старается, да что получается? – пошутил Андрюша.

А в окна неудержимо лились потоки ослепительного солнечного света. Из старого парка отчетливо доносились ликующие грачиные крики. Теперь их многое множество, и нельзя уже отличить в этом торжественном хоре голос знакомого горластого грача, первым появившегося в Грешневе. И, прислушиваясь к этому весенне-праздничному шуму, Коля на минуту забыл о своем горе. Его неудержимо потянуло на улицу, в старый парк, к речке Самарке, на широкие просторы почерневших, дымящихся молочным маревом полей.

Аксай

Приучили его к верховой езде не особенно оригинально и не особенно нежно.

Из воспоминаний сестры Некрасова Анны Алексеевны

Зима не сдавалась. После наступившего было потепления опять возвратились холода. Несколько Раз принималась крутить вьюга.

Но, как бы там ни. было, к полудню снег начинал таять. Мартовское солнце чувствовалось даже сквозь густую завесу хмурых облаков. Медленно, но верно наступала капельница-весна.

Со дня матушкиных именин прошла неделя. Постепенно стали забываться тяжелые минуты, вызванные беспричинным гневом отца. Так бы, наверное, и совсем забылись, но о случившемся неожиданно напомнил сам отец.

Как-то после неудачной охоты при встрече с Еленой Андреевной он пробурчал:

– Стишки, стишки… Ерунда! Вздор! Пора Николку к делу приучать. Зверя в поле травить. Дам ему Аксая. Пускай верхом учится ездить. Скажи, не так?

Елена Андреевна замерла. Ей не раз доводилось слышать о дурном нраве молодого коня. Она испуганно вскинула на мужа светлые голубые глаза.

– Аксая? Ребенку? Да вы с ума сошли!

– Чепуха! Я в добром здравии, – угрюмо ответил Алексей Сергеевич, подергивая щекой. – Ничего с Николкой не случится. По себе знаю. В его годы я и не на таких рысаках скакал. А что касаемо Аксая, то конь как конь!..

Но уж если кто мог сказать подлинную правду об Аксае, так это конюх Трифон.

– И что это, прости господи, за окаянное отродье, – часто ворчал он. – Минуты не постоит спокойно. Ты к нему со всей душой, а он тебя за плечо норовит цапнуть. Дикой, одно слово – дикой.

Трифон давно уже пытался объездить Аксая, привести его, как он говорил, в «христианский вид». Молодому коню основательно попадало, кнут нередко гулял по его спине. Но когда Аксая начинали гонять вокруг столба на веревке, он

неистово бил копытами землю, вскидывал задом, валился на спину. Однако Трифон не отступался, и Аксай, по словам конюха, постепенно стал «входить в обличив».

– Ну что? Каков Аксай? – спросил как-то между делом Алексей Сергеевич.

Трифон глубокомысленно погладил себя по бороде:

– Ежели вообще, то конь подходящий. На ногу резвый, на нем хоть сейчас в Париж.

– Так! Говоришь, подходящий? – задумчиво переспросил Алексей Сергеевич. – Можно, значит, и под седло?

– Почему нельзя, все на свете можно, – дипломатично ответил Трифон, почесывая затылок. – Была бы ваша барская воля, а мы завсегда готовы служить…

И барская воля не замедлила последовать. Трифону приказано обучить молодого барина верховой езде, а потом передать ему Аксая.

Прежде чем допустить Колю к Аксаю, конюх выбрал смирного и послушного мерина Воронка. Он вывел его из стойла, набросил на спину седло, затянул подпруги и ласково потрепал по гриве:

– У-ух ты, бедовый!

Трифон явно льстил Воронку. Но тот, должно быть, не понял этого, понуро опустил голову и закрыл большие, слезящиеся глаза, словно собираясь заснуть.

– Ну ты, шалишь! – добродушно прикрикнул Трифон и потянул мерина вперед. Воронок лениво задвигал ногами, не поднимая головы и не открывая глаз.

Позади сада, там, где начинались заросли жидкого болотного кустарника, где густо лежал снег, Трифон остановился. До него долетел звонкий голос:

– Дядя Трифон, ты где?

– Вот он я! – откликнулся конюх.

Коля был в новом, отливавшем синевой тулупчике, в красивых узорчатых валенках, обшитых снизу кожей, в теплой барашковой шапке. Подбежав к Трифону, он в изумлении остановился:

– Почему Воронок? А где Аксай?

Конюх начал оправдываться:

– У Аксая нога малость сбита, припадает он чуток и вообще…

– Но Воронок мне не нравится. Сам видишь, он на ходу спит.

– Ну, это уж ты понапрасну, Миколай Лексеич! – заступился за мерина Трифон, поглаживая его между ушей. – За границей и то я таких рысаков не видывал. Только вот застоялся малость без дела. Так мы его мигом расшевелим.

Трифон дернул мерина за повод, прикрикнул на него, точно

на новобранца:

– Эх ты, непутевый! Гляди веселей. Выше голову, подтяни пузо!

Воронок тряхнул гривой, замахал хвостом и, открыв глаза, лениво посмотрел на окружающих его людей.

– Ага! – обрадовался Трифон. – Вишь ты, силу являет! – и, обращаясь к Коле, предложил:

– А ты теперича изволь садиться. Эту ногу сюда, таким вот манером, а другую – туда.

Это представилось Коле простым, пустяковым делом, и он попытался подняться на седло. Но не тут-то было. Будто тяжелые гири тянули его вниз.

– А ты смелее цепляйся, крепче, – мягко поучал Трифон. Но когда не получилось и во второй, и в третий раз, конюх сердито закричал: – Руками, руками хватай, что они у тебя, как грабли!

Коля ушам своим не верил. Никогда он не слышал от Трифона такого. Точно подменили его.

Наконец Коля в седле. Он гордо осматривался вокруг. Серой, выцветшей пеленой лежал снег. Где-то в саду стрекотала непоседа-сорока. Ей солидно вторила охрипшая галка, накликая непогоду.

Трифон гулко щелкнул Воронка ладонью по животу:

– Но, бедовый!

А Воронок даже не пошевельнулся. Голова его снова клонилась к земле, будто и не к нему обращался конюх.

Тогда Трифон вытянул из валенка витую плеть на коротком черенке и слегка хлестнул мерина по крутым бокам. Но тот, фыркнув, спокойно пожевал губами и не тронулся с места.

– Ах ты, шаромыжник! – рассердился конюх. – Долго я с тобой канителиться буду? Вот огрею как следует быть, оставишь свои купрызы.

Трифон изо всей силы ударил мерина плеткой. При других обстоятельствах Коля непременно пожалел бы лошадь, но теперь ему просто досадно и хочется снова заворчать на Трифона: почему он не оседлал Аксая?

Воронок махнул хвостом и неуверенно сделал два шага вперед. Плеть взвилась опять, и мерин на этот раз не отважился остановиться. Так дошел он до кустарника, с опаской кося глазом в сторону Трифона. Здесь протоптанная тропинка кончалась, и к большой досаде Коли, Воронок быстро засеменил назад, к конюшне.

Когда до нее оставалось несколько шагов, из-за угла вывернулся Кузяха.

– Ой, умора! Ой, забава! – потешался он, хлопая себя старыми

отцовскими рукавицами по бокам. – Ну и коняга! Мешок с костями, чучело огородное!

– Вот я тебе задам, – погрозил Кузяхе подоспевший Трифон. – Сам ты чучело. Конь вполне стоящий. Понимать надо.

Коле неловко перед Кузяхой, и он сердито крикнул на него:

– Ты чего уставился?… Только тебя здесь и не хватало. Пошел прочь!

Наклонившись всем туловищем вперед, он пытался достать рукой до Кузяхи. Но тот ловко отпрянул в сторону, а ездок, не умеющий твердо держаться в седле, медленно сполз в снег. Воронок быстро исчез в воротах конюшни. А Кузяха хохотал, низко приседая на корточки.

Коля быстро поднялся, молча стряхнул снег с тулупчика, щеки его разгорелись, губы прикушены.

– Я вот ему задам, – затряс Трифон плетью, угрожая то ли Воронку, то ли Кузяхе.

– Не замай! – сурово сказал Коля. Он произнес «не замай» так, как обычно произносят эти слова грешневские мужики – басовито, упрямо.

Трифон нерешительно опустил плеть к земле.

– Ин будь по-твоему. Не трону. Но отстегать его, шельму, следовало бы. Потому не каркай под руку. – Это уже адресовалось прямо Кузяхе. И он, чувствуя опасность, на всякий случай спрятался за угол конюшни. Пожалуй, не следовало бы так смеяться. Барич, наверно, думает, что это он над ним. Через минуту Кузяха высунул голову из-за угла. Трифон куда-то исчез, а Коля задумчиво стоял около того места, где он бесславно соскользнул наземь.

– Что, струхнул? – заботливо спросил Кузяха. – Чай, сердце в пятки? Эге!.. А я вот не боюсь.

Кузяха говорил это без всякого умысла. Правда, он всегда любил немного похвастаться, но сейчас сказал то, что давно всем известно. Однако Коле показалось, что его приятель опять начал подтрунивать над ним.

– Сам-то хорош! – вскипел он. – Так уж будто никогда и не брякался с лошади? Знаю, знаю. Падал! У тебя метина.

Кузяха невольно надвинул шапку на лоб. Ему не хотелось, чтобы виден был узкий рубчатый шрам – след его неудачной прошлогодней скачки в ночное.

Из-за поворота показался Трифон с понурым Воронком.

– Прочь, не надо! – запальчиво крикнул Коля. – Убери этот мешок с костями. Аксая давай! Сию минуту!

Конюх растерянно моргал красноватыми старческими глазами. Что делать? Как поступить? Вести Аксая? А вдруг

задурит? Выкинет какой-нибудь фортель, век помнить будешь. Но и не вывести нельзя. Обидится барич, чего доброго, еще отцу пожалуется. Правда, Трифон знает, что Коля не ябедник. А все-таки не простого он роду-звания.

Покряхтев, Трифон повернул обратно и вскоре вывел Аксая. Рыжий, красивый жеребец дико озирался. Белки его глаз были налиты кровью. Он звонко ржал, сердито грыз удила, стараясь выплюнуть их из наполненного пеной рта.

– Ну, балуй у меня! – прикрикнул Трифон, сдерживая коня и то и дело оглядываясь назад.

А Коля возбужден. Аксай не кажется ему страшным. Кузяха и не на таких скакал.

Больших трудов стоило Трифону усадить юного седока. Держа Аксая под уздцы, конюх осторожно вел его по снежной тропе.

Мало-помалу конь успокоился. Он уже не стремился куснуть седока за ногу, как пытался это сделать сначала. Трифон доволен. «Ишь, бестия, за ум взялся», – тихо ворчал он и уже не так крепко держал узду. Хитрый Аксай, почувствовав это, сильно брыкнул ногами. И Коля, подброшенный вверх, вылетел из седла прямо в сугроб. Не успел он прийти в себя, как услышал обидный Кузяхин смех:

– Раз! Кислый квас!

Ах, так! Ну, шалишь, дудки! Теперь Коля не отступит. Вскочив на ноги, он бросился к Аксаю, которого Трифон нещадно лупил плетью.

– Пусти, я сам, – приказал он конюху, когда тот снова усаживал его на спину коня. Трифон отступил в сторону, держа в руке самый кончик повода. Это только и нужно было Аксаю. Он поднялся на дыбы. И Коля опять в глубоком снегу. А Кузяха опять тут как тут:

– Два! На лугу трава!

Кинуться бы к Кузяхе, задать ему жару, чтобы не кричал под руку. Да не до этого. Некогда! Коля опять забирается на коварного коня. И вот уже Кузяха не успевает считать:

– Пять! Картошку копать!..

– Восемь! Сено косим!..

– Десять! Сено весить!..

Упасть десять раз за какие-нибудь четверть часа – не шутка. Трифон перепугался, у него руки тряслись. Как это только можно? Упрямый барчук совсем себя не жалеет. Того и гляди ногу вывихнет. Снег хоть и мягкий, но всякое бывает: падаешь на пух – ан камень.

– Для начала вроде бы и хватит, Миколай Лексеич, –

жалостливо уговаривал он барича.

– Еще разок, дядя Трифон, самый последний, – не сдавался Коля, ставя ногу в стремя.

И все повторилось сначала.

Даже Аксай, и тот в изумлении: что же это такое происходит? Он уже не так энергично прибегал к своим коварным приемам. Коля научился туго натягивать поводья. Удила больно рвали коню губы, когда он пытался брыкнуть задом или подняться на дыбы. Волей-неволей приходилось покоряться.

Кузяхе стало скучно. Счет дошел до семнадцати и кончился. Больше, пожалуй, ничего не случится.

А Коля уже гарцевал самостоятельно. Трифон стоял в стороне и довольно ухмылялся. Не зря говорят: смелость города берет. Укатали сивку крутые горки.

С видом победителя ехал Коля по кругу мимо высоких снежных сугробов с отчетливыми следами его неудач.

«А что, если проскакать вдоль деревенской улицы? – неожиданно пришла в голову льстившая его самолюбию мысль. – Тогда все увидят – и Савоська, и Мишутка, и Алеха».

Он уверенно направил коня в прогон, ведущий в деревню. Трифон что-то кричал вслед, махая плеткой. А Кузяха с гоготом устремился за своим другом, подпрыгивая и отчаянно размахивая рукавами драной материной шубейки.

В самом центре селения, около часовни, дорога разделилась надвое. Одна шла напрямик, к окраине, открывавшей путь на Ярославль, другая – влево, в сторону Волги.

Увидев впереди знакомых ребят, Коля приосанился. А те не замечали его, играя около огромной снежной бабы. Но когда Коля молодцевато проскакал мимо ребятишек, он услышал восхищенный голос:

– Да это же Николка-иголка! Вот здорово!

И вот в эту счастливую минуту Аксай бесславно подвел своего смелого седока. Конь поскользнулся. Ноги его беспомощно разъехались на ледяной дорожке, и Коля пулей вылетел из седла.

– Восемнадцать! – раздалось над самым его ухом. Опять этот Кузяха! И когда он только успел? Вот сейчас непременно еще добавит что-нибудь обидное.

Но Кузяха молчал. Он понимал, что дело тут серьезное.

А Коля чувствовал острую боль в ноге. Он с трудом встал на колени:

– Кузяха, руку!

Теперь ему не стыдно было просить о помощи: он не виноват, что упал. Кто же мог ожидать, что здесь так скользко.

Кузяха помог своему пострадавшему другу снова сесть в

седло. Аксай не сопротивлялся. Но едва всадник дернул за повод, как рыжий красавец сорвался с места и вихрем пронесся перед удивленными зрителями.

Большая дорога

Барский двор выходил на самую дорогу, и все, что по ней шло и ехало и было ведомо, начиная с почтовых троек и кончая арестованными, закованными в цепи, было постоянной пищей для нашего детского любопытства.

Из автобиографических записей Н. Некрасова

Весна промелькнула незаметно. Незаметно потому, что была она дружная, быстрая, полноводная. И еще потому, что Коля и Андрюша много занимались, готовясь осенью поступить в гимназию.

Мать вела уроки, как самая настоящая учительница. С необычной для нее строгостью она требовала, чтобы мальчики учились с должным прилежанием.

Признаться, иной раз очень скучно было Коле. Никаких тебе забав, никаких развлечений! Только однажды стал он невольным свидетелем необыкновенного приключения кота Васьки.

Около дома росли старые ветлы. С наступлением весны на одной из них начали строить гнездо грачи. Они таскали в клювах длинные гибкие прутики, старательно переплетали их между собой, укрепляя гнездо на дереве так, чтобы ни ветер, ни буря не могли его сорвать.

Как-то раз, когда птиц поблизости не было, на дерево полез, ловко цепляясь острыми когтями за ствол, Васька. Коля стал наблюдать за ним. Что ему нужно там, вверху? Неужели хочет сцапать грача?

А Васька уже подбирался к гнезду. Потрогав лапой еще не примятые клочки шерсти, которыми было старательно проложено дно, он преспокойно, как на лежанке, улегся спать.

Тихонько раскачивалась ветла, мелодично поскрипывала, будто колыбельную песенку пела. Сверху Ваську солнышко грело, с боков легкий ветерок обвевал, снизу лишь один пушистый хвост виден.

Коля посмеялся над выдумщиком Васькой и забыл о нем, низко склонившись над книгой. Как вдруг его внимание привлек тревожный шум над ветлами. Это вернулись хозяева гнезда.

Грачи покружились, покружились и улетели. Однако вскоре

они появились снова, но на этот раз с целой стаей своих пернатых друзей. Словно темная туча нависла над гнездом, такой начался крик – уши зажимай. А Васька лежит себе да лежит, только хвостом помахивает.

Тогда грачи перешли в наступление. Вот самый решительный из них спустился к гнезду и изо всей силы долбанул кота в хвост. Следующий удар был нанесен прямо в голову. Один за другим налетали грачи и стукали оторопевшего от неожиданности Ваську белыми острыми клювами по спине, по бокам – словом, куда попало.

Кот не выдержал этой грозной атаки, дико мяукнул и, как ошалелый, ринулся вниз.

Весело смеялся Коля над неудачником Васькой, грозил ему пальцем и приговаривал:

– Что, ловко тебя грачишки проучили! Попало? Вот то-то! Грачи – народ дружный…

С первыми июньскими днями занятия стали реже. Много свободного времени у Коли, не то, что зимой.

Сегодня выдался особенно жаркий день. Такого в этом году еще не было. Солнце так и печет. Коля и Андрюша отправились на Самарку. Как все изменилось с того дня, когда их напугал здесь волк. Там, где была ледяная гора, где белели непролазные сугробы, сейчас все цвело. Таинственно качали голубыми головками колокольчики, робко выглядывали из кустов зеленолистые ландыши, сыпала белыми лепестками бузина.

Из лесной чащи донесся звонкий голос кукушки. Ну как тут удержаться, как не спросить ее:

– Кукушка, кукушка, сколько мне лет жить?

Она считает, считает без конца. Спасибо, кукушечка! Жаль только, что скоро кончится твое кукование. Вот заколосится рожь – и конец. Не услышишь кукушку. Говорят, что она ржаным зерном давится. И няня это подтверждает.

Около речки звенели детские веселые голоса. Слышался задорный крик Кузяхи:

– Эй, глядите! Ныряю!

Кузяха умеет нырять, как никто. В воде он, как рыба: нырнет в одном месте, а покажется там, где его и не ждали.

Пока Коля с Андрюшей спускались по откосу, Кузяхи все еще не было видно.

– Эх, ловок, бродяжка! – восхищался Савоська, барахтаясь в теплой воде. – Ну, прямо – лягуха! Ишь, ишь, пузыри пущает. Потеха!

И действительно, на том месте, где скрылся Кузяха, всплывали мелкие, как горох, пузыри. Но вот они исчезли. А

Кузяхи все нет. «И чего он так долго? – забеспокоился Коля. – Неужели ему так приятно под водой?»

– Братцы, а вдруг он захлебнулся? – с тревогой спросил Мишутка Гогуля, валявшийся на горячем песке.

– Это Кузяха-то? Плохо ты его знаешь. Разве он когда захлебнется! – ответил Савоська, хотя, видно, и в его сердце начинало закрадываться сомнение.

В эту минуту на поверхности воды показалась нога с черной пяткой.

– Вот он! Вот! Молодчага! – восторженно орал Савоська. – Вылезай, хватит!

Но странное дело: черная пятка, беспомощно дернувшись над водой, опять исчезла. Видать, попал в беду Кузяха. Надо выручать. Раздумывать некогда! На ходу сбросив с себя одежду, Коля кинулся в воду и поплыл к тому месту, где только что мелькнула нога с черной пяткой. Нырнуть на дно нетрудно. Одно мгновение, и Коля нащупал под водой голое тело. Он ухватил Кузяхину ногу, потянул вверх. Но тело не поддается: кто-то держит его крепко-накрепко. Страшно: а вдруг это водяной?… Но еще сильнее страх за Кузяху. С лихорадочной поспешностью ощупывал Коля тело. У самой шеи – туго натянутый шнурок. Это – гайтан. На нем носят медный нательный крестик. Видно, Кузяха зацепился за что-то. Так и есть. Под рукой сучковатая коряга. Коля отцепил шнурок и вытащил Кузяху на поверхность воды. На помощь спешил Савоська. Они вместе выволокли бесчувственного дружка на берег. Неизвестно откуда вывернувшаяся Кланька всплеснула руками и истошно заголосила:

– Ой, батюшки! Ой, милые! Утопленный!

На обрыве появился Трифон. Он косил неподалеку траву и приковылял сюда, услышав тревожный детский гам.

– Вы чего тут распищались, пострелята?

– Ой, утоплый! Ой, горюшко! – навзрыд плакала Кланька.

Не по годам быстро Трифон скользнул вниз.

– Качать!.. – скомандовал он. – А ну, которые подюже, бери за ноги!

Чуть не все оказались дюжими. Каждый стремился ухватить Кузяху за ногу.

– Э! Так, ничего не выйдет! – с досадой проворчал Трифон. – Двоих хватит.

Около Кузяхи остались только Коля и Савоська. Трифон подхватил утопленника под мышки, мальчуганы держали за ноги.

– Господи благослови, начали! – крикнул Трифон, тряхнув бородой. – Качай! Раз-два, раз-два!

И Кузяхино тело раскачивалось, как маятник: вправо – влево,

вправо – влево.

Все силы напрягал Коля, стараясь двигать руками в такт команде. Со страхом глядел он на посиневшее и странно изменившееся лицо Кузяхи. Вдруг изо рта утонувшего потекла вода. Она шла сначала тонкой, как нитка, струйкой, потом все убыстрялась и, наконец, хлынула настоящим потоком. Медленно открыв глаза, Кузяха надрывно закашлялся.

– Живехонек! – радостно вырвалось у Трифона. – А ну, обратно качнем! Раз-два, раз-два!

Кузяху мотнули еще несколько раз и опустили на землю. Коля вытер ладонью вспотевший лоб. Как хорошо, что жив Кузяха! Жив! Жив! Старательно мял ему Трифон живот, а Кузяха то и дело отплевывался.

– Давай-давай! Освобождайся от дряни-пакости, – ласково приговаривал Трифон. Он посадил Кузяху на песок и одобрительно загудел:

– Ай да ребятишки! Душу человеческую спасли! Не дали на тот свет преставиться… Это кто же его из воды выволок?

– Известно кто – Колюшка баринов! – выпалил за всех Савоська.

Трифон с уважением глянул на Колю.

– Молодец! – сказал он. – Выходит, и на сей раз не испужался: что на коне, что в воде.

Затем Трифон склонился к воде, долго и жадно пил.

– Теперича одевайся – и марш домой, – вытерев подбородок, строго сказал он Кузяхе. – Будет тебе от тятьки знатная порка. Это уж как быть положено.

Трифон опять посмотрел на Колю:

– За такое дело к награде, Миколай Лексеич, представляют. Будь я генерал, сам бы медаль тебе на грудь повесил.

– Что вы, дядя Трифон, какая там награда, – смутился Коля, – а вот корягу бы из речки вытащить. Не то опять кто-нибудь зацепится…

Дома Андрюшка со всеми подробностями рассказал няне о событии на Самарке. Та, как всегда, ахала и качала седой головой.

– Это, беспременно, водяной над ним подшутил, – крестилась няня. – Хотел в свое царство мальчишку заполучить.

– А водяной боится креста, нянюшка? – неожиданно спросил Коля.

– Еще бы нечистой силе креста не бояться, – ответила няня, – как от огня, шарахается.

– Как же так? Кузяха с крестом был…

– Видать, не заметил водяной святого креста. Всяко бывает, –

неуверенно сказала няня.

После обеда мальчики опять на улице. Нынче им раздолье. Отец в Ярославле.

Коле особенно нравилась большая дорога, протянувшаяся через все Грешнево. Здесь всегда шумно и весело.

Собственно, на самой дороге делать нечего. Еще угодишь, пожалуй, под копыта какой-нибудь лихой тройки.

У ребят есть свое излюбленное местечко – чуть в стороне от дороги, под густыми старыми вязами, возле заросшего лягушиной травой пруда.

Едва освободившись от бесконечных, утомительных дел по хозяйству (тут тебе и кур накорми, и в избе подмети, и хворосту натаскай, и картошки свари – ведь все взрослые на барщине), Кузяха, Мишутка, Савоська и другие друзья-приятели спешили к вязам. Иногда здесь бывал и Митька, хотя отец постоянно ругал его:

– Я у тебя кто? Староста! Бурмистр! Барину рука правая! А ты со всякой голытьбой возжаешься.

– Да-а, – плаксиво тянул Митька, – баринову Кольке можно, а мне нельзя.

– Это что за Колька? – сердито бурчал Ераст. – Чтобы я больше такого не слышал. Зови как полагается – барином!

Митька удивленно таращил глаза:

– Барин? Он со всеми мальчишками играет. Они завсегда его Колькой кличут…

Жарко. На небе ни облачка. Утомленно дремали старые вязы. В тени прятались собаки, куры и гуси. Беломордая корова забралась по самый живот в пруд и, опустив голову, хлестала себя хвостом по бокам, отбиваясь от слепней и мух.

Прислонясь к вязу, на траве сидел Кузяха. Лицо у него бледное, отекшее. Шутка ли, едва на тот свет не отправился. Он сосредоточенно строгал что-то кривым ножом.

– Для тебя мастерю, – сказал он подошедшему к нему Коле. – Тятька сказал, что теперича я по гроб жизни перед тобой в долгу… Змея делаю.

– Змея?

– Ну да. Важная будет штука.

– И полетит?

– Еще как. До самого солнышка… Только вот ниток у меня мало.

– Ниток я достану, – успокоил Коля, – целый клубок. Хватит?

– Угу! – мотнул головой Кузяха…

– Сыграем, что ли, в шарик? – предложил Мишутка, засучивая рукава. – Побегаем?

«Вот тоже выдумал! В такую жару да бегать. В тени сидишь, и то язык высуня», – подумал Коля.

– Лучше в бабки! – лениво отозвался Савоська.

Это другое дело. От бабок зачем отказываться… И игра началась. «Жох! Лока!» – слышалось со всех сторон. Звонко щелкали кости, дзенькала свинчатка.

В самый разгар игры с большой дороги завернул к ребятам плотный, невысокий человек с густыми, слегка подкрученными кверху усами. В руке у него деревянный сундучок, окрашенный в голубую краску (точь-в-точь как Колины санки), с плеча свешивалась потрепанная, туго набитая холщовая сумка.

– Здравия желаю! Нельзя ли до вашего краю, а гложет, и до раю, пока не знаю, – весело затараторил прохожий, ставя сундучок на землю. Он снял картуз, обнажив безволосую голову, круглую, как шар, и забавно представился: – Будем знакомы: Осип! Ни пить, ни есть не просит, все с собой носит.

Затем он уселся на траву, вытащил из сумки ковригу черного хлеба, пучок зеленого лука, сухую воблу и бутылку с квасом, разложил все это на крышке сундучка, смахнув с нее белой тряпочкой пыль.

– Прошу к нашему шалашу!

Ребята растерялись. Как ни заманчива вяленая вобла, да ведь одной такой ораву не накормишь. Пусть уж незнакомец сам ест. Им даже ни капельки не завидно.

– А вы откуда, дядя? Куда направляетесь? – выступил вперед Коля.

– Э-э, браток, да ты белой кожи, на барчонка схожий, – заметил незнакомец. – Аль не угадал?

– Верно. Он у нас барин! – вмешался Митька.

– А тебя спрашивают? – сердито оборвал его Кузяха. – Тянут тебя за язык-то? Он наш, дядя, грешневский.

– А по мне все равно: что овин, что гумно, – продолжал прохожий. – Мужик или барин, русский или татарин. Все человеки, все люди… Так-то, приятель дорогой! Да ты садись, не стой. В ногах правды нет.

Коля улыбнулся. Вот забавный человек! В карман за словом не лезет. Так складно говорит, словно книжку читает.

Мальчуганы расселись вокруг прохожего. А он с треском разламывал воблу, выбирал сухую, твердую, как камень, икру и кусочками бросал ее в свой широкий зубастый рот.

– Все ладно, одно нескладно, – вздохнул он, уморительно морща лицо, – нету винца для доброго молодца. Да в жаркий часок хорош и квасок – ну-ка, глотнем разок.

Приложив бутылку к губам, он долго и аппетитно тянул

мутновато-желтую жидкость, крякал, вытирал рот рукавом и, ухмыльнувшись, заключил:

– Сыт пока, набил бока. Сыт покуда, съел полпуда.

Новый знакомый лег на спину, сунул под голову сумку. Блаженно вытянувшись во весь рост, он сладко зевнул. Ребята думали, что вслед за этим последует, как обычно, мощный, залихватский храп. Но прохожий и не думал спать. Вот он приподнялся на локоть и лукаво посмотрел на ребят:

– Что? Небось смеетесь надо мной, разбойники? Вот, дескать, какой чудак объявился. Болтает незнамо что. А я, ребятишки, ой как много на своем веку повидал! Куда только меня судьба не заносила! Иду вот теперь из славного города Киева, из хлебородной матушки Малороссии.

Екнуло сердце у Коли. Как? Прохожий из того края, о котором так часто и так хорошо рассказывала мать?

– Знаете, дядя, я тоже там был, – невольно вырвалось у него.

Друзья-приятели глянули на него удивленно и с недоверием.

– Что ж, все может быть, все может быть, – согласился прохожий, – пешочком или как?

Коле почудилась в этих словах насмешка.

– В самом деле был, – стал горячо убеждать он. – Я там родился. Меня привезли сюда маленьким.

– Ах, так! Очень приятно!

Прохожий разбросал руки по сторонам и мечтательно воскликнул:

– Эх-ма, велика наша землица родная! Конца-краю ей нет. Год иди – не пройдешь, два иди – еще много останется, всю жизнь шагай – все равно ее не измеришь.

Затаив дыхание, слушали ребята, восторгом и завистью горели их глаза.

– И куда меня только резвые ножки не доводили, – не то радуясь, не то сожалея, снова заговорил прохожий, – по каким краям-дорогам я пыль не месил! В Астрахани был? Был. В Царицын наведывался? Наведывался. В Самаре-городе работал? Работал. В Нижнем Новгороде кули на пристани таскал? Таскал. Казань мне знакома? Знакома. А уж про Москву белокаменную да про Питер-град и говорить нечего. Бывал там, перебывал. И сладкого, и горького хлебал. Всяко случалось.

Пододвинув поближе сундучок, прохожий щелкнул ключом, приподнял крышку и похвалился:

– Глядите, пострелята, какое у меня богатство. Нигде с ним не пропаду.

Теснясь и толкая друг друга, ребята заглядывали внутрь сундучка.

– Эх, штучки знатные! – щелкнул языком Кузяха.

Сундучок был доверху наполнен блестящими, без единого ржавого пятнышка подпилками, ножами, стамесками, долотами и другими вещами, назначение которых неясно и таинственно. Что, например, за чудо такое вот эта тоненькая, как змейка, железка? Коля уважительно тронул ее пальцем.

– Бурав! – пояснил прохожий, поглаживая змейку большой мозолистой ладонью. – Покрутишь вот этаким манером – и дыра в доске готова.

– Ловко! – восхитился Савоська. – Так бы и покрутил.

– Успеешь, покрутишь, когда вырастешь. Еще надоест! – добродушно улыбнулся прохожий, захлопывая крышку сундука. – Дай срок, всему, мальцы, научитесь. Тогда уж и меня, грешным делом помянете. Жил-де такой-сякой, немазаный Осип, по прозвищу Бывалый. Костромской работный человек. Из села Красного.

Осип подложил под щеку ладонь, закрыл глаза и вскоре захрапел. А что оставалось делать ребятам? Тихонько, чтобы не потревожить спящего, отошли они в сторону.

Лишь Митька не стронулся с места. Он осторожно щупал голубой сундучок. Замок не заперт. Ну как тут не приподнять крышку! Змейка-бурав заманчиво лежит на самом верху.

– Не тронь! – погрозил ему кулаком Кузяха.

Но к Митьке уже приближались Савоська и Мишутка. Не выдержал и Коля. Всем хочется хорошенько рассмотреть стальную змейку. Велик соблазн. Конечно, нехорошо, что Митька открыл чужой сундучок, но он ничего не утащит. Ребята ему не позволят. А змейка – штука занятная.

Митька вытащил бурав из сундучка, поставил на сосновый пень, попробовал крутить. Ишь ты, получается! Шурша и посвистывая, как настоящая змейка, бурав уходил в дерево, выбрасывая наружу мелкие опилки. Но вот змейка остановилась. Напрасно напрягал руку Митька. Бурав не хочет слушаться, капризничает. Митька потянул змейку вверх, раскачивая вправо и влево.

– Дай-кась мне крутануть! – оттолкнул Митьку плечом Кузяха.

– Пусти, я сам! – отбивался Митька, и что есть силы нагнул бурав в сторону. Дзинь! Трах! Переломилась змейка. Один ее конец остался в дереве, другой упал на траву.

Митька перепугался. С минуту он молча глядел на изломанный бурав, а затем побежал к своей избе, воровато оглядываясь.

Кузяха попытался было вытащить оставшийся в Дереве

стальной кусочек, но бесполезно! Бурав засел плотно, как забитый гвоздь.

Осип громко чихнул. Это муха, будь она неладна, забралась к нему в волосатую ноздрю. Словно стая спугнутых воробьев, разлетелись ребята по сторонам. Неровен час, попадет от прохожего. Вот ведь что вышло: Митька набедокурил, а они отвечай.

А Осип, повернувшись на другой бок, так храпел, что листья колыхались на нижних ветвях вяза, в тени которого лежал веселый прохожий.

Когда Коля и Андрюша явились домой, мать встретила их встревоженно:

– Отец уже дома, – шептала она, – я так боялась, что он увидит вас в деревне.

Отец, конечно, заметил бы их, если бы возвращался домой обычной дорогой. Но он завернул по пути к Тихменеву и въехал с ним с другого конца села. Теперь он сидел со своим приятелем за столом, уставленным бутылками и закусками.

До Коли отчетливо доносился пьяный голос Тихменева:

– Он бежать – они за ним! Он остановится – и они встанут. А тут, понимаешь, эта глупая баба. Всю музыку испортила, проклятая!

– Нашел, чем похваляться, басурман! – возмутилась няня. – Ведь чуть душеньку детскую не загубил, изверг!

– О ком ты это, нянюшка? – спросил Коля.

– Известно, о ком, – хмуря брови, ответила няня, – о Тихменеве-барине, ни дна ему, ни покрышки.

И она поведала Коле страшную историю. Несколько дней назад Тихменев заметил, что у одной собаки подбит глаз. Он разгневался, вызвал доезжачего:

– Кто изувечил Налета?

– Петька! Камнем случайно зашиб!

Призвали виновника – дворового мальчугана Петьку.

– Ты подбил?

От испуга у мальчика язык отнялся. Ни слова не мог сказать в свое оправдание.

Наутро собрался Тихменев в поле. Велел и Петьку с собой взять. Посредине поля приказал он раздеть мальчугана догола. А когда раздели, крикнул:

– Беги!

Петька побежал что есть духу к дому.

– Спускай борзых! – скомандовал псарям Тихменев.

Собаки с диким лаем бросились за убегающим. Но голодные и злые псы куда лучше своего хозяина оказались. Они догнали

Петьку, спокойно обнюхали его и легли на землю.

Подскакал разъяренный Тихменев, замахал плеткой, закричал:

– Беги!

Петька опять кинулся к деревне. Собаки за ним. Догнали – и снова не трогают.

Тут откуда ни возьмись, Петькина мать. С плачем добежала она до сына, окруженного собаками, закрыла его своим телом. А к вечеру несчастная женщина лишилась рассудка. Бегала по деревне и истошно голосила:

– Миленькие! Спасите! Сыночек погибает!..

С содроганием слушал Коля нянин печальный рассказ. Бедный Петька! Несчастная женщина, сошедшая с ума! На самого бы Тихменева собак напустить. Верно про него няня говорит: изверг!

…К концу дня погода неожиданно испортилась: резко похолодало, небо потемнело. Из низких, быстро несущихся туч полил мелкий надсадный дождь. Совсем как осенью.

– Теперь на целую неделю зарядил, – сказала няня, – то-то у меня с ночи поясница ныла.

Набросив на себя пальто, Елена Андреевна вышла на балкон. Рядом с ней Коля. Молча облокотились они на перила и глядели сверху на протянувшуюся вдоль забора дорогу. Сыро, грязно, холодно, а люди идут и идут. С лопатами за плечами, гуськом, скользят по глинистой почве копатели канав. Прикрывшись рваной рогожей, с сучковатым подожком в руке плелся древний нищий старик по прозвищу Ваня Младенец. Вот он остановился около помещичьего дома, глянул на окна, хотел, видимо, свернуть к воротам, но, безнадежно махнув рукой, пошел дальше.

Торопливо пробежал в сторону псарни староста Ераст в высоких кожаных сапогах.

Некоторое время дорога была пуста.

– Не пора ли нам спать, мой мальчик? – заботливо спросила мать. Она поцеловала сына в лоб и, обняв за шею, медленно направилась с ним к двери. Но в это время из деревни донесся глухой звон железа. Нет, это не из кузницы: она в другой стороне. Этот звон возник где-то около избы Ераста.

– Несчастненьких гонят! – с дрожью в голосе произнесла мать.

Коля обернулся. Из-за угла, со стороны деревни, показалась нестройная толпа людей. Впереди ехал на пегой грязноватой лошади толстый, с громадными усами человек в шинели. Вокруг толпы, покачиваясь, блестели острые штыки.

Люди в толпе казались похожими один на другого: серые

халаты и такого же цвета широкие штаны, лапти, опорки, разбитые сапоги. И у всех на ногах – кандалы.

Вот произошло какое-то замешательство. Кто-то упал на сырую землю. Люди в кандалах расступились, и Коля увидел лежавшего посредине дороги бледного человека с впалыми щеками. Он пытался приподняться, но голова его беспомощно падала на землю.

К упавшему приблизился толстый усатый человек на пегой лошади.

– Встать! – грозно крикнул он.

Но бледный человек недвижно лежал на дороге. Усатый наклонился с лошади и с силой начал хлестать упавшего по спине.

Крупные слезы покатились по щекам Коли.

– Уйдем поскорее отсюда, мой мальчик! – почти простонала мать. – Мы ведь ничем не можем им помочь. Ничем! Бедные, несчастные люди!..

Глухо звенели кандалы, уныло свистел ветер, монотонно стучал дождь по ржавой крыше дома.

– За что он его, мамочка, за что? – испуганно спрашивал Коля.

– Не знаю, мой милый. Вот вырастешь – сам все узнаешь! – тихо, словно боясь кого-то, ответила мать.

Добрые разбойники

Что я в ту пору замышлял.
Созвав товарищей-детей,
Какие клятвы я давал -
Пускай умрет в душе моей…

Н. Некрасов. «На Волге»

Летом ночей почти не бывает. Не успеет стемнеть, как на востоке уже рдеет рассвет.

– Зорька зорьку догоняет, – говорила няня. – Благодать-то какая!

Коля лег в постель засветло, так и не дождавшись настоящей ночи. Проснулся, когда в окна пробивались первые лучи солнца. В саду отчаянно насвистывали соловьи. Огромная зеленая муха билась о стекло.

«Проспал, – шептал он, – ей-богу, проспал! Кузяха с Савоськой давно ждут. Вчера договорились отправиться чуть свет за Волгу».

Коля прыгнул с постели на пол, мигом натянул на себя рубашку. Умываться некогда.

Где же завтрак? Няня обещала приготовить с вечера. Ага, вот он! Аккуратно завернут в салфетку и перевязан шнурком. Вкусно пахнет пирожками, мясом, жареным луком. Сверток большой: хватит и Кузяхе с Савоськой.

Коля прыгнул через раскрытое окно в сад. Кусты акации обрызгали его прохладными капельками росы. Из-под ног ошалело выскочила мокрая лягушка.

Кузяха и Савоська должны ждать, как условились, по ту сторону сада, около старых вязов. Но друзей-приятелей на том месте не было. Усевшись на березовый пень, стал ждать. Томительно тянулись минуты. Солнце поднималось все выше. Из деревни донеслись протяжные звуки рожка, гулко хлопнул кнут. Это пастух Селифонт собирал стадо. Маленький подпасок Алеха тоненько покрикивал на коров:

– Куда? Куда полезли?

До чего же славно играет Селифонт! Заслушаешься его. Будто живая, выговаривает дудка:

Вставай, девки, вставай, бабы,
Вставай, малые ребята.
Выгоняйте вы скотину

На широкую долину.

Но где же все-таки Кузяха с Савоськой! Неужели уже на Волге? Не дождались? Одни убежали? Разве так поступают закадычные дружки?

А вдруг они еще спят? Вот услышат сейчас, как Селифонт кнутом хлопает, проснутся и прибегут, словно встрепанные.

Но стадо уже за околицей, а по-прежнему никого нет. Значит, ушли. Теперь их и не догнать.

И Коля один отправился в путь. Хорошо шагать по луговой дорожке, по душистой траве-мураве. Миновал овраг. Тропинка ползла через холм. Отсюда, с вершины, открывался чудесный вид на Волгу: величаво и светло текла она, ни одной волны-морщинки не было на ней сейчас.

Вдали виднелись белые стены Бабайского монастыря, окруженные песками и низкорослым гибким ивняком. И опять вспомнилось мрачное подземелье, в котором судили несчастную девушку…

Коля сбежал с холма к Волге, и вот он на песчаном берегу. Низко носились над водой белые чайки-рыбалки. Где-то пронзительно пищали луговки:

– Пи-и-ть, пи-и-ть!..

Сбросив рубашку и штаны, не задумываясь, со всего размаха Коля кинулся в Волгу. Кузяха всегда твердит: «Сразу окунайся, не тяни!» Если постепенно в реку входить – надрожишься.

Накупавшись всласть, Коля с наслаждением лежал на сухом песке под лучами горячего солнца. Где-то позади зазвенел жаворонок. Трепеща крылышками, он утонул в голубой дымке неба.

А все-таки без Кузяхи и Савоськи скучно. Разве с кручи прыгнуть? Но одному не хочется. Никто и не увидит, как он здорово прыгает.

Разве к ласточкам-береговушкам вскарабкаться? Нет, он их не тронет, просто послушает, как в глубине песчаных гнезд птенчики пищат.

Но что это? От Диева-Городища по берегу шли какие-то люди. Не там ли и Кузяха с Савоськой? Может, ищут его?

Подпрыгивая, Коля побежал навстречу незнакомым людям. Он напевал во весь голос любимую песенку матери:

Во поле березонька стояла,
Во поле кудрявая стояла…

Мать иной раз поет ее очень весело, а иногда с грустью. Непонятно только, чего тут грустного? Под такую песенку плясать хочется.

Ну-ка, балалайка, заиграй-ка.
Ну-ка, балалайка, заиграй-ка!

Славно жить на белом свете! Светит яркое солнышко, зеленеет густая трава, хорошо пахнут цветы, ласково подкатывает к ногам прибрежная волна. И такая тишина вокруг…

Вдруг в воздухе раздался протяжный, тоскливый звук. Вот он повторился – будто кто стонет, жалуется. Нет, это не луговка. Видено, какая-то другая птица. Коля никогда еще такой не слыхивал.

Чем ближе до идущих вдоль берега людей, тем сильнее и чаще повторялся неведомый звук. Вот и они. Впереди шагал широкоплечий с всклокоченной бородой человек лет пятидесяти. За ним двигались помоложе: оборванные, босые, низко наклонившие головы. Они тянули за собой на толстой бечеве тяжело сидевшее в воде судно. Захлестнутые на груди лямки лоснились на солнце, будто смазанные маслом. Люди ступали вперед только правой ногой – левую тащили за собой, словно к ней была привязана многопудовая гиря. Беспомощно болтались, будто неживые, опущенные до земли руки.

Со страхом глядел Коля на этих усталых, с трудом переводящих дыхание людей. Кто они? Один очень похож на Степана Петрова. Такие же русые волосы и белый открытый лоб. Только Степан повыше и нос у него без горбинки.

Незнакомцы шли, сосредоточенно опустив глаза, не замечая присоединившегося к ним мальчугана. А шагавший впереди человек с всклокоченной бородой, едва шевеля запекшимися губами, уныло выкрикивал:

– Еще разок! Маленький разок!

Остальные отвечали протяжным, воющим стоном:

– Эх да ух! Эх да ух!

Вот судно задержалось на мели. Люди приостановились.

– Эй, чего там встали? – раздался сердитый голос с палубы судна. – Тяни!

Напрягая все свои силы, люди упирались ногами в горячий песок.

– Тяни! Тяни! – настойчиво и зло требовал сердитый голос.

– Ой, нейдет! Ой, нейдет! – устало запел человек с всклокоченной бородой.

– Эх, пошли, да эх, пошли! – вторили остальные.

Лениво заскрипев, судно опять поплыло по воде. Похожий на Степана человек, поправив на ходу лямку, негромко и жалобно затянул:

Ах, матушка Волга,
Широка и долга,
Укачала, уваляла,
У нас силушки не стало…

Долго бежал Коля берегом реки. Смутная глухая тревога с неудержимой силой влекла его все вперед и вперед.

С палубы снова долетел сердитый голос:

– Стой! Бросай бечеву!

Облегченно вздохнули люди, враз подняли над головой лямки и бросили их на землю. На барже с грохотом и лязгом полетел в воду якорь. Как скошенная трава, свалились люди на землю, шумно дыша широко раскрытыми ртами.

Первым поднялся человек с всклокоченной бородой. Он ползком добрался до воды и стал жадно пить, всхлипывая и захлебываясь. Казалось, никогда он не утолит жажды. Самым последним дотянулся до воды худой сутулый человек с синеватым, как у мертвеца, лицом. С болезненным стоном окунул он голову в реку и так долго не поднимал ее, что Коля испугался – не захлебнулся бы!

Но худой человек, встряхнув мокрой головой, откинул ее назад и долго вдыхал идущую с реки едва ощутимую прохладу. Потом он попытался вернуться на прежнее место, уперся дрожащими руками в раскаленный песок.

– Что, плохо твое дело? – сочувственно спросил его молодой парень в рваной жилетке. – Ну-кась, я помогу.

Подхватив больного под мышки, парень осторожно оттащил его в тень одиноко стоявшего на берегу дерева.

– Вот спасибо, милок, – шептал худой человек, укладываясь на траву. – Плечо, браток, саднит. Дюже натер. Словно кипятком ошпарило. Эвон, глянь!

Он обнажил костлявое плечо. Коля увидел сгустки черной, запекшейся крови и испуганно вскрикнул. А больной человек перевел на него свои усталые глаза.

– Не бойся, малый, – прохрипел он, – на живом теле все зарастет. А помру – лучше будет. Ни печали тебе, ни воздыхания.

В спасительную тень, поближе к дереву, стягивались и остальные. Они бросали равнодушный взгляд на неизвестно откуда появившегося мальчугана. Притащили большой закопченный котел. Кто-то принес охапку сухих сучьев. Затрещал

костер.

– Эх, теперь бы щец с баранинкой, – вздохнул похожий на Степана человек, засыпая в котел сухой, словно каменный, горох.

– А мне так и на дух не надо, – тоскливо отозвался больной. – Токмо бы плечо не ныло. Свет божий не мил.

– Потерпи, дружок, малость. Вот доберемся до Нижнего – сдадим тебя в больницу. Там быстро поправишься! – успокаивал его парень в жилетке.

– Э-э! Какая там больница! – безнадежно махнул рукой худой человек. – Помереть бы скорее! Вон мне уже и крест припасен.

Больной умолк и уткнулся лицом в траву.

Коля невольно бросил взгляд на баржу и вздрогнул: на корме, около руля, виднелся грубо обтесанный кладбищенский крест… Какое ужасное желание: «Помереть бы скорее!» Почему? Зачем? Разве плохо жить на свете? Вот стремительно, с радостным писком летают ласточки, спокойно несет свои темно-голубые воды красавица Волга, необъятно раскинулись утопающие в зелени луга, пестрые бабочки порхают там и тут, дружно стрекочут кузнечики, пугливые пескари, как челноки, снуют на прибрежной отмели. И вдруг – помереть! Почему так несчастны эти люди? И эти и те, которых гнали по грязной дороге в звенящих кандалах?

И уже не хотелось бегать по берегу. Ничто больше не привлекало его внимания: ни повисший высоко в воздухе с распластанными крыльями коршун, ни спешившее к водопою стадо. Коля робко приблизился к больному и, бережно тронув его за руку, положил около него свой сверток:

– Возьми, пожалуйста, поешь. Это вкусно. Только не умирай, не надо! – с неловкостью пробормотал он и, не дождавшись ответа, скрылся за косогором.

Без дороги бежал Коля домой. Кусты шиповника хватали его за ноги, больно царапали руки. Запыхавшийся, потный, в покрытых грязью башмаках ворвался он в комнату няни.

– Свят, свят! – в испуге закрестилась старушка. – Что с тобой, Николушка? Уж не псы ли проклятые за тобой гнались?

Дрожа всем телом, мальчик судорожно обнял няню. По щекам его струились слезы.

– Ну, так и знала, что псы, – сокрушалась няня, – им все едино: что свой, что чужой. Покою никому не стало.

– Да нет, нянюшка, не собаки.

– Не собаки? Так что же, мой голубчик? Изволь расскажи.

Сбивчиво и торопливо говорил он о своей встрече с измученными незнакомыми людьми, о худом и больном человеке, желающем поскорее умереть, о деревянном кресте на палубе.

– А-а! – понимающе протянула няня. – Это бурлаки, Николушка! Нужда-голод гонит их… Помереть для них – дело немудреное. Сколько их косточек-то по берегам закопано – не перечесть!

Снимая с Коли рубашку, няня спросила:

– А салфеточка-то где, родименький?

– Я отдал, нянюшка.

– Кому?

– Да тому самому больному… Он голодный.

– Это ты хорошо сделал, Николушка. А сам, значит, так ничего и не поел? Сейчас покормлю тебя, бедненького.

Вскоре она принесла брызгающую во все стороны яичницу-глазунью, поставила на стол стакан молока с коричневой пенкой, нарезала ломтями свежий хлеб. Но от всего пережитого в это утро Коле есть не хотелось.

– Знаешь, нянюшка, – снова заговорил он, – давай вынем из моей копилки деньги, отдадим их бурлакам.

Няня участливо посмотрела на Колю, подперев морщинистой ладонью щеку.

– Отдать, родименький, нетрудно, – сказала она, – отдать можно. Только что твои грошики – капля в море. Бурлаков-то сколько? Многие тысячи. Разве всем достанется? Одного пожалеешь, а как другие-то? Надо бы такое придумать, чтобы для всех жалости хватило, чтобы никто не мучился.

– Давай придумаем, нянюшка.

– Эх, голубчик мой! Не такие головы, как наши, думали, да все понапрасну.

– А кто, нянюшка, думал?

– Много будешь знать, Николушка, рано состаришься. Вот станешь большим – и узнаешь, кто так думал… А ты ешь, ешь…

Няня вздохнула, словно вспомнив что-то тяжелое, и тихо произнесла:

– Был такой человек, Николушка, думал! Я в девках о нем слышала: Емельян Пугачев. Сказывали, хотел он простым людям хорошую жизнь дать. Да не вышло – отрубили ему князья-бояре буйну голову. Только ты, Николушка, нигде про него не поминай. Нельзя! Разбойник он. Хоть и добрый для простого люда, а разбойник…

Она села на стул и начала вязать. Спицы быстро мелькали в ее руках.

– А то еще был один разбойник, – опять вздохнула няня, – Степаном Разиным его звали. Рассылал он по всей русской земле своих помощников. Приходили те к простому люду, правду добывать звали. Вот и в нашем Грешневе, сказывают, они

побывали. Поднялись за деревней на горку, громким голосом клич кликнули: «Приходите к нам, добрые люди, воеводу Шеремета бить!» А уж до того, говорят, этот Шеремет народу не люб был, так от него люди страдали, что не приведи бог! Ну, и собралось тогда мужиков-крестьян видимо-невидимо. Кто с вилами, кто с дубьем, а кто просто с камнем за пазухой. Все – добрые разбойники. Что с Шереметом сталось, мне неведомо, но горку ту с той поры Атамановой зовут. В честь, значит, атамана Разина…

Коля хорошо знал эту горку. Она недалеко, за деревней. Невысокая, зеленая. Молодые дубки на ней растут.

Вскоре няня задремала, спицы выскользнули из ее морщинистых рук, а Коля снова устремился на улицу.

Ему непременно нужно увидеть Кузяху с Савоськой. Но их нигде нет. Только одна Кланька Нянька сидит на завалинке, держа на руках годовалую сестренку, и грустно напевает:

Люди, люли, люли,
Прилетали гули…

Завидев барчука, она замолкла.

– Кузяху, часом, не видела? – спросил Коля.

– Может, и видела, да не скажу, – сердито ответила Кланька.

– Ты что – белены объелась?

– Может, и белены, тебе что за дело?

«Что такое с Кланькой? Какая муха ее укусила?» – недоумевал Коля. Он молча сел на завалинку. А как тут не догадаться: Кланька потому досадовала, что ей надоело держать сестренку на руках. Вот она посадила ее на траву. Но та подняла отчаянный вой.

– Ишь, ишь, гляди, какая супротивная! – сердилась Кланька. – Все бы ей на руках да на руках! Сил никаких не стало. Избаловали на мою шею.

– Дай я ее покачаю, – предложил Коля.

– Ладно уж, покачай, – после некоторого раздумья согласилась Кланька, не подавая виду, что она рада-радешенька хоть на минутку отвязаться от сестренки.

Коля старательно качал девчонку на ноге. Ей нравилось. Она весело гукала и что-то лопотала. Отошло сердце и у Кланьки:

– Сказать, где Кузяха?

– Ну, скажи.

– Дядя Ераст в поле угнал. И Савоську. Да еще за вихры поцапал. Это, говорит, за твоего братца-бродягу…

Только вечером встретился Коля с Кузяхой. Тот лежал на

траве, устало закинув руки за голову. Завидев барича, он быстро приподнялся и стал оправдываться:

– Не мог я на Волгу… Ей-богу, не мог… С колокольни упасть… на острый ножик попасть!..

– Знаю, знаю, – успокоил Коля, садясь рядом, – у меня дело к тебе. Важнецкое!

– Важнецкое? А ну, говори!

– Приходи нынче на Атаманову горку. Там и скажу. Да Савоську с Мишуткой с собой покличь.

– А когда приходить?

– Как солнышко к лесу спустится.

– Ладно!

…На Атаманову горку пришли все, кого позвал Коля. В последнюю минуту приплелся даже и никем не приглашенный Алеха. Пригнав коров в деревню, он увидел торопившихся куда-то ребят и увязался за ними.

– Давай выкладывай свое важнецкое дело, – с нетерпением потребовал Кузяха.

Коля оглядел собравшихся с ног до головы. Ему сделалось грустно. У Савоськи высовывалось из рваных штанов голое грязное колено. Под веснушчатым носом Мишутки было мокро. Алеха Муха очень уж мал – от горшка два вершка. Вот Кузяха, этот еще туда-сюда. Даже стрелять умеет.

Помедлив минутку, Коля строго спросил:

– Кто хочет быть разбойником? Лица ребят недоуменно вытянулись:

– Каким разбойником? – робко произнес Савоська. А Мишутка добавил: – Разбойники с ружьями.

Кузяха промолчал. У него ружье есть. Отец подарил. Но в разбойники и он не собирался.

– Не буду я грабить, в острог попадешь, – твердо сказал, наконец, он. – Разбойники завсегда грабят.

– Нет, мы не такими разбойниками будем, – начал убеждать Коля. Его так и тянуло рассказать друзьям-приятелям, что он слышал от няни про Емельяна Пугачева и Степана Разина. Но она ведь просила никому не говорить об этом.

Разбойники есть разные, – объяснял он, оживленно жестикулируя, – одни злые, другие добрые. Мы будем добрыми. Если обижают кого, мы тут как тут – заступимся!.. Соглашайтесь! Кузяха! Ты?

Тот решился не сразу:

– Ладно уж, раз добрые – давай!

– Савоська?

– Я – как Кузяха.

– Мишутка?

– Я ножик на огороде спрятал. В самый раз для разбойников.

– Алеша?

– Вот я дедушки Селифонта спрошусь.

– Еще чего выдумал? – возмутился Коля. – Селифонту – ни слова. Это тайна! Слышишь?

– Слышу. В разбойники бы оно ничего, так опять же коровы. Кто их пасти будет?

– Разбойники по ночам выходят, – убеждал Коля. – Пригонишь стадо – и к нам. Ну?

– Так я же маленький… А в разбойники хочу!..

Сбор добрых разбойников был назначен на завтра в такой же час. Коля отпустил ребят. Они обрадованно побежали в деревню. Признаться, никто из них так и не понял, зачем потребовалось баричу приглашать их в разбойники. Пусть и добрые, а все же разбойники! Лучше бы в бабки поиграть. Куда спокойнее.

А Коля все стоял на Атамановой горке.

Солнце уже закатилось. Медленно надвигались сумерки. Небо на западе цвета алой крови. Снизу оно совсем багровое, а повыше – бледно-розовое, с голубыми пятнами.

Итак, решено! Завтра он поведет своих друзей на Волгу. Они нападут на баржу, которую тянут бурлаки, сбросят в воду злого, сердито кричащего на палубе человека и скажут измученным, исстрадавшимся людям: «Теперь вы свободны! Идите, куда душа желает. Мы – добрые разбойники!» И пусть не умирает тот худой и бледный человек. Пусть он живет и радуется…

В эту ночь Коля спал плохо. Он ворочался с боку на бок и бессвязно вскрикивал:

– Бросай бечеву! Кузяха! Кузяха! Нападай! Смелей!

Встревоженная няня то и дело поднималась с лежанки, зажигала свечу, вытирала мягким полотенцем мокрый Колин лоб и озабоченно шептала:

– Уж не сглазил ли кто его, моего голубчика? Ишь как мечется!

Под грозой

С головой, бурям жизни открытою
Весь свой век под грозою сердитою
Простояла ты, – грудью своей
Защищая любимых детей.

И. Некрасов. «Рыцарь на час»

Кузяха сделал змея на славу. Вручая его около часовни Коле, он с важностью сказал:

– Ни у кого такого нет. Ежели ниточку подлиннее, до самого бы неба долетел.

Коля достал из кармана клубок крученых льняных ниток.

– Хватит?

Щелкнув пальцем по клубку, Кузяха остался доволен:

– Эт-то ничего, эт-то подходяще. До неба, глядишь, не хватит, а до облаков в самый раз.

Он привязал нитку к змею, оттащил его в сторону и, передавая клубок Коле, крикнул:

– Запускаю!

Подгоняемый легким ветерком, змей устремился вверх. К часовне со всех сторон сбегались мальчишки. Задрав головы к небу, они восторженно горланили:

– Змей-горыныч! Змей-горыныч!

– Дай подержать! – попросил Мишутка Гогуля, завистливо наблюдая, как крутится в руках Коли клубок.

Разве жалко! Пожалуйста. Сделай одолжение. Смотри, только не упусти!

Вслед за Мишуткой пристал Савоська. Коля и ему не отказал. Потянулись к клубку и густо усеянные цыпками ручонки пятилетнего Мишуткиного брата Шурика.

– Ты куда лезешь, Тюлька? – грозно закричал на него Кузяха. – Убери лапы. Только тебя здесь и не хватало!

Шурик покорно отошел в сторону. Бедный мальчуган! Мало того, что Кузяха исковеркал его имя (какой он Тюлька, это младшая сестренка зовет его так – она буквы не выговаривает), теперь еще и к змею не подпускает. Слезы бусинками катились у него из глаз.

– На, Шурик, подержи, – подал Коля малышу заметно уменьшившийся клубок.

Дрожа от нетерпения, Шурик схватил его обеими руками. Сильный порыв ветра вздымал змея все выше, нитка натянулась, как струна. Вот Шурик сделал неосторожное движение – и клубок упал на землю. Змей резко рванулся вверх.

– Хватай, хватай! – отчаянно заголосил Кузяха.

Но куда там! Змея относило все дальше, и он, наконец, свалился где-то позади барского сада.

– Ух ты, растяпа! – погрозил Кузяха кулаком перепуганному Шурику. – Погодь, я тебе задам!..

– Айда искать! – тоже досадуя на Шурика, сказал Савоська. И ребята во главе с Колей устремились на поиски. Через густой колючий кустарник, через заросли чертополоха и крапивы.

Положим, Коле крапива не страшна: спасают башмаки с чулками. Он раньше всех добрался до того места, где упал змей. Вон он, вон – зацепился за ветвь стоящей посредине поляны высокой березы. На самой вершине!

– Сюда, сюда! – обрадованно закричал Коля.

Первым явился на его зов Кузяха.

– Нашел? – запыхавшись, спросил он. – Где, где?

Коля молча показал на верхушку дерева.

– Высоконько! – со вздохом произнес Кузяха. – Не доберешься, пожалуй!

Затем он поплевал на ладони:

– Что ли, попробовать?…

И обхватив ногами голый ствол березы, стал карабкаться вверх. Вот он добрался уже до ветвей и, усевшись на толстый сук, решил отдохнуть.

– Смотри, не упади, – предупредил снизу Коля.

– Это я-то? – обидчиво откликнулся Кузяха. – Да еще не выросло то дерево, с которого мне падать.

– А ты не бахвалься! – раздался чей-то голос из-за куста. – Не видав вечера, хвалиться нечего!

Это Савоська. Не выдержал! Очень он не любит, когда хвастаются.

А Кузяха, привстав на колени, полез выше. Ветви раскачивались под ним, как живые. Змей теперь совсем рядом. Но попробуй его достать: он повис на самом конце тонкой ветви. Кузяха попытался подтянуться к нему. Сук не выдержал, с треском сломился, и Кузяха полетел вместе с ним вниз. Упав на высокую и мягкую траву, он раскинул руки в сторону и молчал.

– Ушибся? – испуганно склонился над ним Коля. – Вольно?

А Савоська и Мишутка наперебой кричали:

– Убился, убился!

Кузяха поднял голову и сердито заворчал:

– Чего раскаркались, как вороны: «Убился, убился!» Эва! Живздоров!

Он поднялся с земли, отряхнулся. Потом все вместе направились к барскому саду.

– Я еще и такого змея сделаю, прямо ахнешь, – говорил Кузяха. – С трещоткой… Запустишь, а он что твой дергач: трры-трры!

Усевшись в тени, ребята отдыхали. Над их головами ослепительно светило солнце. Из-за высокого забора озорновато, словно наблюдая за ребятами, высовывалась яблоневая ветка. На ней всего три яблока. Но какие они румяные!

– Эх, теперь бы яблочка! – проглатывая слюну, вздохнул Савоська.

Яблоки в Грешневе только в барском саду. Около крестьянских изб голым-голо, редко-редко встретится одинокая рябина или покривившийся осокорь.

– Да, оно бы ничего – яблочка, – поддержал Кузяха. – Только где его возьмешь?

– В лесу! – простодушно сказал Мишутка.

Кузяха презрительно сплюнул:

– Это дички-то? Кислющие!

– А животом-то как будешь маяться, – добавил Савоська…

Коле было понятно желание друзей и, не раздумывая долго, он по-хозяйски приказал:

– За мной! В сад!

Он повел ребят к потайной лазейке. Ее сейчас не так-то просто обнаружить: узкий проход прятался в зарослях репейника, конского щавеля, крапивы.

Один за другим протискивались мальчуганы в сад. Ближе всех стояла широко раскинувшаяся ветвистая яблоня. Грузно склонила она к земле свои отяжелевшие от плодов ветви.

– Тряси! – приказал Коля Кузяхе.

Но тот не решался. Глаза его растерянно бегали от яблока к яблоку. Тогда Коля сам взялся за ствол дерева. Раз! Два! Яблоки посыпались, как из мешка.

– Бери! – крикнул Коля.

Повторять не пришлось. Присев на корточки, ребята с упоением собирали нежданную добычу. У Кузяхи заметно пузырились карманы полосатых, сшитых из грубой пеньковой пестрядины штанов. Мишутка набил снятый с головы картуз. Савоська совал яблоки за пазуху, Коля старательно помогал ему.

– Ты и сестренок угости, – заботливо советовал он.

В пылу охватившего их азарта ребята забыли обо всем на свете. Сами того не замечая, они ломали хрупкие ветки черной

смородины, топтали цветы на клумбе. Кузяха нечаянно толкнул Мишутку, тот свалился в кусты, выронил картуз – яблоки рассыпались во все стороны.

– Ты что, не видишь? Слепой? – сердился Мишутка.

– Сам под руку лезешь, тетеря!

– А ты беспалый! С березы упал, в лужу попал.

Назревала драка. Но тут раздался полный ужаса возглас Савоськи:

– Барин! Барин!

Словно кнутом хлестнуло детей. Роняя яблоки, они опрометью бросились к лазейке. Каждый хотел выбраться первым.

– Ой, ой, батюшки! – заревел Мишутка Гогуля.

Но вот все ребята уже по ту сторону забора. В саду сделалось тихо, как перед грозой. Коля стоял посредине дорожки, усыпанной яблоками, и с замиранием сердца ждал приближения отца.

Алексей Сергеевич шагал быстро. Он был не в духе. Заходил в столярную мастерскую. Дворовый столяр делал ему станок для чистки ружей. Но что-то не удалось мастеровому. Толкнув станок ногой, Алексей Сергеевич ударил столяра по зубам и выскочил на улицу. Тут до его слуха и донесся неосторожный ребячий гам.

– Что тут был за базар? – еще не дойдя до сына, крикнул Алексей Сергеевич.

Коля молчал.

– Я кого спрашиваю: что за базар? – зловеще повторил отец.

Опустив глаза, Коля продолжал молчать.

В эту минуту взор Алексея Сергеевича упал на поломанные кусты, истоптанную клумбу, рассыпанные яблоки.

– А-а! Разбойники! Злодеи! – со свистом вырвалось у него из горла.

Левая щека отца нервно дернулась. Усы грозно поднялись вверх. Тяжелой рукой схватил он Колю за шиворот и притянул к себе.

– Это ты их пустил? Ты? – все сильнее распалялся он. – Отвечай! Убью!

– Я, – трясущимися губами чуть слышно отвечал Коля.

Отец начал поспешно отстегивать желтый с блестящей пряжкой ремень.

Вскоре по саду пронесся отчаянный крик:

– Мама! Мамочка!

Крик этот вырвался не сразу. Сначала Коля терпел молча. Но когда отец в слепой ярости стал изо всей силы хлестать его пряжкой, терпения не хватило.

Первой услышала Колин голос няня. Она бросилась в ту

сторону, откуда доносился крик, и увидела беспомощно бившегося в ногах Алексея Сергеевича мальчика.

– Матушка-барыня! – ворвалась няня на балкон, где дремала с книгой в руках Елена Андреевна. – Барин Николеньку сечет в саду… у яблонек!

Елена Андреевна вздрогнула и уронила книгу на пол. Еще мгновение, и она уже бежала по дорожкам сада.

Подбежав к мужу, Елена Андреевна схватила его за руку:

– Перестаньте! Довольно! Умоляю!

– Уйди! – пытаясь вырваться, рычал сквозь зубы отец.

Но Елена Андреевна не выпускала его руки. И откуда только силы взялись! Отец разжал колени и оттолкнул сына в сторону. Коля опрометью бросился к дому, спрятался в чулан.

Здесь и нашла его встревоженная мать. Она увела Колю в свою комнату, осторожно сняла с него рубашку и зарыдала: багровые полосы пересекали всю спину мальчика.

– Боже мой, какой варвар! – воскликнула Елена Андреевна и, слегка прикасаясь к телу сына, покрыла больные места прохладной пахучей мазью. Потом, уложив Колю на кушетку, читала ему стихи из книги, которую подарил Петр Васильевич Катанин: о вещем Олеге, об узнике, сидящем за решеткой, об утопленнике.

Но детство есть детство! Хоть и больно было Коле, ему захотелось на улицу. Так чудесно светило солнце, так весело щебетали птицы в саду.

Пришел Андрюша, с жалостью посмотрел на брата, тяжело вздохнул:

– Ты что, милый? – спросила мать, прижимая его к себе.

– Скучно! Чем бы заняться?

– А ты почитай.

– Надоело. Сходить бы куда. Вон ребята в лес за грибами побежали.

У Коли загорелись глаза:

– За грибами?

Он ведь такой грибник, поискать только!

– Мамочка, мы тоже сходим в Качалов лесок, – начал упрашивать Коля. – Ну, мамочка, ну, родненькая, ну, пожалуйста! Мы быстро вернемся.

Не выдержало материнское сердце. Целуя сына, Елена Андреевна грустно сказала:

– Что с вами поделаешь? Идите! Оставляете меня одну.

– Я, мамочка, целый вечер буду с вами, – заторопился Коля. Но вдруг он вспомнил про Атаманову горку, и лицо его залилось румянцем. Где же ему вечером быть? Ребята соберутся и скажут:

вот, уговорил нас в добрые разбойники, а сам и не явился. Нет, он непременно придет на Атаманову горку, отпросится у матери, объяснит ей все…

До Качалова леска рукой подать. Чуть выйдешь из деревни, свернешь направо и начнется ельничек вперемешку с березнячком.

Андрюша нес лукошко, а Коля неторопливо шагал рядом. Иногда он морщился, потирая рукой спину.

Не успели они войти в лес, как услышали звонкое ауканье. Голоса знакомые. Это вот Кузяха кричит басом, как леший:

– О-го-го-го!

А это тоненько скликает грибников Лушка Цыганка:

– Ау! Ау!

Ей отвечают со всех сторон. Значит, грибников много. Какая жалость, что Коля с Андрюшей пришли позже всех! Пожалуй, все грибы уже в лукошках.

– Белый! – радостно воскликнул вдруг Андрюша.

И в самом деле: настоящий белый гриб. Шляпка темно-бурая, загорелая, ножка толстая. Спрятался под сосенкой в потемневшей сухой траве, не сразу его и найдешь.

– Белый в одиночку не растет, – уверенно сказал Коля. – Ищи здесь другого.

Он обошел дерево со всех сторон, старательно вороша прошлогодние листья, раздвигая сухую траву, ощупывая седой, жесткий мох.

Так и есть! Вот еще боровичок! Совсем молоденький, похожий на вырезанную из дерева куклу-матрешку.

До чего же славно вокруг! Неутомимо вели свой концерт музыканты-кузнечики. Живительной прохладой веяло в густой тени. Выйдешь на поляну – и будто в роскошный дворец попадешь. Все сияет на солнце: и березка, нежно склоняющая свои сережки, и осинки с трепещущими листьями, и елка с зелеными шишками.

Коля поднял с земли сухую продолговатую палку. С ней удобнее: то гнилой пенек сковырнешь, то шуршащий белоус на кочке раздвинешь – не прячется ли там боровичок? Вот у муравейника нахально красуется рябой мухомор. Взмах палки – и голова мухомора летит в кусты.

Прескверный гриб – мухомор! Но около него всегда боровички ютятся. Что за непонятная дружба? Ведь и общего-то ничего между ними нет.

Грибов попадалось все больше и больше. Серые, с тонкими шероховатыми ножками подберезовики, влажные и клейкие, будто обильно смазанные чем-то маслята с белыми воротничками

под шляпкой, красивые, но ломкие сыроежки. Иногда Коля подхватывал на ходу, между делом, горсточку желтых лисичек. Это очень вкусные грибы, особенно со сметаной, но чересчур уж они невзрачны, мелки.

В лесу снова зааукались. Голоса раздавались совсем рядом. В солнечных просветах берез мелькнула бывшая когда-то голубой, а теперь неопределенно-серого цвета рубашка Кузяхи. Он вышел на поляну, еле таща большую корзину, доверху наполненную грибами.

– А-а! Братцы-ярославцы, первые красавцы! – весело загорланил Кузяха. – Кто в лес, а мы из лесу, у кого пусто, а у нас густо!

– Чего зря бахвалишься? – недовольно сдвинул брови Коля. – И мы не с пустым.

Кузяха заглянул в лукошко.

– Я такие даже не трогал, – надменно фыркнул он, ставя свою корзину на траву. – У меня одни боровички. Как на подбор. Ни у кого таких нет!

– А это что – боровик? – порывшись в корзине Кузяхи, спросил Коля и показал зеленоватый, неопрятный гриб. – Козляк!

Самый настоящий поганый козляк. Кузяха смутился, не знал как и оправдаться.

Из-за деревьев выполз, как жук, Савоська в черной рубахе и черном картузе. Он молча показал Коле свою корзину. Ничего, подходяще! Грибы, как на подбор, один к одному.

А это кто пыхтит за кустами? Эге! Митька Обжора. Наклоняясь, он с жадностью, глотал алые ягоды костяники с твердыми косточками. Корзина у него висела на плече. И ясно, что пустая.

На поляне замелькали лохматые головы с белыми, выцветшими на солнце волосами. Усевшись на траве, ребята высыпали грибы перед собой и начали перебирать их, похваляясь удачной добычей. Только Митьке нечего показать – всего две старые сыроежки нашел.

Коля не садится – ему больно. Но не это беспокоит его. Он боится, что ребята спросят его. Знают ли они что-нибудь? Может, слышали?

Но скоро его опасения рассеялись.

– Вот тебе и яблочки! Ух, и драпака мы дали, – почесывая за пазухой, сказал Савоська. – А вдруг бы он собак на нас выпустил, как тихменевский барин?

– Ты, Никола, тоже небось струхнул? – спросил Кузяха. – Только чего тебе бояться? Тебя не тронут. Это только нашему брату завсегда попадает.

Как ответить Кузяхе? Может, задрать рубашку да показать спину? Э, нет! Самолюбие победило. Коля что-то промычал, потом начал кашлять.

– А я, ребята, ухватил все же яблочков, – хвалился Савоська.

– Эх, а у меня всего одно осталось. И то червивое, – сожалел Кузяха. – Все повыбрасывал…

Но вот грибы разобраны и аккуратно уложены. В корзинах стало просторнее. Еще не один гриб поместится.

– Хочешь, я тебе помогать буду? – забыв, что Коля недавно смеялся над его козляком, предложил Кузяха. – У меня глаз наметанный. Чуть гляну – все грибы передо мной.

– Зачем? – возразил Коля. – Мы сами наберем. Не маленькие!

– Ты мне помоги! – послышался плаксивый голос Митьки. – У меня мало.

– Еще чего! – сердито откликнулся Кузяха. – Проваливай, брат. Я лучше Савоське отдам. У него матка болеет.

Митька обиженно засопел носом:

– А я тятьке скажу. Ты яблоки у барина воровал…

Эх, задать бы этому Митьке хорошую трепку! Но рук не хочется пачкать. И Кузяха только погрозил ему кулаком:

– Скажи, попробуй! Узнаешь у меня, почем фунт изюму!

Шумная ватага с криком и смехом покинула поляну.

Через полчаса лукошки полным-полны.

Ребята и Митьку пожалели: насовали ему в корзину доверху грибов. Пускай только не хнычет.

Вышли на широкий луг. По краям его приветливо качали своими головками ромашки. Словно здоровались с ребятами. Задорно поднимали кверху головы-щеточки высокие стебли тимофеевки.

Вдали паслось стадо. Коровы на удивление были похожи одна на другую. Чуть не все они черные с белыми мордами. А вокруг глаз – черные круги, как большие очки.

– Пошли, ребята, к Алеше, – предложил Коля. – Ему, наверно, скучно без нас.

Всей оравой двинулись на пастбище. Встречай, Алеха, друзей, рассказывай, как живешь-можешь! А он словно еще меньше стал. Загорелое лицо его совсем с кулачок. Он босиком, в пестрой рубашке без пояса. На голове изрядно потрепанная войлочная шляпа с узкими полями. За спиной – длинный, извивающийся, как змея, кнут.

Дед Селифонт сладко храпел под кустом, подняв к небу седую, похожую на льняное повесмо[8] бороду. Алеша – полновластный хозяин стада. Он шумно щелкал кнутом и деловито, явно подражая Селифонту, покрикивал:

– Куда? Куда попорола? Я те, глазастая!

Ребята уселись поодаль от спящего Селифонта.

– Дай мне кнутика, Алеха, – попросил Савоська, – я попасу малость, а ты посиди спокойненько.

В душе Алеша рад такому соблазнительному предложению. Кнут донельзя надоел ему, как вот эти, гудящие над стадом, назойливые, больно жалящие слепни. Но надо же немного поартачиться.

– Не могу! – приняв важный вид, отвечал он. – Кто за стадо в ответе? Я! А потом, неровен час, ты еще глаз себе кнутом выхлестнешь. Отвечай тогда за тебя.

– Это я-то себе глаз выхлестну? – возмутился Савоська. – Да я так хлопну, что тебе ни в жизнь. Хочешь покажу?

Взяв кнут, Савоська вытянул его во всю длину, занес правую руку назад и сделал решительный рывок. Точно выстрел, прозвучал удар кнута. Даже Селифонт дернулся во сне бородой и забормотал что-то невнятное. Вот так Савоська! Не зря, выходит, похвалился. Алеше, конечно, так не щелкнуть. Силенки не хватит.

Лушка сплела венок из ромашек, примерила себе на голову – в самый раз!

– Может, тебе его, Алешенька, подарить? – лукаво спросила она.

– Зачем мне? Я не девчонка, – смутился Алеша.

Отчаянно хохоча, Лушка кружилась вокруг Алеши. Сорвав с него шляпу, она набросила на него свой венок. Голова у мальчугана маленькая – венок повис на шее. Алеша не снял его: пусть Лушка позабавится. Что с нее взять – девчонка!

А солнце пекло невыносимо. От слепней прямо никакого отбоя нет. Они словно ошалели: как иголками, кололи спину, руки, ноги.

– Вот жалят, проклятущие, хуже осы! – бранился Кузяха, отмахиваясь ольховой веткой.

– Это они к дождю! – уверенно сказал Ми-шутка, у которого дедушку зовут ведуном за то, что он все приметы знает. – Дождь будет.

Коля посмотрел на горизонт. Там тянулись бычки.[9] Но что тут страшного? Покапает немножко – и все. Можно под елкой отсидеться.

В эту минуту со стороны Волги явственно донесся глухой гул. Будто кто-то громадным кнутом хлопнул.

– Никак гром? – насторожился Савоська, зорко следивший до этого за коровами.

Гул повторился. Откуда-то вырвался ветер, пролетел над головами ребят, пригнул макушки молоденьких берез, сорвал с

них несколько листочков и увлек за собой. Низко, почти касаясь кустов, с писком пронеслись узкокрылые ласточки.

– Гроза будет! Бежим домой! – заторопилась встревоженная Лушка.

Раздумывать было некогда. Лушка права: скорей в деревню! Коля поднял с земли лукошко. Тяжеленько! С ним далеко не ускачешь.

– Беги вперед! – приказал он брату. – А я догоню.

Признаться, Андрюше не очень-то хотелось отделяться от ребят, но Коля сердито глянул на него:

– Беги! Нам-то что, мы – здоровые. А ты промокнешь – опять в постель.

– Бежим вместе, – предложила Лушка, – я на ногу легкая.

А с запада неудержимо надвигалась темная, с седыми закраинами туча. Снова ударил гром.

Коля оглянулся назад: маленькая фигурка Алеши с ромашковым венком на шее сиротливо стояла на том же месте. Из-под куста вылез, озабоченно поглядывая на тучу, заспанный Селифонт.

Между тем ребята уже выбрались на большую дорогу. Бежать стало легче. Впереди завиднелось Грешнево. Показался запасный амбар, стоящий у самого края селения. Крыша его поросла зеленым мхом.

Андрюша и Лушка были уже за околицей. Гроза их не настигнет.

Черная туча надвинулась на солнце, плотно закрыла его. Сделалось темно. На головы бегущих упали первые капли крупного, спорого дождя. Вспыхнула молния. Небо будто раскололось пополам. Оглушительный грохот потряс землю.

Вот и деревня. Ребята один за другим скрывались в своих избах. Коля спешил к лазейке. Стоит только нырнуть в нее – и гроза не страшна.

Опять сверкнула молния. На этот раз совсем рядом. Яркий голубой свет на секунду ослепил глаза. Коле показалось, что от оглушительного грохота сад закачался. Мальчик невольно присел. А грохот покатился дальше, к Волге, к Бабайскому монастырю.

Пробраться сквозь мокрые кусты нетрудно. Все равно нет ни одной сухой ниточки на теле. Ничего, ничего! Осталось сдвинуть доски и пролезть в сад. Но что это? Они не поддаются. Наплотно заколочены гвоздями. Значит, отец обнаружил лазейку. Какая досада!

Спрятав корзину под кустом, Коля стал карабкаться на забор. Скользко, нет опоры ногам! Все ладони исцарапал. Наконец, он в

саду. Ноги сами несут к крыльцу дома. И вдруг сквозь шум дождя ему послышался слабый стон. Коля остановился. Стон доносился откуда-то из соседней аллеи. Должно быть, молния кого-то поразила.

Потоки дождя хлынули еще сильнее. Заманчиво звало к себе крыльио. Там, дома, – сухое белье, теплое одеяло, чай с вареньем. Соблазн был большой. Но Коля повернул в ту сторону, откуда долетал стон. Разве можно было оставлять без помощи оказавшегося в беде человека!

И вот он в соседней аллее. Не сон ли это?

Он протер глаза. Видение не исчезало – под дождем, прижавшись спиной к дереву и уронив голову на плечо, стояла мать. Платье ее плотно прилипло к телу. С растрепавшихся волос лились струйки воды.

– Мамочка! – стремительно бросился к дереву Коля. – Мамочка!

Елена Андреевна вздрогнула и подняла голову:

– Мой мальчик, мой дорогой мальчик, – прошептали ее посиневшие губы.

Коля крепко обнял мать обеими руками, словно стараясь прикрыть ее своим телом от этого неистового проливного дождя, от сверкающих зеленых молний, от грозно рокочущего грома.

– Что случилось, мамочка? Почему вы здесь? Идемте домой! – Коля потянул ее к себе. Но она даже не сдвинулась с места. Тут только он заметил, что руки ее закинуты назад и привязаны к дереву. Еще тревожнее забилось его сердце. Смутная догадка мелькнула в сознании. Он торопливо начал развязывать веревку. Узел затянулся. В отчаянии Коля вцепился в него зубами. Секунда, и веревка свалилась. Мать свободна. Она бессильно опустилась на сырую землю.

Новый удар грома потряс сад. Елена Андреевна мгновенно поднялась.

– Домой! Скорее! – возбужденно повторяла она, будто очнувшись от сна. Глаза ее лихорадочно блестели, длинные волосы рассыпались по плечам, в туфлях чавкала вода. Мать похожа была сейчас на утопленницу, которую только что вытащили из холодного темного омута.

– Мамочка! Что случилось? Что? – снова спросил Коля, но она молча увлекала его вперед.

На крыльце стояла заплаканная, в сбившемся повойнике няня. Она повалилась на колени:

– Прости меня ради Христа, матушка-барыня! Не могла тебе помочь. Строго-настрого он запретил. На «девятую половину» послать грозился.

– Встань, встань, нянюшка! – срывающимся голосом произнесла Елена Андреевна. – Я все знаю, все понимаю. Ты не виновата…

Когда Коля переоделся, няня принесла ему горячего молока.

– Беспременно выпей, родименький, – сказала она, – не то лихоманка привяжется.

Но до молока ли ему! Что ж все-таки произошло с матерью? Как она оказалась под грозой, привязанная к дереву? Конечно, это сделал отец. Никто другой в доме не мог так поступить. Но за что, за что такое ужасное наказание? В чем она провинилась перед ним?

Охая и ахая, крестясь и плача, няня рассказала обо всем, что произошло. А было это, по ее словам, так.

Не успел Коля уйти в лес, как Алексей Сергеевич явился в комнату матери.

– Где этот сорванец? – резко спросил он. – Хочу поговорить с ним.

Мать, скрывая волнение, ответила, что разрешила детям погулять. Они скоро вернутся.

– Разрешила? – топнул ногой Алексей Сергеевич. – В этом доме только я могу разрешать. Пора бы это знать, сударыня!

Мать промолчала. Но Алексей Сергеевич продолжал возмущаться:

– До чего дело дошло! Мои сыновья возжаются с подлым отродьем. И все ты, ты разрешаешь!

Елена Андреевна робко возразила:

– Дети есть дети. Все одинаковы.

– Ах, вот оно что! Так-то ты Николку воспитываешь! Ну, подожди, я тебе покажу, – и отец, больно ухватив Елену Андреевну за руки, потащил ее за собой в сад.

На крыльце стоял староста. Он пришел за обычными распоряжениями по хозяйству.

– Веревку! – крикнул ему Алексей Сергеевич. – Быстрей!

Староста растерялся. Какую веревку? Зачем она нужна? Но попробуй спроси барина, когда он в таком гневе.

На глазах удивленного старосты Алексей Сергеевич привязал жену к стволу старой липы. Елена Андреевна не произнесла ни слова. Она знала, что и упрашивать, и кричать о помощи бесполезно. Никто не посмеет пойти наперекор…

Началась гроза. Алексей Сергеевич, должно быть, забыл о жене. Он пьяно выкрикивал какие-то угрозы, хрипло пел солдатскую песню:

Бонапарту не до пляски,

Растерял свои подвязки,
Хоть кричи пардон!

И кто знает, сколько бы времени простояла у дерева, зловеще озаряемая вспышками молний, измученная, насквозь промокшая мать, если бы не Коля…

– Так-то вот, Николенька, – закончила свой рассказ няня, в десятый раз принимаясь вытирать фартуком слезы.

Она куда-то ушла, но вскоре появилась опять:

– В Аббакумцеве пожар начался, – тревожно сказала няня, – наши мужики на помощь туда побежали. А еще, сказывают, пастушонка громом убило.

– Какого пастушонка? – испуганно спросил Коля.

– Да того, сказывают, который маленький. Алешкой кличут.

Что-то дрогнуло в Колином сердце. Не может быть! Всего какой-нибудь час назад Алеша играл вместе с ними, весело смеялся, хлопал кнутом.

– На телеге его привезли, – добавила няня, – у Лукерьи на завалинке положили.

Не спрашивая разрешения, Коля со всех ног бросился в деревню.

У избы тетки Лукерьи толпился народ. Мужики стояли без шапок. Женщины громко голосили. А Лукерья, повязанная черным платком, нараспев причитала:

Ты, родимо мое дитятко,
Уж ты, чадо мое милое,
На кого же ты, соколик мой,
Да спокинул меня, бедную?

Потом она упала на колени и, гладя мертвого мальчугана по лицу, запричитала еще горестнее:

Ты, родимо мое дитятко,
Повставай на резвы ноженьки…

Видно, крепко жалеет тетка Лукерья Алешу, думал Коля, слушая ее тоскливые причитания. Даром, что он ей не родной. Только почему она раньше все жаловалась: «Навалили обузу на мою шею. Пои, корми его, постреленка!»

Ребятишки пугливо жались около взрослых. А Кузяха забрался на изгородь и, держась рукой за ветлу, глядел через

толпу куда-то вниз.

– Лезь сюда! – заметив барича, негромко пригласил он.

Но Коля начал протискиваться вперед.

– Пустите баринова сыночка. Аль не видите? – простуженно засипел нищий старик Ваня Младенец с сучковатым посохом в трясущейся руке. – Пускай поглядит на новопреставленного раба божия…

Алеша лежал на свежей, со следами дождя соломе. Открытые глаза его удивленно смотрели на небо. Лушкин венок так и остался у него на шее. Крохотное лицо мальчика посинело, а скрещенные на груди ручонки черны, как уголь.

Чем больше смотрел Коля на своего маленького друга, тем больше сжималось его сердце. Ах, Алеша, Алеша! Ну, как же так? Вечером собирался быть на Атамановой горке, играть в добрых разбойников…

Горячий клубок подкатился к горлу. Не выдержав, Коля горько-горько заплакал. В слезах этих были и незаслуженные обиды, нанесенные ему сегодня отцом, и тяжкие мучения любимой матери, и нежданная-негаданная Алешина гибель.

– Вишь ты, хоть и барин, а тоже сердце имеет, – сочувственно произнес вдруг Ваня Младенец, загремев веригами. – Душевный, должно, человек будет. Не в батюшку своего родного!..

В этот день в Аббакумцеве сгорело двенадцать изб. Тринадцатую еле отстояли. Пожары были и в других селениях, над которыми пронеслась гроза.

И, конечно, вечером никто не пришел на Атама-нову горку. Так и не состоялся поход добрых разбойников на Волгу.

Отъезд

…Сердце мое забилось сильно и неправильно при последнем взгляде на ветхий дом наш и окрестности бедной деревеньки, в которой я провел первые годы жизни.

Н. Некрасов. «Жизнь и похождения Тихона Тростникова»

Лето кончилось. Однажды утром, проснувшись, Коля глянул в окно: зеленая крыша флигеля за ночь стала белой-белой, словно ее посыпали известкой. Побелели и трава, и кусты, и цветочные клумбы. Неужто иней?

– Андрюша, – толкнул он в бок брата, свернувшегося клубком под теплым одеялом.

– А? Чего? – высунул Андрюша взлохмаченную голову, не понимая, зачем его тревожат.

– Смотри! Иней!

Андрюша громко зевнул и повернулся на другой бок.

Обиженный равнодушием брата, Коля отправился к няне. Она внимательно слушала его, покачивая седой головой.

– Что же тут удивительного, Николушка, – сказала няня, – пора! Теперь пойдут заморозки. Не удержишь. После Ивана-постного тепла не жди.

Чудная эта няня! На все у нее свои приметы. Наступает петров день, а она уже вздыхает: «Короче стал денек-то. Петр и Павел час убавил». На ильин день у нее тоже своя присказка: «Илья-пророк два уволок». А вчера няня подняла в саду желтый лист, оглядела его со всех сторон и, облегченно вздохнув, перекрестилась:

– Слава те, господи! Верхом листочки ложатся. Значит, доброго урожая жди. А ежели низом падают, тогда без хлеба насидишься.

Да и как же няне не знать всего! Восьмой десяток на свете доживает. А поглядишь на нее, не верится: такая еще крепкая, такая подвижная. И глаза у нее, как у молоденькой: с одного раза нитку в иголку вдевает.

После завтрака Коля скрылся в своем чулане. Он накинул на себя теплый нянин полушалок, натянул на ноги старые валенки. В чулане долго не начитаешься.

В доме необычно тихо, хотя отец не на охоте. Коля знал, что сегодня должен был приехать к нему из Ярославля музыкант. Так няня сказала. И еще прибавила:

– Дудеть будет. Во флигере. Там ему место заготовили. Теперь не жди покоя… Охо-хо-хо!

Только было Коля углубился в книгу, как во дворе начался какой-то шум. Он долетал сюда сквозь разбитое полукруглое окошечко. Скрипели ворота, что-то грохотало, слышались какие-то возгласы.

Ну усидишь ли тут за книгой? Как не полюбопытствовать! И Коля выскочил на балкон.

Посреди двора стояла нагруженная длинными ящиками телега. Вот с нее сполз толстый коротенький человек с тараканьими усами и мясистым красным носом. Вразвалку, не торопясь, он подошел к одноглазому сторожу Игнату.

– Изволь-ка, братец, доложить господину Некрасову, – донесся до Коли сиплый голос. – Унтер-офицер Гонобоблев. Капельмейстер!

Но отец уже сам появился на крыльце. Качнувшись на каблуках, приехавший обернулся, лихо козырнул и отрапортовал:

– Так что прибыл, ваше высокоблагородие. Согласно личной с вами договоренности в ресторации «Царьград». Доставил инструменты. Парижские! Самой новейшей марки. Изобретение господина Сакса. Употребляются во французской гвардии. Премного довольны будете…

А вездесущая няня уже заметила Колю.

– Ой, простудишься, мой свет, – выйдя на балкон, заботливо поправляла она полушалок на Колиных плечах. – Иди, оденься, набрось полушубочек да шапку.

– Постой, няня. Интересно!

– Чего тут интересного? Дудеть теперь будут. Вон глянь, трубу из ящика вытянули. Медная! Что твой самовар…

Во второй половине дня с севера подул пронизывающий ветер. Кот Васька, выпрыгнув в форточку, через пять минут снова вернулся в дом. Носа во двор не высунешь.

И все же Коля уговорил Андрюшу пойти погулять.

– Только на минуточку! Подышим свежим воздухом – и назад!

Няня так укутала Андрюшу, что он едва-едва двигался. Но, признаться, Коле не столько хотелось подышать свежим воздухом, сколько посмотреть, что делается у флигеля. Там стучал топором Трифон. Он распаковывал ящики, вытаскивая оттуда замысловатые музыкальные инструменты: трубы, дудки, барабан.

В окнах флигеля мелькала тень унтер-офицера. Иногда он

открывал дверь и кричал:

– Тащи кларнеты! Тромбон давай!

Трифон недаром побывал в Париже: он, видно, хорошо разбирался в музыке, знал, что такое кларнет и тромбон…

А у крыльца опять началась какая-то суматоха.

Коля поспешил туда.

У крыльца они увидели незнакомого человека, обросшего густой бородой, босого. Позади него виднелся солдат с ружьем.

Схватившись за грудь, босой человек вдруг тяжело закашлялся. Глухой свист вырывался у него из груди.

– Эх, бедняга! Вишь, как застудился, – сочувственно произнес стоявший чуть в сторонке сторож Игнат, – даже худых лаптишек на тебе нет.

– Сапоги были, – сквозь кашель ответил незнакомец, – отняли, ироды.

– Кто отнял, скажи? – смущенно заворчал солдат. – Мне чужого не надо. Я службу исполняю. Его сиятельство граф Лопухов меня послал.

– Да не о тебе баю, – снова заговорил босой человек. – В остроге меня догола раздели. И сапоги, и тулупчик забрали. Дивлюсь, как рубаха на мне осталась.

Какой знакомый голос! Коля внимательно пригляделся: боже мой, да это Степан! И он чуть было не бросился к нему. Но на крыльце выросла фигура отца. Он быстро сбежал вниз и, оказавшись около Степана, злорадно ухмыльнулся:

– Что, собака, набегался? Думал, в столице от меня спрятаться? Нет, не вышло! Опять в моих руках. Как же теперь поступать с тобой прикажешь? А?

Степан молча кусал нижнюю губу. Не дождавшись ответа, Алексей Сергеевич что есть силы ударил беглеца по лицу. Кровь хлынула из носа.

– Вы не смеете драться, – глухо проговорил Степан, прикрывая лицо ладонью. – Я не собака, я человек!

Этого Алексей Сергеевич никак не ожидал. Он привык, чтобы крепостные бросались перед ним на колени, просили милости, целовали сапоги. И вдруг: «Вы не смеете драться! Я человек!» Алексей Сергеевич прямо затрясся от злости и начал хлестать Степана по щекам.

Андрюша в испуге заплакал.

– Иди домой, – зашептал ему Коля. Но сам он уходить не хотел, мучительно думая, как помочь Степану.

В это время заговорил солдат. Заикаясь и моргая от страха глазами, он попросил:

– Ваше высокородие! А, ваше высокородие! Мне бы

расписочку, как положено!

Алексей Сергеевич непонимающе глянул на солдата.

– Что? Какую расписку?

– Да тую самую, что при письме графа Лопухова приложена.

Сердито буркнув, Алексей Сергеевич поднялся по ступенькам крыльца в дом.

Степан, продолжая молчать, вытирал рукавом кровь на бороде. К нему вплотную приблизился сторож Игнат.

– Где хоть схватили тебя, горемыку? – жалеючи, спросил он.

– На Исакии-соборе,[10] – застуженным голосом печально ответил Степан. – Украшения на нем делал. По душе была работка.

– Вишь ты, сколько хлопот барину задал, – хмурясь, сказал солдат. – Пожалел бы его, несчастного. Гляди, как он мается, – солдат насмешливо кашлянул и сплюнул.

– Пускай покуражится, – прохрипел Степан. – Буду жив, снова сбегу.

– Эх, друг, друг! – сострадательно произнес солдат. – А куда? Везде нашего брата найдут. Я бы тоже непрочь вольно пожить. Пятый год под красной шапкой хожу да еще целых двадцать годов осталось. Вернусь в деревню стариком. А там у меня ни кола, ни двора. Одно мне место – на погосте!

Солдат хотел еще что-то сказать, но Алексей Сергеевич уже опять появился на крыльце.

– Вот! – кинул он расписку на землю. Солдат быстро наклонился, поднял бумагу, сложил ее вчетверо и сунул за пазуху. Затем, торопливо козырнув, он быстро зашагал к воротам, словно боясь, что и на него падет гнев помещика.

А тот уже орал во весь голос:

– На конюшню! На конюшню!..

Коля в страхе бросился в комнату. Почти в самых дверях он столкнулся с няней.

– Нянюшка, милая! Степана на конюшню погнали. Бить будут!

Ухватив Колю за руку, няня потянула его в угол, к древней иконе с бледно мерцающей лампадкой.

– Молись, молись, Николушка! – жарким шепотом повторяла она. – Бог милостив, удержит злую руку…

– Он голодный, нянюшка! Я хлебца ему отнесу, – тревожно сказал Коля, поднимаясь с колен.

Няня испугалась:

– Что ты, Николушка, что ты, голубчик! Подвернешься на глаза батюшке, уложит он тебя на скамейку рядом со Степаном.

– Никто не увидит, нянюшка, – с жаром убеждал он. – Я

незаметно, сторонкой.

Минуту подумав, няня со вздохом согласилась:

– Ладно! Это дело божеское Она вынула из буфета большой ломоть хлеба, густо посыпала его солью и, обернув белой тряпочкой, отдала мальчику.

Прижимаясь к высокому забору, Коля торопился на конюшню. Учащенно колотилось сердце, мурашки бегали по телу.

Может, отец еще не пришел, и Коля успеет передать хлеб. Но из полураскрытых ворот конюшни уже доносился сердитый отцовский голос. Опоздал! Сделалось тоскливо. Коля обогнул конюшню и затаился около потемневшего кустарника. Рядом росла низкая сучковатая береза. Сунув хлеб за пазуху, Коля забрался на дерево. В стене конюшни – широкое отверстие, что-то наподобие окна. В сильные морозы его затыкали соломой. А сейчас оно открыто, и хорошо видно все, что внутри.

Глазам Коли открылось низкое, но довольно просторное, с земляным полом помещение. Посредине, на деревянной скамье, лежал полуобнаженный Степан. В углу темнела бочка с водой. Из нее торчали пучки тонких прутьев. На стене висели страшные плети разных размеров.

Кроме отца и Степана, в конюшне – староста Ераст, доезжачий Платон и охотник Ефим.

Ераст держал беглеца за ноги, Платон – за голову. Отец молча трогал пальцем переплетенную ржавой проволокой плеть.

Но вот плеть взвилась вверх и со свистом упала на худую Степанову спину. Удары посыпались один за другим. Степан глухо застонал.

– А-а-а! Чуешь, чем пахнет! – задыхаясь, хрипел отец, и плеть замелькала еще быстрее.

Прыгнув с дерева, Коля вихрем помчался к дому. Через минуту он был около матери. Его прерывистое дыхание и горящие глаза не на шутку испугали Елену Андреевну.

– Что с тобой, мой мальчик? – спросила она, с тревогой заглядывая сыну в глаза.

– Мамочка, он убьет его, убьет! – выкрикивал Коля, прижимаясь к матери.

– Кого, мой милый? О ком ты говоришь? – недоумевала Елена Андреевна.

– Степана!

– Какого Степана?

– Савоськина брата…

– Как? Он здесь?

Боясь лишний раз взволновать больную, няня ничего не сказала ей о Степане.

– Значит, ты был на конюшне? – выслушав торопливый рассказ сына, спросила мать.

– Да, мамочка!

– Мой родной, мой хороший мальчик! Зачем ты ходил туда?

– Я хотел дать ему хлеба, – торопливо говорил Коля, – он голодный… Спасите его, мамочка, спасите!

Тяжелые, недетские рыдания вырывались из его груди.

– Хорошо, мой милый, – решительно произнесла мать. – Успокойся! Пойди к Андрюше.

Коля, вытерев слезы рукавом, медленно направился к двери.

Подойдя к окну, Елена Андреевна лихорадочно обдумывала, как ей поступить. Кинуться на конюшню, упросить мужа, повалиться ему в ноги? Но поможет ли это? В буйном гневе он оттолкнет ее и даже ударит, не стесняясь посторонних людей.

Елена Андреевна позвала няню:

– Беги скорее на конюшню, нянюшка, – сказала она старушке, – проси барина, чтобы сейчас же пришел сюда. Сейчас же!

– Да пойдет ли он, матушка-барыня, пойдет ли, голубушка? – засомневалась няня. – Ведь не упросишь его, не улестишь.

– Пойдет! Непременно пойдет! Скажи, что мне очень плохо.

– Бегу, матушка-барыня, бегу! – засеменила к выходу няня, непрестанно крестясь.

С воплем ворвалась она в конюшню и заголосила:

– Батюшка-барин! Домой, домой поспешайте. Барыня вас зовут. Недужно ей! Ой как недужно!

Занесенная было для нового удара рука с плетью застыла в воздухе.

– Чего ты, старая карга, раскаркалась? – Лицо Алексея Сергеевича налилось кровью, левая щека непрерывно дергалась.

– Очень уж барыне плохо, батюшка-барин! Сию минуту вас к себе просят! – не отступаясь, продолжала рыдать няня.

– Тьфу, окаянная! – со злостью сплюнул Алексей Сергеевич – Вот не вовремя подвернулась! – И он бросил плетку в угол, где стояла бочка с розгами.

– Степку под замок, в холодную! – приказал он уже в дверях. – Глядеть за ним в оба! С ним после разговор будет.

– Ну, поднимайся, бегун! – ворчал Ераст, когда Алексей Сергеевич исчез за дверью. – Надевай свой шурум-бурум. Вишь, какое счастье тебе привалило. Ежели бы не барыня, пришлось бы нынче выносить твое грешное тело на погост.

Глянув усталыми глазами на Ефима, Степан запекшимися губами прошептал:

– Испить бы!

– Сейчас я кваску принесу, – с жалостью отвечал Ефим. – Погодь минутку…

Алексей Сергеевич пробыл в комнате Елены Сергеевны около часа. В первые минуты во всем доме слышно было, как он сердито кричал, топал ногами, колотил кулаком о стол. Но, постепенно успокоившись, вызвал к себе Платона и приказал готовиться к выезду на охоту.

– Слава те господи, – стукалась лбом перед иконой няня. – Минула гроза-несчастье. Смирила наша матушка-красавица лютое сердце. Не дала греха положить на душу. Дай ей, владычица пресвятая, доброго здоровья. Пусть живет она многие лета.

Няня и Колю пыталась поставить рядом с собой на колени. Но он быстро проскользнул мимо. Ему хотелось побыть сейчас около матери и вместе с ней порадоваться спасению Степана.

…Прошло две недели.

Неотвратимая осень всюду давала знать о себе. Яркими красками увядания пестрели осиновые рощи. Грустно сбрасывали с себя последние листочки белоствольные березы.

Давно миновало бабье лето. Отлетали в прозрачном, пахнущем грибами воздухе белые паутинки.

Коля и Андрюша собирались со дня на день уехать в Ярославль, в гимназию. Мать заботливо готовила им все необходимое для отъезда. Но, увлеченный охотой, отец забыл вовремя заказать мундиры и форменные фуражки. Их сшили с опозданием.

Накануне отъезда отец разрешил Коле отправиться с Кузяхой на охоту. К сыну Ефима Алексей Сергеевич с некоторых пор стал относиться грубовато-доброжелательно, надеясь, должно быть, что он скоро заменит попавшего в немилость отца. Как-то раз он даже потрепал Кузяху по щеке и весело-укоряюще сказал;

– Как же это ты, шельмец этакий, палец себе отстрелил? А? Неладно, право, неладно!..

И вот мальчуганы гордо шагали с ружьями за спиной по деревенской улице. Впереди бежал остромордый легавый пес Летай. Совсем еще молодой, он бестолково тыкался носом в землю, убегал на задворки, откуда его не скоро дозовешься.

С видом бывалого егеря Кузяха вел Колю на широкое, поросшее осокой Печельское озеро.

– Уток там тьма-тьмущая! – скороговоркой сыпал он. – Тихменев-барин намедни столько настрелял, что на двух телегах увезти не могли. А я прошлый раз одним выстрелом целый пяток свалил. Жирные! Как упали на землю, так от сала и лопнули.

– Да ну? – изумлялся Коля. Однако в голосе его слышались нотки недоверия. Чувствуя это, Кузяха принял оскорбленный вид.

– Вот те и ну, баранки гну! – пыхтел он. – Не веришь, так зачем пошел со мной?

Но Кузяха дулся недолго. Когда вышли за околицу, он вдруг спросил:

– Степана не видел?

Где его увидеть! В холодной держат. На двух замках. Не проникнешь к нему.

– Ишь ты, беда какая, – вздохнул Кузяха и снова спросил:

– А слышал, какая заваруха у Тихменева-барина вышла?

Нет, Коля ничего не слышал. Он удивленно глянул на Кузяху:

– Заваруха?

– Ну да, заваруха, – подтвердил тот, рывком поправляя ружье за спиной. – К батьке знакомые охотники из города приходили. Поднялись, бают, тихменевские мужики.

– Как поднялись?

– Очень даже просто. Пришли к нему прямо на усадьбу с дрекольями и кричат: «Долго ты из нас кровь сосать будешь?» Бают, Тихменев-барин ужасти как перепугался, не выходит к народу. Выслал своего слугу: объяви, дескать, что с нынешнего дня перестану обижать, все буду делать по справедливости. И жалую, бает, вам две бочки вина из своего подвала. Пейте за мое здоровье, сколь душе угодно. Мужики-то, вишь ты, и обрадовались. Уселись на лужайке, выпивают, песни поют. А Тихменев-барин тайком в город поскакал. Так и так, мол, бунтуют мужики. К вечеру нагрянули в село солдаты. Всех перепороли от мала до велика. Да еще с десяток мужиков в Кострому, в острог, угнали. Вот оно какое дело-то! А ты говоришь!..

Разве Коля что-нибудь говорит? Нет, слушая Кузяху, Коля вспомнил тот вечер, когда Тихменев похвалялся, как он травил крестьянского мальчика собаками: «Он бежит – они за ним! Он остановится – и они встанут!» Эти пьяные выкрики и сейчас звучали в ушах Коли.

А Кузяха доверительно продолжал:

– Сказывают, многие мужики Тихменева-барина в лес убежали. Отплатим, говорят, тебе, барин, за злодейский обман и все прочее. Так он теперь прямо трясется от страха. По ночам с ружьишком у окна торчит, глаз не смыкает. Но все равно ему красного петуха подпустят. Помяни мое слово, подпустят!

– Ясно, подпустят, – согласился Коля. – И поделом!

Кузяха удивленно вытаращил глаза:

– Ты это сурьезно?

– Конечно! Зверь твой Тихменев.

– Какой он мой! – запротестовал Кузяха и, помолчав немного, с уважением сказал:

– Это ты здорово сказал – зверь! А ведь я думал, ты за Тихменева-барина.

– Вот те раз! Почему?

– А как же, ты не наш брат, не из простых. Твой отец с Тихменевым – два сапога пара. Все так говорят…

Коля промолчал. Ему было стыдно, что отец его похож на Тихменева. Но ведь это правда. Нет, он никогда не будет таким. «А тихменевские мужики – молодцы, – одобрительно подумал он. – Они, наверно, тоже хотят стать добрыми разбойниками!..»

В разговорах незаметно подошли к озеру. Ловко прыгая с кочки на кочку, Кузяха сердито крикнул:

– Ты как ружье держишь? Нешто так держат! Того и гляди, пальнешь в собаку.

Торопливо подняв ствол ружья кверху, Коля не без робости смотрел на Кузяху. Он чем-то напомнил ему сейчас конюха Трифона, когда тот учил его верховой езде.

А Кузяха между тем продолжал:

– Ты не вздумай в грачей палить. Грач – птица пользительная. Хороший охотник и в галку тоже стрелять не станет. Зачем дробь зря переводить…

Из кустов с шумом вылетела одинокая утка. Она ошалело метнулась к озеру, потом повернулась назад и закружилась над головами охотников.

Вскинув ружье, Коля выстрелил. Утка испуганно крякнула и стремительно понеслась вперед.

– Зачем стрелял? Кто тебя просил? – с обидной строгостью вопрошал Кузяха. – Для чего ради поторопился? Понапрасну только дичь перепугал. Ищи-свищи теперь!

Сначала Коля рассердился было на приятеля. Но потом понял, что тот был прав: утки как в воду канули. Сколько ни колесили охотники по топким берегам озера, крякв, чирков, шилохвосток и в помине не было. «Куда они только подевались?» – досадовал Коля, с трудом вытягивая сапоги из чавкающей, засасывающей грязи.

Лишь Кузяха не терял бодрости духа. Он смело пробирался сквозь густые заросли ломкой, корявой ольхи, чутко прислушиваясь к лесным шорохам. Иногда он тихо посвистывал убежавшему вперед летаю. Вот Кузяха остановился, вытянул шею.

– Слышишь? Кричат! – радостно шепнул он.

Почудилось, наверное, Кузяхе. Тихо вокруг. Только под Летаем сухая веточка слегка хрустнула.

Прошла минута, другая. Кузяха все не двигался с места. И вдруг до Коли отчетливо-ясно донеслось простуженное кряканье уток.

Кузяха махнул рукой: пошли! Осторожно крались к воде. Кряканье становилось все громче. Утки кричали наперебой, будто горячо обсуждали какие-то важные для них дела.

В просвете между кустами мелькнула серая полоса воды.

«Гляди, гляди!» – толкнул в бок Кузяха. – Стреляй! Прямо!»

Сам он, привстав на колено, целился куда-то влево.

Выглянув из-за куста, Коля увидел красивого селезня с сизой бархатной шеей. Раздумывать некогда. Коля нажал на курок. Прогремел выстрел. Голубые дымки поднялись и слева – открыл пальбу Кузяха.

По всему видно – начало неплохое! Селезень, в которого стрелял Коля, бессильно уронив голову с широким янтарным носом, судорожно бил крылом по воде. Коля подозвал Летая и за ошейник потянул его к воде, к самому краю озера, покрытого тонкой корочкой льда.

– Апорт! Пиль! – приказывал он собаке.

Летай неуверенно сделал шаг вперед. Ледок под его лапами хрустнул и зазвенел. Вода такая холодная, что никого не заставишь в нее лезть. Жалобно повизгивая, Летай попятился назад.

– Ну, Летаюшка, ну, хороший мой! – поглаживая пса по спине, уговаривал Коля. Летай лизал его руку, колотил хвостом по траве, но идти в воду не хотел.

– Ах, ты так! Упрямиться?

Коля замахнулся на собаку палкой. Летай испуганно вскочил и скрылся в кустах.

– Эх ты, охотничек! – засмеялся Кузяха. – Будешь бить да кричать, собака дурой станет. Разве так учат?

Хорошо Кузяхе смеяться. Он своих уток уже к поясу привесил. А первый Колин селезень – вон где! Не оставлять же его там.

Не долго думая, Коля сбросил с себя курточку, стянул сапоги, снял белье и на глазах пораженного Кузяхи, не успевшего даже глазом моргнуть, с размаху бросился в воду.

Коля плыл саженками, ловко выбрасывая вперед то одну, то другую руку. Он уже разогрелся. Вода теперь не кажется такой леденящей, как сначала. Еще несколько взмахов – и голова селезня в его руке.

Вернулись домой затемно. А наутро Коля проснулся с ознобом во всем теле. Ужасно болела голова. Вставать с постели не хотелось. Приложив руку к его лбу, мать встревожилась:

– Жар! Ты простудился, мой мальчик!

Няня заварила липового чаю, притащила большую банку малинового варенья. В другое время Коля с удовольствием полакомился бы, но теперь ему все противно. Во рту горько, и

тошнит, тошнит, тошнит.

Ночью начался бред. Мальчик хрипел, метался в постели, звал к себе то мать, то няню, то Степана, то Кузяху. Он твердил о каких-то добрых разбойниках, и Елена Андреевна, целуя его пылающий лоб, обливалась слезами.

Отец перестал трубить по утрам в свой серебряный рог. Сборы на охоту проходили теперь около псарни. Из города приезжал знакомый лекарь Герман Германович. Он сказал, что у мальчика огневица – злая простудная лихорадка.

Но крепкая натура победила. На десятый день болезни Коля уже был на ногах. По его просьбе к нему допустили Кузяху. Сидя на краешке стула, он тихо передавал скупые деревенские новости.

– Степан-то опять сбежал, – шептал Кузяха. – Сказывают, в лес, к тихменевским мужикам.

– Вот это хорошо, – обрадовался Коля. – Ай да Степан! Дай-то ему бог успеха. Может, и найдет свое счастье.

* * *

…Миновала еще неделя.

Наступил день отъезда в гимназию. Коля и Анд-рюша облачились в светло-синие мундиры с белыми пуговицами, с малиновыми воротниками и важно ходили по комнатам на зависть младшим братьям.

С утра из-за тяжелых свинцовых облаков выглянуло солнце. Оно было яркое, но печальное и холодное. На горизонте переливался желто-оранжевыми красками Николо-Бор. Над голыми, пустынными полями кружились сухие травинки, поднимаемые налетающим с Волги ветром.

К воротам подкатила серая громыхающая карета, в которой когда-то привезли Колю с Украины в Грешнево.

Проводить отъезжающих вышли все жители усадьбы. Отец самодовольно крутил усы, отдавая приказания Трифону.

Елена Андреевна, бледная и грустная, с синими кругами около глаз, беспрерывно прикладывала платок к щекам. Закрыв лицо фартуком, навзрыд плакала няня.

У облетевших старых вязов молча стояли Колины друзья-приятели: Кузяха, Савоська, Мишутка, Лушка, Кланька и Митька.

Мать снова и снова – в который раз! – обнимала сыновей.

– Ой, мамочка! – забеспокоился вдруг Коля. – Я на окне книгу забыл.

– Какую книгу? – недоумевала Елена Андреевна.

– Да ту, которую Петр Васильевич подарил… Пушкина!

Мать поспешила в дом и через минуту возвратилась с книгой:

– Вот она, мой родной! Возьми…

Последние жаркие объятия. Мальчики забрались внутрь кареты.

От флигеля понеслись нестройные звуки походного марша. Это отставной унтер-офицер Гонобоблев обучал крепостных музыкантов своему тонкому искусству.

– Пошел! – крикнул отец.

Громыхая по ухабам и колдобинам, карета покатилась вдоль деревни, к ярославской околице.

Коля глядел в окно. Справа от кареты бежали деревенские ребята. Впереди, широко размахивая руками, несся в охотничьих сапогах Кузяха.

Повернув голову назад, Коля увидел мелькавший в воздухе белый платок. Это мама. Милая, добрая, славная, самая хорошая на всем белом свете! И ему захотелось во весь голос крикнуть:

– Я еще вернусь! Не печалься, мамочка! Стучат и стучат колеса кареты. До свиданья, Грешнево! До свиданья, друзья-приятели!

А за околицей далеко-далеко протянулась усаженная березками большая дорога. Там, за лесами и пашнями, за полями и пригорками, ждала Колю новая, незнаемая, неведомая и, наверное, не похожая на грешневскую жизнь.

Часть вторая
Гимназия

Стрелка

Ах ты, батюшка, Ярославль-город,
Ты хорош-пригож, на горе стоишь…

Из народной песни

Это было на редкость красивое и уютное место, словно спрятанное от посторонних взоров за длинной зеленой стеной столетних кряжистых дубов «Сюда не доносился надоедливый шум торговых улиц: тяжелое громыхание по булыжной мостовой груженых телег, дребезжащий скрип купеческих пролеток, зазывные выкрики назойливых лотошников у старинных Знаменских ворот.

Называлось это место Стрелкой. Здесь почти всегда царила глубокая тишина. Словно сказочный дворец, застыло длинное белоколонное здание Демидовского лицея. Казалось, за его плотно закрытыми окнами нет никакой жизни.

Уже четыре года, как Николай приехал в Ярославль; он часто бывал на Стрелке. Отсюда открывались широкие волжские просторы. Величаво несла свои светлые воды могучая русская река, вековечная народная кормилица. К соленому Каспийскому морю неудержимо стремилась она, по-матерински принимая в свое многоводное лоно тысячи больших и малых рек.

Вот и тут, у песчаной кручи Стрелки, вливалась в Волгу небольшая, извилистая речка со странным названием Которосль. На ее откосах пестрели сейчас первые вестники желанного лета – золотистые венчики безлистой мать-и-мачехи. А через неделю-другую зацветут здесь фиолетовые метелки колючего чертополоха, лазоревые корзиночки дикого цикория. И уж, конечно, видимо-невидимо будет желтоглазых ромашек-нивянок да бледно-розовых вьюнков, упрямо цепляющихся за сухие стебли бурьяна.

Но сегодня Николаю некогда любоваться цветами. Надо учить уроки. Здесь так удобно. Никто не мешает. Кругом ни души.

А открывать книгу не хочется. Какая-то истома сковывает тело. Лень даже пальцем пошевельнуть.

Все выше поднимается яркое весеннее солнце. Оно взошло там, где Грешнево, а теперь висит чуть не над самой головой. Припекает не на шутку. Николай отошел в тень, сел на скамейку около кустов желтой акации. Неторопливо извлек из кармана

тощую, потрепанную книжицу.

Латынь! Боже мой, какая тоска!

Говорят, что это – звучный язык Горация, Цицерона, Овидия. Как бы не так! Послушать только учителя латыни Петра Павловича Туношенского – другое скажешь.

Туношенского наука —
Учить ее скука!
Лучше в карцере сидеть,
Чем от скуки умереть!

Это друзья-гимназисты такие стихи сочинили. Не без его, Николая, участия.

Ох, и как же нудно на уроках Туношенского! Ждешь не дождешься желанного звонка. Зеваешь, аж скулы готовы треснуть.

Иное дело, когда в классе появляется Иван Семенович Топорский. Он тоже не бог весть какие веселые предметы преподает: физику, естественную историю. Но заслушаешься, когда он объясняет. Очень, очень интересно! Что ни спросишь, все растолкует. Пусть это даже прямого отношения к уроку не имеет. Вот на прошлой неделе привел он весь класс сюда, на Стрелку. Сначала собирали весенние растения для гербария. Потом учитель усадил всех на лужайке возле оврага и, потирая руки, оживленно спросил:

– А ну-те, кто из вас знает, почему этот овраг называют Медвежьим?

Все смущенно молчали.

– Медведи, чать, водились, – неуверенно сказал сипловатым голосом Мишка Златоустовский, сын ярославского купца, длинный верзила, прозванный «достань воробушка».

Кто-то фыркнул.

– Пожалуйста, не смейтесь, – заступился Иван Семенович. – Тут действительно водились медведи.

Мишка был страшно доволен. Он никак не ожидал, что попадет в самую точку – ведь отвечал наобум.

А Иван Семенович начал рассказывать, как много-много лет назад возник на этом месте город Ярославль. Дремучий, непроходимый лес шумел тогда здесь. Густые заросли колючего малинника тянулись по краям глубокого оврага. И приходили сюда большие бурые медведи с косолапыми медвежатами, лакомились спелыми, сочными ягодами.

Вот однажды плыл по Волге со своей дружиной храбрый князь Ярослав Мудрый. Хоть и хромоног он был, как в былинах сказывается, но не любил сидеть на одном месте. Все в пути, все в

дороге!

В тяжелой дубовой ладье на корме сидел князь, на берега поглядывал. Дивный край! Сколько тут дичи всякой, сколько зверей! Только вот люди редко встречаются. Должно, по лесам попрятались.

Думал Ярослав и о других делах разных, слегка головой покачивал, поглаживал курчавую бороду. И вдруг донеслись до него истошные крики:

– Помогите! Ратуйте!

Глянул князь в ту сторону, откуда голоса долетали, – что такое? Какие-то недобрые люди на парусное судно напали. Топорами, рогатинами, дрекольями машут, норовят со своих утлых лодчонок на палубу взобраться, на абордаж взять…

– Ах, нехристи! Ах, тати![11] – рассердился князь и приказал своей боевой дружине разогнать злодеев. Завязалась жестокая драка. У дружинников сил больше было. Быстро они расправились: кого ошеломили, кого потопили, кого в полон захватили. Только малому числу нападающих удалось до берега вплавь добраться и скрыться в густом лесу.

А на судне том купцы вверх по Волге, к Великому Новгороду, на торжище плыли. Уж так-то они благодарили князя за спасение, так-то низко ему в ноги кланялись.

Тут причалила княжеская ладья к высокому берегу. Прихрамывая слегка, поднялся Ярослав наверх и с большим любопытством стал округу обозревать.

Очень ему понравилось это место, и в тот же час надумал он построить на этой круче крепость. Пускай, дескать, торговый и всякий прочий люд спокойно по Волге плавает.

Вскоре здесь стены высокие бревенчатые повырастали. А по углам – круглые башни сторожевые. Стали люди вокруг селиться. И в честь князя новый город Ярославлем назвали…

Может, на самом-то деле все и иначе происходило. Но Иван Семенович так славно рассказывал, что верилось каждому слову. Николай мысленно представил себе мужественное лицо Ярослава Мудрого: умные, ясные глаза, мягкая курчавая борода. В общем, точь-в-точь, как на картине, которая висит в гимназическом актовом зале…

Однако ж пора и за латынь приниматься. Учить за него никто не будет. И Николай начал вслух повторять:

– Имена существительные женского рода оканчиваются в именительном падеже единственного числа на ас, ис, эс, ус!.. Ас, ис, эс, ус!..

Но что это? До его слуха донесся тревожный гул набата. Звуки летели откуда-то из центральной части города. Привстав на

скамейку, чтобы не мешали кусты, он увидел вдали, за черными крышами зданий, поднимавшийся кверху серый столб дыма. Пожар?

Набатный колокол гудел все сильнее, все тревожнее. И, перемахнув через кусты, Николай бросился бежать в ту сторону, где виднелся дым.

У Спасского монастыря его обогнала толпа мастеровых в испачканных суриком и белилами фартуках. Бежавшие оживленно переговаривались:

– Видать, Гостиный полыхает!

– То-то, чай, у купчишек поджилки трясутся!

Чем ближе к Гостиному, тем больше людей на улицах. Остро чувствуется запах гари. Из подворотни выскочила на трех лапах лохматая дворняжка. До чего же все собаки дурные: ужасно не любят, когда человек бежит. Так и норовят за штаны сцапать. Пришлось нагнуться за камнем. Жалобно взвизгнув, собачонка отстала, а затем снова увязалась за кем-то.

В конце грязного и узкого Проломного переулка, как в панораме, предстала пестрая картина пожара. Словно рваный лоскут кумача, трепыхало пламя. Пахло, как от гниющей падали. Николай не выдержал – нос зажал. Фу!

– Что, милок, не нравится? – засмеялся спешивший к месту пожара толстый человек с маленькими нафабренными усиками. – Давно ведомо: подле пчелки медом пахнет, подле жука – навозом. Мука загорелась. Подмочена она у купчины, для весу подмочена. Оттого и разит!

Всю улицу, тянувшуюся вдоль Гостиного двора, плотно заполонила толпа. Тут были и лакеи из дворянских домов, и приехавшие на базар деревенские мужики, и мещане из Толчковской слободы, и бородатые монахи. Смешавшись с ними, Николай внимательно прислушивался, о чем они говорили.

– В прошлом году вот так же на Рождественской дома горели, – неторопливо рассказывал худенький чиновник с красным носом, в помятом синем картузе. – Но тогда, скажу я вам, интереснее было. Прямо люминация! Настоящая, как в царский день.

– Помню, когда Бирона[12] запалили, тоже подходяще было, – шепелявил сгорбленный старикашка с трахомными веками. – Вьюношем я на пожар бегал. Уж и полыхало, уж и полыхало тогда – страсть! Все Бироново подворье подчистую огонек слизал.

– Неужели сам все видел, дедушка? – удивился чиновник. – Который же год-то тебе?

– Да уж, слава богу, к сотому близко, – крестясь, отвечал старик. – А помнить все помню. Как сейчас. Шашнадцатый годок

мне шел. Слышу, вот адак же гудёт. Бирон, бают люди, загорелся. Ах ты, ягода-малина! На Волгу, к Мякушкиному спуску, бегу. На самом берегу Биронова хоромина стояла. Гляжу, народу видимо-невидимо! Бирон энтот самый в одном исподнем у крыльца прыгает, нехорошими словами всех обзывает: вы-де русские свиньи, так и далее. И велит нам огонь тушить. А мы что – дураки? Чего ради нам в полымя лезть? Стоим да толстую Бирониху передразниваем – она по траве катается, верезжит, как зарезанная. Вот уж кто свинья так свинья! Породистая!

Забавный рассказ старика неожиданно прервался пролетевшим над толпой плачущим возгласом:

– Православные, выручайте! Товарец мой спасите!

Николай невольно глянул в ту сторону, откуда донесся голос. Кричал лысый дородный купец. Он размахивал толстыми руками у широко распахнутых дверей своего лабаза и громко причитал:

– Голубчики, озолочу! Родимые, озолочу!

Мимо Николая проскользнули два рослых парня в лаптях. Один с густо усыпанным веснушками лицом, другой – с раскосыми, как у зайца, глазами. Слышно было, как один из них, добравшись до купца, сказал:

– Эх, была не была! Где наша не пропадала! Давай по рублевику.

– Рублевик на двоих? – заегозил купец. – Изволь! С превеликим нашим удовольствием.

– Зачем на двоих? – сурово возразил парень. – По целковому на брата. Понятно?

– По целковому? – взвыл купец. – Да побойся ты бога! Грабеж! Сплошная разорения!

Он чуть не плакал, вытирая широким рукавом рубахи липкий пот со лба.

– А ты не торгуйся, почтенный. Пока торгуешься, весь твой товар сгорит. Клади по рублю, – протягивая к купцу большую мозолистую руку, произнес парень.

– Целковый с четвертаком! На двоих! – упорствовал купчина.

– Тьфу ты, окаянный! – сердито сплюнул веснушчатый парень. – Сам тогда полезай в пекло!

– Так и быть, грабь! Пользуйся разнесчастным моим положением.

Купец трясущимися руками вытянул из кармана две скомканные ассигнации и кинул парню.

Тот поймал их на лету и скомандовал своему приятелю:

– Айда, Спирька! Пошли! – и первым смело ринулся в дымный вход лабаза.

Через минуту из дверей полетели тюки плотно связанных

цветных кож. Потом загремели полуразбитые ящики с хрупкими блестящими леденцами, цветастые деревянные блюда, солонки, ложки. Купец лихорадочно укладывал их в кучу, жадно взвизгивал:

– Давай, давай!

А пожар разгорался все сильнее. Поворачивая голову из стороны в сторону, Николай видел, как из-под крыш лабазов и лавок дразняще высовывались острые языки пламени. Тысячами блестящих весенних светлячков разлетались во все стороны искры.

В лабазе купца затрещали балки. Что-то с шумом обрушилось внутри. Плотная пелена дыма закрыла черневший, как громадная пасть, вход, за которым скрылись смельчаки.

За спиной Николая испуганно ахнули:

– Ой, пропали! Ми-и-лые!

Но тревога оказалась напрасной. Когда дым немного рассеялся, парни выскочили из лабаза. Они терли глаза кулаками, отплевывались, сморкались. Лица у них были черные, как у негров.

– Фу! Насилу выбрались. Сущий ад! Геенна огненная! – запыхавшись, повторял веснушчатый парень. – Хуже, чем у черта на сковороде. Как, Спирька, дышишь?

– Дышу, – еле слышно отозвался косоглазый Спирька. – За проклятый целковый чуть жизни не лишился. Ни за какие деньги теперича не возьмусь. Пропади они пропадом!

– Как не возьмусь? – петухом налетел купец. – Рубель взял – и в кусты. Рубель-то, он на земле не валяется.

Но Спирька угрюмо молчал, потирая черную щеку. Зато старший его приятель, оттолкнув купца, стал отругиваться:

– Ах ты, злыдень поганый! Упырь! Ведьмак! Загубить нас захотел. Что мы не люди, не человеки?

Купец явно опешил, заморгал глазами. Потом широко открыл рот, хотел, должно быть, разразиться ответной бранью. Однако, видно, сообразил: не будет от этого проку. И снова заныл умоляюще:

– Братики, милые, родные, сыночки. На чердаке суконце осталось. Аглицкое. В полоску.

Хитровато блеснув глазами, купец вкрадчиво заговорил:

– По трешке не пожалею. Ей-богу! Серебром! Чуете? Мне бы только суконце. На чердаке. А?

Парни хмуро молчали.

– По пять рублев. Слышите – по пять! – заманчиво позванивал монетами купец. – Это же пустяк до чердака проскочить. А вот вам и денежки. Берите, берите!

Соблазн был велик. Сроду, наверное, парни таких денег в руках не держали.

– Может, того… решимся, Спирька?

– За этакие деньги оно бы и можно, – неуверенно отозвался тот.

Больно сжалось сердце у Николая. Ему захотелось во весь голос крикнуть: «Не надо! Погибнете!» Но разве его послушают.

– Ладно, давай! – заключил веснушчатый парень и, обернувшись к толпе, громко заговорил: – Слушайте, православные! Ежели случится что с нами, помяните Митяя Ямщикова да Спиридона Уварова. Из Бурмакина мы! Холостые! Родители у нас померши. Так что, кроме вас, помолиться за наши душеньки некому…

Густой дым закрыл парней от толпы. Слышались только выкрики купца:

– По лесенке! По лесенке! Прямехонько!

Николай не отрывал взгляда от высокого с полукруглым окном чердака на купеческом лабазе. Там послышались глухие удары. Еще секунда – и окно с грохотом обрушилось вниз. Зазвенели осколки стекол. Из окна высунулась нога в стоптанном лапте. Потом мелькнуло возбужденное лицо Митяя.

– Держи суконце! – хрипел он, натруженно кашляя.

Продолговатая кипа со свистом полетела на землю. За ней другая, третья. Вихрем поднималась сухая горячая пыль. Вот одна из кип, неудачно брошенная, развернулась в воздухе, как крыло черной огромной птицы, закрыв на мгновение огонь. Потом произошло что-то страшное. Николай вздрогнул. Передняя стена лабаза с грохотом обвалилась, открыв, как на сцене, все, что доселе скрывалось за стеной. Золотистые языки долизывали остатки купеческих товаров. Пламя неудержимо тянулось к потолку, где еще каким-то чудом держался чердак.

– Эгей, ребята! – дружно понеслось из толпы. – На крышу, на крышу! Сгорите!

Но парни и без этого предупреждения заметили уже грозившую им опасность. Они ползком выбрались на кровлю. Со всех сторон окружала их теперь огненная бушующая стихия. Даже здесь, внизу, голова кружилась у Николая. А каково им было там, наверху!

Растерянно глядели парни на гудевшую, как растревоженный рой, толпу. – «Прыгай, прыгай! – неслось к ним со всех сторон.

Легко сказать – прыгай! Наверняка голову свернешь. Что же делать? Что делать? Скоро доберется до них огонь.

Но вот Митяй перекрестился. Потом сделал движение вперед, прижал руки к бедрам и прыгнул, как мальчишка с крутого берега

в воду, ногами вниз. Толпа замерла. А от лабаза уже слышался протяжный стон:

– Ой, ногу поломал! Больно! Моченьки моей нету.

Оставшийся на крыше один на один со смертью Спирька на какое-то мгновение был забыт. Внимание толпы привлекли к себе жалобные возгласы Митяя.

Но наверху прозвучал дикий, нечеловеческий крик:

– А-а!

Огонь подобрался к самым ногам Спирьки.

Пятясь назад, Спирька добрался до печной трубы и, дрожа всем телом, спрятался за ней. Дальше отступать было некуда.

В волнении Николай стал проталкиваться вперед, не обращая внимания на ворчание и ругань задетых его локтями людей. Он еще не представлял себе, как поможет Спирьке, но неудержимо стремился к нему.

И вдруг почти над самым его ухом раздался странно знакомый голос:

– А ну, дайте дорогу! Расступись, народ честной!..

Что за чудо! Это же Степан. Он самый. И глаза, и волосы его. Только такой большой бороды у него тогда не было. Откуда он взялся?

А Степан уже около дымящегося лабаза. На плече его клетчатой ситцевой рубашки вьется, как змея, пеньковая веревка. Смачно поплевав на ладони, он потер их одна о другую. Затем, обхватив руками потрескавшуюся и облупившуюся колонну, стал ловко подниматься вверх, упираясь пятками в еле заметные кирпичные выступы.

Вот он уже под самой крышей. Огонь совсем недалеко, того и гляди к нему переметнется.

– Эй, дружок! – закричал Степан. – Держи вервие! Зачаливай за трубу! Быстрее! – и рывком бросил, бечевку на крышу, держась левой рукой за колонну.

С замиранием сердца следил Николай за ловкими движениями Степана. Какой он молодец!

Перепуганный, потерявший было всякую надежду на спасение, Спирька трясущимися руками привязал веревку к трубе.

– Крепче! Крепче! – строго приказывал Степан. – А теперича спускайся.

Спирька осторожно лег на живот и заскользил по крыше к Степану. Его лапти нависли прямо над головой неожиданного спасителя. Конец веревки лишь немного не доставал до земли. Спрыгнуть с такой высоты – пустое дело. За ним спустился и Степан, спустился спокойно, как будто ничего и не случилось, словно он, как на ярмарке, ради забавы на столб лазил и ничто

ему не угрожало.

Николаю очень захотелось пробраться к Степану, крепко-крепко пожать ему руку.

Но это не так-то просто. Его со всех сторон окружили люди, незнакомые, неизвестные, простого звания и рода, обнимали его за плечи, совали в карманы деньги:

– Это тебе за доброе дело! Выпей, браток, на здоровье!

Упав на колени, слезно целовал босые Степановы ноги спасенный им Спирька:

– Век за тебя молиться буду. До гробовой доски! До сырой могилы!

А Степан растерянно смотрел на покрасневшие ладони:

– Эх-ма! Как же теперь работать? Пузыри, надо быть, вскочат.

– Квартальный идет! – возвестил кто-то.

Степана словно за рубаху дернули. Он стремительно рванулся в сторону. Толпа почтительно расступилась перед ним, не понимая, куда торопится храбрый парень.

Вслед за ним увязался и Николай. Сначала шагал на почтительном расстоянии от него, потом догнал и радостно произнес за его спиной:

– Здравствуй, Степан!

Тот быстро обернулся. В глазах мелькнула тревога:

– Кто? – Но тут же узнал, успокоился. – Никак барич, Николай Лексеич! А я думал – квартальный.

– Я, это я, – взволнованно повторял Николай, – не бойся. Очень рад, что тебя увидел.

– Вот и спасибо, Николай Лексеич, – оживляясь, ответил Степан. – Душа у тебя хорошая, как у твоей матушки. В городе-то учишься, что ли?

– Учусь. В гимназии.

Дуя на обожженные ладони, Степан спустился к Которосли. Неудержимая сила тянула Николая за ним.

Засучив полосатые, сшитые из затрапезновки[13] штаны, Степан вошел в воду, долго и старательно натирая руки мягкой глиной. Изредка он как-то стесненно спрашивал:

– Давно ли из Грешнева, Николай Лексеич? Как-то там наши поживают?…

Николай сел на корявый пень, выброшенный рекой на берег. Выйдя из воды, Степан опустился рядом на траву, сорвал сухую былинку и, неторопливо жуя ее, горько усмехнулся:

– Подался я тогда из Грешнева в лес. Думал, отлежусь до поры до времени, как медведь в берлоге. Но только зима, брат, она – не теща, пирогов не напечет. Холодно, голодно! Ночь постылая, студеная наступит, а я лежу в землянке один-

одинешенек, худой дерюжкой укрываюсь. А от нее известно какой сугрев. И слышу – волки! Сядут у входа, лапами снег разгребают, зубами щелкают. Эдак до самого утра никакого покоя нет.

Степан выплюнул травинку, приподнялся на локти и болезненно поморщился:

– Так и знал: волдыри вздуваются, будь они неладны!

Осторожно махая ладонями, как птица крыльями, Степан продолжал:

– До Николы кое-как протянул. А как декабрьские морозы затрещали вовсю, моченьки моей нет! Эх, думаю, помирать, так уж на людях. На миру и смерть красна! Будь что будет! Решился я в Ярославль пойти. Вдоль Волги, бережком. Помню, до города, почитай, версты три оставалось, а я совсем из сил выбился. До этого с неделю ничего, кроме клюквы подснежной, не ел. Ползу на четвереньках, как собака бездомная. Уже и со светом белым распрощался, вот-вот замерзну! И вдруг на негаданное счастье мое – землянка. Прямо в открытом полюшке. Слышу – голоса! Люди, человеки! Постучался я кулаком в деревянную дверцу – не отвечают. Я еще, на последних моих сил. А в ответ голос: «Какого черта там дьяволы носят? А ну, влезай!» Я и влез. Еле живехонек, пальцы на ноге горят. Народ в землянке оказался добрый. Давай мне ноги оттирать снегом, потом спать с собой положили. Бок к боку, не повернешься. Но в тесноте – не в обиде…

«А не тихменевские ли то мужики, которые в лес убежали?» – мелькнула догадка у Николая, но он не решился сказать об этом Степану. Он только спросил, что за люди были в землянке.

– Несчастные люди, – ответил Степан, – зимогорами их зовут. Летом они еще туда-сюда перебиваются, а как зима – горе для них горькое. Бродяги да нищие. Вот и я к ним пристал. Благо, никто меня здесь не трогал. Думал, придет лето красное в бурлаки подамся.

Степан тяжко вздохнул. Видно, нелегко ему было ворошить нерадостные свои воспоминания.

– Ан, не вышло по-моему! – огорченно воскликнул он. – К весне нагрянули на нас солдаты. Погнали в острог. А здесь каждого смертным боем били, выпытывая: «Кто таков есть? Какого рода-племени? Из какой местности происходишь?» Понятно дело, я своим истинным именем не назвался. Самарский, говорю, мещанин. Из дома, говорю, по причине горького запоя ушедши. «А пачпорт?» Вытянули, говорю, у пьяного не знамо где… Эдак неделя, другая проходит. Только как-то раз, глядим, заявился в острог детина – в плисовых штанах, в красной шелковой рубахе, в хромовых сапогах со скрипом. Ходит меж нами, бесстыдно посвистывает и тех, кто покрепче здоровьем, в

грудь пухлым пальцем тычет: «Этого, приговаривает, беру, и этого, и этого!» А рядом с ним – острожные начальники: низко кланяются, зубы скалят умильным манером. И меня он ткнул: «Этого тоже, дескать, беру». А тут конвойные кричат: «Выходи!» На дворе скрутили нас веревкой в один ряд и погнали в неведомом направлении.

Глянув на гористый берег, Степан равнодушно произнес:

– Кажись, потушили. Дыму-то не стало вроде.

– Ну, а дальше, дальше? – торопил Николай.

– Дальше – что дальше? Ничего, конечно, хорошего! Это нас купец Собакин купил, как скотину на ярмарке. Для своей фабричной мануфактуры. Да еще сказал нам тогда: «Благодарите господа бога! Дешево отделались! Без меня на каторгу бы вас запрятали!» А у Собакина ничуть не лучше каторги. Спину гнем с утра до поздней ноченьки. Спим в сараях. Мрем, как мухи! На мое счастье, грамота меня малость выручает. Добрым словом Александра Николаича вспоминаю. Спасибо ему: читать-писать научил. Теперь иной раз даже в город по хозяйским делам меня отпускают. Вот и с тобой, Николай Лексеич, встретились…

Степан помолчал. Затем, волнуясь, заговорил снова:

– Давеча, как крикнули: «Квартальный!» – ажио пот меня прошиб. Заберут, думаю, в участок, начнут допрос чинить: откуда, кто такой? Не приведи бог опять на «девятую половину» угодить… Я, может, еще до Питера доберусь. Сказывают, иные из нашего брата даже в академию попадают. Рисовать да лепить учатся. Вот бы и мне посчастливило.

– Я такое имею намерение, – зашептал он еще тише, – самому царю-батюшке прошение подать. Бают, он добрый, о работных людях печется. Вот только князья, которые вокруг него, неправедные. Укрывают от него правду-матку. Эх, Николай Лексеич! Такое хочется на бумаге написать, чтобы земля от жалости зарыдала. От самой что ни на есть чистой душевности сказать про мое желание. Сбудется ли только думка моя заветная?

На звоннице Спасского монастыря пробило девять.

– Ой, мне пора! – заторопился Николай, быстро поднимаясь с коряги. – Один урок уже пропустил. На второй не опоздать бы.

На лице Степана тоже появилась озабоченность:

– Беги, беги, Николай Лексеич! Понимаю. Дело твое тоже подневольное. Опоздаешь, небось по головке не погладят. Не посмотрят, что благородный…

Взбежав на крутой берег, Николай обернулся и приветливо замахал книгой:

– Не печалься, Степан! Сбудется твоя думка. А мы еще

увидимся. А?

Степан что-то крикнул в ответ, но рванувший с Волги ветер отнес его слова в сторону.

В классе

…Вспомнил я тогда
Счастливой юности года,
Когда придешь, бывало, в класс
И знаешь: сечь начнут сейчас.

Н. Некрасов. «Суд»

О том, что надзирателя зовут Серапионом Архангеловичем, гимназисты вспоминали лишь в тех случаях, когда он застигал их на «месте преступления» и волей-неволей приходилось обращаться к нему по имени-отчеству, униженно выпрашивая прощение. Правда, это было совершенно бесполезно, потому что надзиратель никогда и никого не прощал. Умоляющий крик: «Смилуйтесь, Серапион Архангелович! Пощадите!» – на него ни капельки не действовал. Он не только непременно доносил «по начальству» о случившемся, пусть даже самом пустяковом происшествии, но и прибавлял немалую толику своей неистощимо коварной фантазии. Все это и закрепило за ним кличку Иуда.

Высокий, сутулый, узколицый, с сухими, казалось, шершавыми щеками, он без устали шаркал войлочными ботами по сырым полутемным коридорам гимназии, позвякивая связкой ключей. Голос у него тихий, вкрадчивый, с легким присвистом, переходящим в шипение.

Запыхавшись от быстрого бега, Николай явился в гимназию ровно за минуту до начала второго урока. Больше всего он боялся наскочить в коридоре на Иуду. Но, к счастью, его нигде не было видно. Красный, потный, с расстегнувшимся воротом, Николай открыл рассохшуюся и скрипучую классную дверь. Всего несколько шагов оставалось до его места на «Камчатке».

Но что это? Кто-то прыгнул ему на мокрую спину и, обхватив за шею, весело припевал:

– Сваты опоздали, сани поломали! Но, но!

Это Коська Щукин. Вечно выкинет какое-нибудь коленце.

– Пусти! – досадливо тряхнул плечами Николай. – А то как трахну!

Коська стремглав спрыгнул на пол: за дверью слышался грузный топот шагов. Приближался учитель французского языка Карл Карлович Турне.

Не поворачивая головы, гулко стуча высокими сапогами, Карл Карлович важно прошествовал на кафедру. Как заведенный

оловянный солдатик, он механически повернулся вполоборота, заученным движением уронил на стол продолговатый классный журнал и коротко произнес:

– Здрысс!

Гимназисты, стоя, недружно ответили на приветствие. Урок начался.

– Глушицкий! – послышался голос Карла Карловича. – Ко мне!

Белокурый красавец Глушицкий нехотя поднялся со скамьи и неторопливо направился к столу учителя.

– Шитать и переводить! – строго приказал Турне, тыкая пальцем в лежащую перед ним книгу. – С франсе на рюсске! Нашинай…

Хотя Карл Карлович иной раз и называл себя французом (он родился во французской области Эльзасе), на самом же деле был чистокровным немцем. Плотный, упитанный, широкоплечий, с манерами бравого прусского вояки. Под его большим красным носом внушительно топорщились туго закрученные рыжие усы. И двигался он, как солдат на параде, лихо выбрасывая вперед негнущуюся жирную ногу.

Карл Карлович попал в Ярославль в памятном 1812 году. Его пригнали сюда вместе с пленными, захваченными после Бородинского сражения. Однако ему повезло: в Ярославле начали формировать иностранный легион из пленных солдат и офицеров, насильно мобилизованных Наполеоном в захваченных им государствах.

Воевать снова Карлу Карловичу не хотелось, и он был рад, когда узнал, что Наполеон бежал из Москвы. Судьба «великой армии» была решена и без Турне. А Карл Карлович не пожелал возвращаться к себе на родину. Его отнюдь не прельщала должность мелкого служащего в меновой лавке: грошовые заработки! Женившись на вдове ярославского купца, владевшей собственным двухэтажным домом на живописном берегу Волги, он вскоре получил место учителя иностранных языков в губернской гимназии и устроился здесь на долгие годы…

Вызванный к столу Глушицкий уверенно переводил фразу за фразой. Он немножко рисовался перед классом, потому что в отличие от многих других хорошо знал французский. Но именно за это Турне недолюбливал его.

– Ты есть не лучше меня, – ворчал он обычно, в нерешительности держа в руке карандаш и, наконец, ставя в журнале тройку. Но на этот раз Карл Карлович без колебаний, твердо вывел против фамилии Глушицкого жирное два.

– Карл Карлович, почему двойка? – с обидой спросил

Глушицкий. – Я ведь точно перевел. Ни единой ошибочки!

– Как, ты имел спрашивать, пошему? – грозно стукнув линейкой по столу, вскочил учитель. – Ты не знайт по-настоящи с франсе на рюсске. Да, не знайт!

– Неправда, Карл Карлович, – упрямо продолжал Глушицкий. – Я хорошо знаю. Хоть кого спросите.

– Он знает! – выкрикнул вдруг с места Мишка Златоустовский.

– Знает, знает! – неожиданно понеслось со всех концов.

Воинственно привстав со стула, Турне рявкнул, как фельдфебель на молодых солдат:

– Смирно! Молшать!

Но не тут-то было: класс гудел, как осиный рой:

– Знает, знает!

И Николай включился в общий хор. Его голос дружно слился вместе с другими:

– Знает, знает!

Сердито топорща усы и бессмысленно вращая покрасневшими белками глаз, Турне безуспешно требовал тишины.

– Это есть ушасно! – прикладывая руку к груди, качал он головой. – О, рюсски каналья! Коро-шо! Я буду поставлять три. Слюшайте – три!

После вынужденного отступления учителя в классе стало наконец тихо. Карл Карлович не отличался особой стойкостью характера: невероятный трус в душе, он больше всего на свете боялся скандалов, которые могли бы привлечь внимание начальства. И, стремясь окончательно успокоить взбунтовавшихся школяров, он, причмокивая, начал читать вслух уже знакомые старинные французские стихи, в которых воспевались прелести походной солдатской жизни с кабачками, с шипучим вином и красивыми поселянками.

А Николаю было не до французских стихов. Его глаза, опущенные вниз, скользили по страницам скрытой от посторонних взоров книги. На потрепанной ее обложке было длинно написано:

Джордж Гордон Байрон

«КОРСАР»

Романтическая трагедия в трех действиях

Перевод В. Н Олина

Санкт-Петербург

1827 г.

Ничего не замечал он вокруг себя: ни душного, пропитанного пылью и вонью класса, ни стриженой, со следами лишая головы Мишки Златоустовского, ни учительского стола с большим заржавленным замком сбоку, ни неуклюжей громадины-доски с березовым ящиком для мела и тряпки. И в ушах его звучал не брюзгливый голос красноносого Карла Карловича, а гордая песня корсаров – морских разбойников. Смело носятся их белые паруса по бушующим океанским просторам. Не страшны отважным пиратам штормы и ураганы. Только в открытом море, где стерегут их грозные опасности, чувствуют они себя счастливыми.

У морских разбойников храбрый атаман. Его имя Конрад. Он горячо любит девушку Медору и, отправляясь в дальний путь, клянется ей в верности до конца жизни…

Из коридора донесся дребезжащий звук медного колокольчика. Урок кончился. Все спешили на перемену. Но Николай остался в классе. Ему не хотелось отрываться от увлекательной книги.

– Эй, Никола! – открыв дверь класса, позвал Мишка Златоустовский. – Выходи скорее. Поиграем!

Будь он неладен, этот Мишка! До игры ли тут, когда Конрад попал в плен. Захватил его коварный Сеид-паша, тот самый Сеид-паша, который всего несколько минут назад в страхе перед корсарами вырвал у себя пышную крашеную бороду. Пропал Конрад. Заточили его в мрачную тюрьму, а на рассвете отрубят голову.

– Да иди ж ты, бисов сын! – загорланил над самым ухом Мишка. – Без тебя какая игра…

«Вот не вовремя привязался», – с досадой думал Николай, шагая рядом с Мишкой в шумный рекреационный зал.[14] А там уже такое творится, что и описать невозможно. «Всюду крик, и гам, и смех – чертобесие во всех!» Это так в гимназической песенке поется.

– А я, братцы, на пожаре был. Ну и здорово полыхало, – начал было рассказывать Николай.

– Ладно, ладно! – перебил его Коська Щукин. – Знаем сами: дрожит свинка – золотая щетинка. Вот тебе и пожар. А ты давай, брат, отваживайся. За вчерашнее. Протяни-ка руку, закрой глаза,

отвернись. Их, э-ех! Пошли-поехали!

Гимназисты больно шлепали Николая по раскрытой ладони и хором спрашивали:

– Кто?

Мишка сразу себя выдал. Только он один мог ударить с такой силой.

После перемены Николай снова уткнулся в книгу. Второй урок – закон божий – проходил довольно мирно. Учитель – отец Апполос, упитанный, с масляными глазами, не особенно утруждал себя. Он вызвал к столу своего любимца Никашку Розова, отличавшегося певучим и сладким голосом, вручил ему толстую книгу «Деяния апостолов».

– Чти, сыне! Отсюдова и досюдова! – слегка заикаясь, произнес он, ткнув пальцем в открытую страницу. – Чти с вдохновением евангельским, отроче!

Приложив руку к полной румяной щеке, Апполос поднял глаза к потолку и мечтательно уставился в одну точку.

Никашка старался вовсю. Голос его журчал и переливался. Много в нем было и елея, и меда, и кротости. Но никто его не слушал. Каждый занимался своим делом. Мишка Златоустовский пересчитывал медяки, Коська Щукин вырезал на парте свои инициалы. А Коля читал «Корсара». Он дошел уже до того места, где появляется коварная Гюльнара. Неужели соблазнит она Конрада, или останется он верен своей клятве?

Урок отца Апполоса показался очень коротким. Дочитать «Корсара» до конца Николай опять не успел. А на следующем уроке не почитаешь! Его вел учитель грамматики Мартын Силыч, Мартышка. Он все заметит, все увидит. Даже Златоустовский на его уроках был тише воды, ниже травы. Не учитель, а злой дух какой-то! Асмодей![15]

Мартын Силыч, коротконогий, большеголовый, не вошел, а вкатился в класс, как шар. На ходу он дернул за ухо без всякого к тому повода сидевшего в первом ряду Коську Щукина. Тот скорчил болезненную гримасу, однако не вскрикнул.

– Где Горшков? – скользя между партами, пропищал Мартын Силыч, обладавший невероятно высоким фальцетом.

– Я здесь, Мартын Силыч! – испуганно поднялся из-за парты голубоглазый, с выпяченной нижней губой гимназист.

– Ты кто? Как твоя фамилия? – подскочил к нему учитель.

– Горшков!

– Горшков? Но я, кажется, ясно произнес: Горошков! Или, может быть, не ясно? Го-рош-ков!

Спорить было бесполезно. На противоположной стороне встал чернявый, горбоносый, похожий на черкеса Горошков:

– Я тоже здесь, Мартын Силыч!

– Собака, и та свою кличку знает, – противно хихикнул учитель. – А эти – ни в зуб ногой. Иваны непомнящие! Кто Горшков, кто Горошков – разобраться не могут. Ей-богу, прикажу на лбу начертить. Нынче же прикажу!

До чего надоела Николаю эта комедия! Уже не первый день продолжается она. Бедные Горшочек с Горошком! И зачем у них такие фамилии? Хотя, если разобраться, ничего смешного в них нет. Обыкновенные русские фамилии.

– Горшков! – вновь возник тонкий, как комариный писк, голос учителя. – Отвечать!

И оба гимназиста, голубоглазый и чернявый, застыли перед тускло поблескивавшей доской.

– Склонять! – пропищал Мартын Силыч. – Тебе – горшок, тебе – горох. Быстро!

«Именительный – горшок, – пишет с левой стороны доски голубоглазый Горшков, – родительный – горшка, дательный – горшку…» А чернявый Горошков в поте лица своего усиленно склоняет: «горох, гороха, гороху…»

Отпустив Горошкова и Горшкова, Мартын Силыч начал диктовать. Писали все. Писали не за совесть, а за страх: не приведи бог привлечь внимание учителя! Николай тоже торопливо водил пером по бумаге. Диктант назидательный и с открытым намеком каждому:

Розга ум острит, Память изощряет И злую волю В благо претворяет…

За спиной Николая появился Мартын Силыч. Поднявшись на цыпочки, он заглянул в тетрадь.

– Фи, какая грязь! Кто же так пишет? Кто? Неряха! Пачкун! Не тетрадь – Авгиевы конюшни! – залпом выпалил он, хватая Николая за руку. С силой повернув ладонь вверх, Мартын Силыч больно заколотил по ней линейкой. Раз, раз, раз!

Напрасно пытался вырваться Николай. Рука его была зажата, как в тисках.

– Не марай, не марай! – визгливо повторял Мартын, со свистом ударяя по красной ладони.

Долго не переставала гореть ладонь. Подувая на нее, Николай сверкнул глазами: «Проклятый! Как я его ненавижу».

– Знаешь что, – заговорщически зашептал ему Мишка, – давай сочиним про него стихи. Обидные! Ты начнешь – я кончу. Так?

Николай согласно кивнул головой. Он и сам об этом думал. Только надо написать похлеще, посмешнее. Ну, к примеру, так:

У Мартына на плеши Разыгралися три вши…

А ведь, кажется, неплохо? И дальше:

Одна пляшет, друга скачет; Третья песенки поет; Третья песенки поет, Спать Мартышке не дает…

Теперь еще бы что-нибудь добавить. Поядовитее! Однако пускай сам Мишка думает.

Он незаметно передал Златоустовскому узенький листочек бумаги с только что родившимся стихотворением.

Мишка прочел с удовольствием. По лицу видно. Ухмыльнулся, почесал в затылке, глаза под лоб завел – должно быть, сочиняет. Вот наконец он что-то написал на бумажке и сунул ее Некрасову. В самом конце листка измененным, совсем не Мишкиным почерком (ишь, хитрый какой!) было приписано:

А усатый таракан
По Мартышке проскакал.

«Ничего! Терпимо! Можно в публику пускать», – решил Николай. Пусть первым читателем будет Коська Щукин. Он лучше других в стихах разбирается.

Коська прочел бумажку и прыснул от смеха. Что там за шум на «Камчатке»? Мартын рывком устремился туда. Но ничего предосудительного он не обнаружил. Все сидели тихо, опустив глаза в тетради.

– Гм, – недоуменно хмыкнул учитель и, повернувшись спиной к Коське Щукину, с недоверием прислушался: порядок был полный.

Мартын Силыч покатился к кафедре. А сзади, на пуговице его сюртука, висела бумажка. Сидевшим в первом ряду не представляло особого труда прочесть на ней:

У Мартына на плеши
Разыгралися три вши…

Кто-то громко хохотнул в кулак.

Мартын резко обернулся:

– Что? Что такое?

Но в коридоре зазвенел долгожданный колокольчик. Не задерживаясь, учитель (молниеносно скрылся за дверью. У него было золотое правило: ни секунды не оставаться в классе сверх положенного на урок времени.

Громкий, ничем не сдерживаемый хохот полетел за ним вслед. Смеялись и те, кто успел прочесть стихотворение, и те, кто не понимал еще, в чем дело, но заражался общим весельем.

Выйдя в коридор, Златоустовский догнал Коську Щукина.

– Эх ты, голова садовая, – с укоризной сказал он. – Повесить-то повесил, а не сорвал. Начнется теперь катавасия. Будет нам на орехи.

– Как же сорвешь-то? – смущенно оправдывался Коська. – Сам знаешь: он окаянный! Оглянуться не успели, его и след простыл.

Побрякивая ключами, по коридору медленно двигался Иуда. Вот он заглянул в открытую дверь класса. Николай сидел за партой, дочитывая «Корсара».

– А-а! Ты здесь, сударь! – просвистел надзиратель. – Пожалуйка к инспектору. Со мной пойдем, со мной.

В горле сразу сделалось сухо. Успев засунуть книгу поглубже в парту, Николай с опущенной головой вышел из класса. Иуда повел его по коридору в кабинет инспектора. У окна стоял Мишка и ободряюще смотрел на приятеля. В глазах его можно было без труда прочесть: не бойся, держись смелее! Мы все с тобой!

Инспектор гимназии Порфирий Иванович Величковский всем видом оправдывал свою фамилию. Высокого роста, в меру полный для своих пятидесяти лет, с гладко зачесанными седыми волосами, он держался важно, с достоинством. Величковский являлся фактическим хозяином гимназии, потому что ее директор Алексей Фомич Клименко одновременно занимал пост директора Демидовского лицея, доставлявшего ему массу забот и хлопот. В гимназии его видели редко, разве лишь в высокоторжественные или отмеченные каким-нибудь сверхобычным происшествием дни.

Порфирий Иванович сидел за столом, углубись в лежавшие перед ним бумаги, когда Иуда втолкнул в дверь кабинета Николая. Инспектор поднял голову. Холодно и сурово блеснули стекла пенсне.

– Так это вы, господин Некрасов? – зазвучал его вкрадчивый, с бархатными нотками голос. – Подойдите ко мне!

Величковский выделялся среди учителей редкостной вежливостью. Он даже учеников не называл на «ты».

Николай приблизился к столу. Из-за спины инспектора с холста огромной картины смотрел строгий человек с круглыми, навыкате глазами, с закрученными, как у Карла Карловича, усиками – император всероссийский, Николай Первый…

– Я вызвал вас, душенька, для очень серьезного разговора, – не повышая тона, продолжал Величковский.

В другое время Николай улыбнулся бы, услышав слово «душенька». Это было прозвище инспектора. Гимназисты между собой иначе его и не называли. Но теперь было не до смеха. Понурив голову, он молча слушал, как медлительно и бесстрастно звучит голос Порфирия Ивановича:

– Мне известно, что вы не отличаетесь ни хорошими успехами, ни примерным поведением. Сидите по два года в одном классе? Не так ли, душенька?

Николай ничего не ответил.

– Ну вот, видите, молчание – знак согласия. Значит, я говорю сущую правду. Почему же вы тогда, душенька, не изволите стараться? Почему у вас по-прежнему больше чем достаточно неудовлетворительных баллов? А?

Николай по-прежнему молчал. Щеки его становились пунцовыми.

А допрос не прекращался.

– Может быть, вы мне скажете также, почему ваш почтенный родитель не желает платить деньги за обучение своих детей? Сорок восемь рублей!

Вынув из кармана серебряную табакерку, Величковский осторожно взял двумя пальцами щепотку табаку.

– Вы, вероятно, не знаете, душенька, что когда мы покорнейше напомнили вашему родителю о долге, он ответил нам совершенно в непристойном духе?

Сказав это, Величковский поднес понюшку к носу, чихнул. Затем аккуратно вытер нос батистовым платком, от которого исходил тонкий запах духов.

– Не желаете ли послушать, душенька, письмо вашего батюшки? Охотно доставлю вам это удовольствие.

Он взял со стола мелко исписанный лист бумаги и начал читать:

– «Милостивый государь Порфирий Иванович! На письмо ваше касательно сорока осьми рублей за обучающихся в Ярославской гимназии детей моих, Андрея и Николая, честь имею ответить, что по обыкновенному порядку всякие с дворян требования производятся через их губернского предводителя, без разрешения коего, яко попечителя Ярославской гимназии, я само собою и при всем желании моем уплатить упомянутых денег теперь не могу…»

Прервав чтение, инспектор бросил на Николая презрительный взгляд. За спиной послышалось покашливание Иуды, в котором тоже чувствовалось осуждение.

– И у вашего отца не дрогнула рука подлинно подписать эту возмутительную грамоту, – снова заговорил Величковский. – Вот, пожалуйста: «С непременным к вам почтением имею честь быть ваш, милостивейший государь, покорнейший слуга Алексей Некрасов». Нет уж, увольте от такого слуги.

Порфирий Иванович сложил письмо вчетверо и язвительно воскликнул:

– Через губернского предводителя?… Хм! Может, через министра прикажете? Платить деньги за обучение детей – святой и беспременный долг каждого родителя. Есть устав гимназии, есть высочайшая воля, наконец!

Инспектор устало откинулся на спинку кресла. А Николай и краснел и бледнел. Чего угодно ожидал он, но только не такого унижения. Конечно, отец поступает нехорошо. Но почему же Порфирий Иванович не скажет ему об этом сам? Почему не объяснится с ним лично? Разве он, Николай, может отвечать за отца?

Постучав ногтем по серебряной табакерке и, словно читая мысли стоявшего перед ним гимназиста, Величковский уже спокойнее сказал:

– Не скрою: мне предстоит неприятный разговор с вашим батюшкой. Я просил его срочно прибыть ко мне. Надеюсь, это не явится для него обременительным. Речь идет о его собственных детях, будущее которых не может быть ему безразличным.

Казалось, все идет к концу. Николай обрадовался. Значит, история с Мартыном еще не дошла до инспектора. Это хорошо!

Но радость оказалась преждевременной. Наклонившись к столу, Величковский поднял над головой злополучный листок с злосчастным стихотворением о Мартыне.

– Вам, надеюсь, знакомо это кощунственное и непотребное творение?

Взгляд Порфирия Ивановича сверлил, как бурав. Запираться было бесполезно.

– Да, господин инспектор! – чуточку помедлив, глухо ответил Николай.

Величковский не ожидал такого быстрого хода дела. Он изумленно крякнул и заерзал в кресле.

– Похвально, похвально! – произнес, наконец, он. – Искреннее признание уже искупает часть вины. Но только часть! И, конечно, не самую большую! Однако этот пасквиль написан не одной вашей рукой. Тут еще кто-то постарался. Кто же, душенька? Назовите имя вашего соучастника?

– Соучастника? – притворно переспросил Николай, невинными глазами глядя на Величковского. – Я ничего не знаю.

– Ах, та-к? Не знаете? А касательно таракана тоже вы изволили сочинить, душенька?

– Таракана? Какого таракана?

– Не валяйте дурака, душенька! – снова начал сердиться инспектор. – Вы хотите, чтобы я устроил вам допрос по всей форме? Говорите правду!

Николай молчал.

– А я еще похвалил вас за чистосердечное признание, душенька. Ай-ай-ай! – укоризненно закачал головой Величковский. – И знаете: мне даже показалось, что вы не совсем потерянный молодой человек. Между тем это упорное запирательство рисует вас в совершенно ином свете. Вы, как опытный, закоренелый преступник, признаетесь лишь в том, в чем невозможно уже не признаться… В последний раз спрашиваю вас, душенька: кто соучастник?

Ответа не последовало.

Выйдя из-за стола, инспектор подошел к Некрасову вплотную и взял его пухлыми пальцами за подбородок.

– Знаете ли вы, душенька, что такое морэ майорум? – прищурившись, спросил он. – Впрочем, откуда вам знать. Какой балл имеете вы по латыни?

– Два! – покраснел Николай.

– Вот видите, душенька, два! Были, наверное, и колы. Я в этом более чем уверен. Как же вам знать, что такое морэ майорум. Извольте, так и быть, я раскрою вам секрет. Морэ майорум – значит «по обычаю предков». А какой обычай был у наших предков? Наказывать за лживость и нерадивость. Чем наказывать, как вы думаете? – обернулся Величковский к Иуде.

– Розгами-с, Порфирий Иванович, розгами-с! – угодливо скаля осколки черных зубов, просвистел Иуда. – Позвольте и еще доложить: он сегодня первый урок манкировал. По улицам шататься изволил.

– Тогда тем более! Двадцать пять! – и, обернувшись к Николаю, резко добавил: – Идите!

Как только дверь кабинета закрылась, Порфирий Иванович театрально воздел руки кверху и простонал:

– Бог мой! Я решительно не понимаю современных молодых людей. О чем они думают? Куда стремятся? Что из них получится? Оболтусы!

Опустившись в кресло и не обращая внимания на застывшего у дверей Иуду, он продолжал:

– Ярославль – это вообще скопище мошенников и плутов. В этом я больше чем убедился, живя здесь, к сожалению, целую четверть века. Вот, изволите ли видеть: был я недавно, проездом через Москву, на приеме у его сиятельства графа Сергея Григорьевича Строганова, высокочтимого попечителя нашего учебного округа. Вхожу к нему, представляюсь, как полагается. А он меня сразу словно обухом по голове: «Ах, вы из Ярославской гимназии? Говорят, у вас все ученики – разбойники. Правда ли это?» Каково мое положение: разбойники! А ведь я их воспитываю, я за них перед богом, царем и отечеством

ответственность несу. Ну, разве не разбойник этот самый Некрасов, скажите мне?

– Сущий разбойник-с, Порфирий Иванович, хоша и дворянский сын, – переступая с ноги на ногу, подтвердил Иуда. – И стишки эти поганые давно маракует. В тетрадях у него лично обнаруживал…

Словно только теперь заметив присутствие надзирателя, Величковский устремил взор на него:

– Стишки, говорите? Вот вы и распорядитесь, Серапион Архангелович. В среду. Вне всякой очереди! А также личность соучастника установите. Непременно.

Иуда подобострастно склонил голову:

– Все будет исполнено, Порфирий Иванович! В самом акурате-с…

Среда была судным днем в гимназии. В среду секли розгами виноватых и невинных, секли у крыльца черного входа, около колокольчика, возвещавшего начало и конец занятий…

Выйдя из кабинета, Николай твердо сказал себе: «Нет, он больше не ляжет на холодную, с острыми занозами плаху-скамью. Довольно! Хватит!»

Решение это пришло как-то сразу. Никакая сила не заставит его теперь явиться на позорную экзекуцию. Будь что будет!

Хорошо бы скрыться, убежать куда-нибудь. Но куда? К пиратам, на море? Ничего не выйдет. Даже до самого ближайшего моря ой-ой как далеко. Да есть ли там теперь пираты? Храброго Конрада давным-давно нет. И Байрон умер – вдали от родины, в Греции, защищая ее свободу.

Нет, никуда не убежишь, никуда не скроешься. Одно только и остается: быть похожим на отважного Конрада, ничего не бояться, ни перед чем не отступать! И он станет таким – гордым, храбрым. Даже отец ему теперь не страшен. Пускай гневается, пускай кричит – все равно не будет Николай под розгами. Никогда!

Серое небо

Я, собственно, более предпочитал проводить классное время в попутном Цареградском трактире…

Из письма Н. Некрасова товарищу по гимназии

В бильярдной накурено донельзя. Духота. В сизом воздухе – топор вешай. По зеленому сукну катаются и сухо щелкают блестящие желтовато-белые шары. То и дело слышатся возгласы:

– Дуплетом в угол!

– От борта к себе е середину!

Сегодня среда. Верный себе, Николай не пошел в гимназию. Он здесь, в бильярдной. Играет с молодым, но уже отрастившим себе пышные усы подпоручиком, прибывшим в отпуск с Кавказа. Подпоручик близорук. Его удары неточны, шары упорно не хотят падать в лузу. Но зато амбиции у него – хоть отбавляй!

– Вы – мальчишка, – высокомерно твердит он, делая очередной «мазок». – Имейте в виду: играю с вами исключительно ради времяпрепровождения. Просто нет подходящего партнера. А если возьмусь всерьез, от вас, милейший, пух полетит, как от щипаного гуся!

– От двух бортов в угол налево! – словно не слыша обидных слов, объявляет Николай и уверенной рукой отводит кий назад. Звонкий меткий удар. Шар в лузе. Подпоручик раздраженно барабанит тонкими пальцами по краю неуклюжего бильярдного стола на толстых, похожих на медвежьи лапы ножках.

Скоро год с тех пор, как Николай стал завсегдатаем бильярдной трактира «Царьград». Произошло это так. Приехав в Ярославль, братья Некрасовы поселились в нижнем этаже большого купеческого дома на Воскресенской улице, по соседству с гимназией. В гимназический пансионат отец их не отдал: «Очень уж дорогое удовольствие, снять квартиру – куда дешевле».

Для наблюдения за сыновьями Алексей Сергеевич приставил к ним дядьку, своего лакея Кондратия. Это был уже немолодой человек, видавший на своем веку всякие виды. Он постиг даже грамоту и постоянно читал потрепанную книжку про Еруслана Лазаревича. Не обременяя себя никакими заботами, Кондратий выдавал баричам каждое утро по тридцать копеек на пропитание: «Покупайте сами, что душе угодно!» Сообразительный дядька

вскоре пристроился на должность маркера в бильярдной при соседнем ресторане «Царьград». И потекла у него привольная жизнь. «Рубаха пике и нос в табаке», – самодовольно похвалялся он знакомым лакеям. А где деньги – там вино. Поэтому Кондратий редкий день бывал трезвым, или, по его выражению, тверезым.

– Где ты пропадаешь? – сердито спросил его однажды Николай.

Кондратий плутовато заулыбался:

– А уж в таком ли, Миколай Лексеич, интересном заведении, что и вам бы не грех туда заглянуть. Сущее наслаждение для души.

Он привел Николая в бильярдную и очень скоро обучил его игре. Ученик был не из бездарных. Уже через какой-нибудь месяц он имел вполне приличные для начинающего успехи.

И вот сейчас Николай обыгрывал подпоручика. Тот нервничал все больше. Лицо его горело. Резким движением он расстегнул мундир и небрежно бросил его стоявшему в углу денщику, седоусому солдату с медалью на груди.

Началась новая партия. Николай опять вышел победителем.

– Не пожелаете ли еще одну? – простодушно спросил он партнера, натирая мелом кончик кия.

– Нет! – неприятно взвизгнул подпоручик. – Довольно! Финита ля комедиа![16] Мне надоело. Хочу только спросить господина гимназиста: как он сюда попал? Не следует ли поставить в известность об этом директора гимназии?

С грохотом бросив кий в угол, подпоручик круто повернулся к денщику:

– Надевай!

Старый солдат поспешно шагнул вперед, бережно растянув обеими руками мундир.

– Как держишь? Как держишь, спрашиваю? – захрипел вдруг подпоручик. – Скотина! Я тебя научу!

И плотно сжатый кулак обрушился на солдат «скую скулу. Алые струйки потекли изо рта старого денщика. Жалобно, как ребенок, он простонал:

– Ваше благородие, ваше благородие! За что?

– Как вам не стыдно? – возмущенно сверкнув глазами, крикнул Николай.

От неожиданности подпоручик растерялся. Но вслед за тем его длинные пальцы больно ухватили Николая за ухо:

– Щенок, мальчишка!

Собрав все силы, Николай резким рывком толкнул офицера в грудь.

– Ах, ты так! – задохнулся подпоручик, и, отпустив ухо, начал хлестать Николая по щекам.

Неожиданно дверь бильярдной с шумом отворилась настежь. На пороге стоял Алексей Сергеевич. Левая половина лица его дергалась.

На квартиру возвращались молча. Отец – впереди, Николай – поодаль, сбоку, дядька с понуро опущенной головой – сзади…

Моросил мелкий надсадный дождь. Погода испортилась. Ненастье грозило стать затяжным. На верховой Волге это не редкость. Если уж поплыли низкие облака с севера, значит раньше чем через неделю солнышка не увидишь. Серое скучное небо. Мокрые, простуженно каркающие галки.

Уж не сентябрь ли на дворе? Не спутала ли сроки природа?

* * *

Весной Алексей Сергеевич редко выезжал из Грешнева. С утра до ночи метался по полям, ругал на чем свет стоит старосту Ераста: то почему овес поздно сеют, то почему репу рано сажают, таскал мужиков за бороды, хлестал арапником.

Но на этот раз его соблазнил отправиться в город капельмейстер домашнего духового оркестра, отставной унтер-офицер Гонобоблев.

– И чего ради мы на одном-едином месте трубим? – с опухшим от беспробудного пьянства лицом философствовал он. – Что есть духовой оркестр? Это есть тонкое искусство! Оно должно звучать благороднейшим образом повсюду. Вот, к примеру сказать, свадьба. Что есть свадьба? Свадьба есть торжественный семейный обряд. Без музыкального веселья тут никак не обойдешься. Следовательно, оркестр беспременно требуется. А мы им в ответ: четвертную на бочку! Со временем не токмо все расходы на инструмент окупятся с лихвой, но еще и прибыль будет немалая.

В конце концов, Гонобоблев убедил Алексея Сергеевича дать в «Губернских ведомостях» объявление: собственный духовой оркестр помещика Некрасова, состоящий из девяти музыкантов, отпускается за сходную цену на свадьбы и всякие прочие семейные увеселения.

Алексей Сергеевич хотел было послать с объявлением самого капельмейстера, но побоялся: запьет! Лучше уж самому съездить в город. А тут к тому же (в который раз!) пришла бумажка из гимназии о сорока восьми рублях. Нахал-инспектор требовал его личной явки в гимназию. Хорошо! Он явится. Но пусть господин

инспектор пеняет на себя.

Выехав из Грешнева еще до рассвета, к полудню Алексей Сергеевич был уже в Ярославле. В квартире, где жили сыновья, он нашел одного Андрюшу. По обыкновению, тот лежал в постели, накрытый теплым романовским полушубком.

– Кондратка где? – подозрительно оглядев неприбранную комнату, громко сопя, спросил отец.

Андрюша – человек слабохарактерный. У него была высокая температура, страшно болела голова. И он без утайки сообщил, где находятся брат и дядька. Рассказал он и том, что произошло в гимназии.

– Так! – с силой пнув валявшийся на полу пыльный ботинок, коротко произнес Алексей Сергеевич. Глаза его округлились, налились кровью. Не сказав больше ни слова, он хлопнул дверью…

Когда вернулись на квартиру, началась расправа. Еще в сенях Алексей Сергеевич ткнул Кондратия кулаком в спину. Потом прижал его на кухне в угол и начал бить по лицу. Дядька только кряхтел от боли. Немудрящие пожитки Кондратия полетели к дверям. Завершилось все грозным приказом:

– В Грешнево! Марш!

– Помилуйте, барин, – плачущим голосом упрашивал Кондратий, низко склонив поседевшую голову. Но в глубине души он радовался, что отделался так легко. Грешнево его не пугало: можно снова на оброк в Питер отпроситься.

Кондратий был давним слугой Алексея Сергеевича. Он ухаживал за барином, когда тот только начинал свою службу в армии, а затем сопровождал его во всех походах и переездах из города в город.

Алексей Сергеевич не мог не ценить деловых способностей сообразительного, разбитного и плутоватого слуги. Однажды молодого офицера Некрасова послали в губернский город Подольск с хозяйственными поручениями. В оживленном городке юго-западной России, торговом и веселом, оказалось немало всяческих соблазнов. И прежде всего – карты, к которым Алексей Сергеевич имел особое пристрастие.

Хозяйственные дела требовали много времени и были довольно хлопотными. Тогда, чтобы не отрываться от карточной игры, Алексей Сергеевич решил перепоручить их Кондратию. Он заставил его переодеться в офицерскую форму, вручил все необходимые документы, объяснил, где и у кого надо побывать, и стал спокойно тасовать карточную колоду.

Грамотный и толковый слуга выполнил все поручения. Но на какой-то многолюдной улице он едва не попал впросак: позабыв о

своем офицерском виде, браво козырнул усатому фельдфебелю. Хорошо, что тот был навеселе и ничего не заметил. Были и другие случаи, когда верный слуга выручал своего барина…

Расправившись с Кондратием, отец присел на стул посредине комнаты и сурово глянул на стоявшего у окна Николая:

– Ну, докладывай, что натворил? За что розги?

Пришлось докладывать. Николай ничего не утаил. Он рассказал, как разговаривал с ним инспектор, как бранил за неоплаченный долг. У отца снова задергалась щека:

– Бранил? Меня?

– Больше стыдил, упрекал, требовал, – попытался смягчить свой рассказ Николай.

Отец сорвался со стула, словно кто-то кольнул его:

– Стыдил? Упрекал? Требовал? Да как он смеет! Какое имеет право!

Больно дернув Николая за ухо, Алексей Сергеевич тут же направился в гимназию.

Объяснение с инспектором началось бурно.

– Как вы посмели, милостивый государь, осуждать мои действия да еще в присутствии моего несовершеннолетнего сына? – ворвавшись в кабинет Величковского и задыхаясь от злости, почти выкрикнул Алексей Сергеевич.

– Но позвольте! – пытался прервать сердитого посетителя Величковский.

– Это вы мне, милостивый государь, позвольте! – все больше распалялся Алексей Сергеевич, усевшись на стул против инспектора. – Хотя ваши требования в отношении сорока осьми рублей и не имеют установленной по высшей воле для дворянского сословия проформы, я готов заплатить. Вот, получите! Мы – квиты! – Он швырнул на стол пачку перевязанных ниткой ассигнаций. Инспектор брезгливо, двумя пальцами, отодвинул деньги в сторону:

– По существующим правилам плата за обучение вносится в срок непосредственно в кассу гимназии. Если бы вы так поступали, у нас не было бы к вам абсолютно никаких претензий.

– Претензий, претензий! – передразнил его Алексей Сергеевич. – Оставьте это словцо при себе. Оно мне ни к чему.

Инспектор обладал завидной выдержкой и, не повышая голоса, продолжал:

– Надеюсь, нам никогда больше не придется возвращаться к этому мало приятному вопросу. Цессанте кауза цессат эффектус! [17] – и, привставая, он склонил голову. Ему хотелось поскорее выпроводить этого, не отличавшегося вежливыми манерами человека, хотя следовало еще поговорить с ним о поведении

сына.

Алексей Сергеевич и не собирался уходить. Латынь ему была недоступна. Потерев ладонью лоб, он уже спокойнее спросил:

– Мне стало известно, что вы изволили определить моему сыну Николаю строгое наказание, си-речь розги. Это верно?

Порфирий Иванович скорбно опустил глаза:

– К сожалению! К величайшему сожалению! Мы вынуждены были назначить ему эту совершенно необходимую и полезную меру. Сын ваш ведет себя, увы, недостойно. Вот, потрудитесь ознакомиться. Это, так сказать, творчество отрока вашего. Читайте, читайте!

Неторопливым движением Величковский протянул Алексею Сергеевичу злополучную бумажку со стихами. Тот стал читать, шевеля губами, как обычно делают все недостаточно грамотные люди. Сначала в глазах его мелькнуло удивление, затем появились веселые искорки.

– Ха, ха! У Мартына на плеши, – хохотнул он. – Какая ерунда! Неужели за это сечь надо? Баловство! Мы с вами тоже в детстве делали всякие глупости. Не так ли?

– Да, но это – баловство особого рода, – возразил инспектор, – это кощунственные и злые вирши. Они задевают честь одного из учителей вверенной нам гимназии.

Порфирий Иванович осторожно отобрал у посетителя бумажку и положил ее в папку «срочных дел».

– Да тут про какого-то Мартына. При чем тут честь гимназии? – недоумевал Алексей Сергеевич.

Как ни хотелось Величковскому скрыть подлинное имя учителя, пришлось его назвать.

– Не одобряю, – проворчал после некоторого раздумья Алексей Сергеевич, – не одобряю! Однако ж, поймите, мой сын достиг почти зрелого возраста. Нельзя допускать, чтобы его, столбового дворянина, секли, как самого обыкновенного поповича. Да еще публично. Нельзя, милостивый государь!

Величковский нервно забарабанил по столу.

– Извините, душенька! – при этих словах Алексей Сергеевич болезненно поморщился.

– Мы никому не делаем исключений. В циркуляре министерства просвещения, э-э, за нумером триста двадцать два указано, что гимназия есть училище особого рода, где соединены дети высших и низших состояний, что все они в одинаковой степени подчиняются существующим в учебном заведении правилам и порядкам. Понимаете? Правилам и порядкам!.. Конечно, это сожалительно, очень сожалительно! Но что делать! – вздохнул Величковский. – Не я устанавливал этот порядок. Если

бы мне дали право, вероятно, я не забыл бы, что в моих жилах течет голубая кровь.

– Тем более! – обрадовался Алексей Сергеевич, проникнувшись вдруг уважением к Величковскому, которого до сих пор относил к несимпатичной для него категории поповичей. – Тем более следует проявить снисхождение к моему сыну. У вас есть другого рода наказания. Ну, в угол поставьте, ну, на колени, ну, за уши, наконец, потаскайте в своем кабинете, самолично, чтоб никто не лицезрел. Но розги? В постороннем присутствии? Нет, нет, ни в коем случае! Как дворянин, я не могу этого разрешить. Я сам с ним расправлюсь! Понимаете, сам! Похлеще!

Порфирий Иванович глубокомысленно закатил глаза к потолку:

– Ну что ж, пожалуй. Экзекуцию мы можем перепоручить вам. Но с нашей стороны тоже должны быть приняты какие-то меры. Мы, душенька, исключим его из гимназии.

Алексей Сергеевич раскрыл рот от неожиданности:

– К-ак? П-позвольте! Два наказания за один проступок? Да это даже по уставу воинской службы не положено.

– А мы временно исключим, на две недели, – холодно успокоил инспектор, – для пристрастия, чтобы другим неповадно было, для сохранения престижа начальствующих лиц гимназии. Пусть ваш сын занимается пока дома. Надеюсь, что это не особенно повлияет на его успехи. Они далеко не блестящи. Боюсь, не пришлось бы чаду вашему остаться на третий год в том же классе.

Величковский небрежно протянул руку. Алексей Сергеевич вяло пожал ее. Разговор был окончен.

Но порка дома не состоялась. Отец торопился. Он потаскал Николая за ухо и уже в дверях прикрикнул:

– Сиди дома. На улицу – ни ногой. Приеду, проверю, как себя ведешь. Смотри у меня!

После отъезда отца Николай долго сидел у окна, бесцельно устремив взгляд на улицу. По стеклам тянулись тонкие мокрые ниточки. Дождь однообразно барабанил по крыше. Стонал Андрюша в горячечном сне.

Потом Николай вышел на крыльцо. Зябко передернул плечами. Застегнул шинель на все пуговицы и тихо побрел, сам не зная куда.

Горькие раздумья бродили в его голове. Если бы в эти минуты рядом была мать! Родимая, хорошая, она бы все поняла, все бы простила.

Ох, этот отвратительный Мартышка! Ладонь до сих пор

болит. Мало ему! Не такие бы надо стихи написать, а как у Крылова. Дай срок, он еще сочинит. Пускай совсем из гимназии исключат. Пускай!.. А все-таки хорошо, что не будет розог. Лучше уж умереть, чем снова попасть в холодные пальцы Иуды. Нет, Иуда сам не сечет, это делает угрюмый сторож Баграня. Надзиратель только за руки держит и ехидно приказывает:

– Ну-ка, раздевайся, сударь! Не стесняйся, здесь все свои.

Никогда не забудет он, как его впервые положили на скамью и начали хлестать розгами. Это случилось вскоре после поступления в гимназию. И кусался, и царапался он тогда. Ничто не помогло. Вместо пяти раз Баграня хлестнул его десять. Потом, когда снова приходилось ложиться под розги, все переносилось легче…

А дождь все моросил и моросил. С Волги тянулся сизый туман. Незаметно Николай оказался на Стрелке. Как безотрадно было сейчас здесь. Печальные, скучные берега. Скупо зажигались огни в окнах Демидовского лицея. За стеклами мелькали бледные тени.

Склонившись над чугунной решеткой, тянувшейся вдоль набережной, Николай безучастно слушал рокот подкатывавшихся к берегу волн.

Позади послышались шаги. Он испуганно обернулся. Перед ним стоял человек с высоко поднятым воротником темного плаща-накидки.

– Некрасов? – прозвучал знакомый глуховатый басок. – Что вы тут делаете?

– Гуляю, – смутился Николай, узнав по голосу учителя Ивана Семеновича Топорского.

– Гуляете? В такую погоду? Впрочем, знаю: у вас неприятности. Вам грустно. И мне тоже что-то не по себе. Давайте гулять вместе. Не возражаете?

Еще бы возражать! Он рад этой неожиданной встрече. Иван Семенович – добрый и милый, чем-то напоминает грешневского учителя Александра Николаевича. Только он постарше. Ему уже под сорок. У него заметно серебрятся виски. И во взгляде какая-то усталость.

Неторопливо пошли вдоль набережной к темневшей на самом берегу Волжской башне.

– Вы очень расстроены? – обходя лужу, спросил Иван Семенович.

– Теперь ничего, – доверчиво ответил Николай, – теперь отлегло немного. А было ужасно. Жить не хотелось. Все на свете опостылело.

Иван Семенович печально улыбнулся и закашлялся надрывно,

глухо.

– Это вы напрасно, – тяжело дыша, заговорил он. – В общем-то жизнь – превосходная штука. И дается она человеку всего один раз. А вам рано думать о смерти. Вам еще жить да жить.

Схватившись за грудь, Топорский остановился. Сильный кашель снова сотряс его худые плечи.

С жалостью смотрел Николай на учителя. Как же это он раньше не замечал, что Иван Семенович так серьезно болен? Ему бы надо в постели лежать, как Андрюше, а он ходит под холодным дождем.

– Если вы никуда не торопитесь, – справившись с кашлем, снова заговорил Иван Семенович, – зайдемте ко мне обогреться. Это совсем рядом.

Приглашение было более чем неожиданным, а главное – совершенно небывалым: учитель приглашал ученика к себе домой в гости. Николай растерялся. Но он не успел еще ничего сказать в ответ, как Иван Семенович подвел его к воротам одноэтажного дома с голубыми ставнями.

– Пожалуйте! – радушно произнес он и, открыв калитку, встал сбоку, чтобы пропустить гостя вперед.

Топорский жил вдвоем со старухой матерью. В небольших, но чистеньких комнатах было уютно и тепло. С кухни доносился запах пирогов. Худенькая старушка в белом переднике, выглянув из-за двери, приветливо поздоровалась с Некрасовым и, обращаясь к сыну, с ласковым упреком сказала:

– Что же ты так долго гулял? В такую-то погоду, с твоим-то здоровьем.

Сидя с учителем за столом, Николай с удовольствием ел зарумянившиеся пироги с морковью, пил густой, ароматный чай со сладким вишневым вареньем. Иногда он бросал взгляд на портрет молодой женщины, обвитый черной шелковой лентой. Ему вспомнилось, как года четыре назад по гимназии разнесся слух, что у Топорского умерла жена, что он очень ее любил и все время плачет, как малый ребенок. Но тогда Николай еще не знал Ивана Семеновича, преподававшего в старших классах.

– Так, значит, исключить на две недели? – говорил между тем учитель, пододвигая Николаю тарелку с пирогами. – Это, скажу я вам, совсем не страшно. Приходите заниматься ко мне. Я охотно вам помогу.

Беседа становилась все теплее. Оттаяло на душе Николая, отлегло.

– А вы не были на пожаре? – спросил он как-то по-детски учителя: – Гостиный двор горел. Здорово!

– Скажите, пожалуйста, – чуть заметно улыбнувшись, закачал

головой Иван Семенович, – мне, знаете, не довелось туда попасть. Говорят, там кто-то отличился, жизнью своей рисковал, других спасая?

– Это – Степан. Он молодец! Умница! – невольно вырвалось у Николая, и щеки его вдруг покраснели: как это он проговорился?

– Ах, вот что! Вы знаете этого спасителя? – заинтересовался учитель, отодвигая стакан с недопитым чаем. – Кто же он такой, этот ваш знакомый Степан?

Кому другому Николай ни за что на свете не сказал бы, а к Ивану Семеновичу он сейчас чувствовал такое глубокое доверие, что сбивчиво и торопливо поведал ему всю печальную Степанову историю.

– Да-а, – задумчиво протянул Иван Семенович. – В вашем Степане есть что-то от Ломоносова. Только тот архангельский, а этот ярославский. Но оба – мужики. Скульптором, говорите, хочет быть? Ну разве это не удивительно? Бесправный раб стремится к высокому искусству. Как же талантлив наш русский народ! Как высоко он может подняться! Только крепко связаны его крылья, ой, как крепко!

Топорский в волнении поднялся со стула. Заложив руки за спину, он прошелся несколько раз по комнате, затем, подойдя к печке, прислонился спиной к изразцовым плиткам, зябко передернул плечами и негромко, но выразительно произнес:

Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы…

Какие знакомые слова! Где, когда их слышал Николай? Постойте, постойте! Это диктовал Александр Николаевич на уроке в Грешневе. Диктовал и стирал своей рукой строки на грифельной доске.

– Простите, Иван Семенович! Чьи это стихи? Кто сочинил? – вставая с места, как в классе, спросил Николай, и лицо его побледнело.

– Кто? – закрывая глаза и облизнув сухие губы, переспросил Топорский. – Вы спрашиваете, кто? Извольте, скажу. Еще полгода назад я, пожалуй бы, не ответил вам. А теперь скажу. Ему уже ничего не страшно.

И, глянув на Николая полными скорби глазами, тихо добавил:

– Великий Пушкин! Солнце русской поэзии!..

В комнате стало тихо. Только за стенкой, должно быть, в спальне, слышался жаркий шепот – молилась мать учителя.

И снова опустил веки Иван Семенович, будто уснул. А перед

Николаем одним мгновением промелькнул в памяти тот хмурый февральский день с мокрым снегом, когда первый разносчик всяких новостей, пухленький и румяный одноклассник Пьер Нелидов, у входа в гимназию, безразлично, как о самом обыкновенном, сказал ему:

– Слыхал? Пушкин на дуэли стрелялся. Ему не повезло – убит!

Николай с силой схватил Пьера за плечо.

– Врешь! Не может быть!

– Разве я когда-нибудь врал? – обиженно ответил Нелидов, пытаясь высвободиться. – Ты же знаешь: мой дядюшка – сенатор, а тетушка – фрейлина. Дело, значит, было так: Пушкин приревновал Дантеса к своей жене и послал ему вызов. Ну и вот…

Пьер умолк, намереваясь шагнуть вперед.

– Стой! – крикнул Николай, загораживая Нелидову дорогу. – Какой-такой Дантес?

Пьер скривил губы.

– Что ты в самом деле пристал? Я же сказал тебе: Пушкин убит! Пусти! А Дантес – француз, сын посланника… Ну, дай же пройти!

Медленно отступив в сторону, с каким-то отсутствующим взглядом, почти бессознательно пропустил он Нелидова мимо себя. Мысли его в эту минуту были далеко: в никогда еще не виданном, представлявшимся лишь в мечтах Петербурге.

В тот день никто из учителей не сказал гимназистам о смерти Пушкина, даже Туношенский на уроке словесности. Словно в рот воды набрал.

– Ну почему, почему тогда все молчали? – словно разговаривая сам с собою, воскликнул Николай.

– Это вы о чем? – изумляясь, спросил учитель. Николай объяснил.

Откинув голову назад, Иван Семенович тяжело задышал, борясь с приступом кашля. Потом глухо сказал:

– В тот день было запрещено произносить в классах имя Пушкина. Понимаете, запрещено! А лишиться должности кому хочется. Не так же просто найти новое место, имея аттестат вольнодумца.

Глаза учителя вдруг загорелись каким-то необычно ярким светом.

Сделав несколько нервных шагов по комнате, он остановился рядом с Николаем и мягко опустил ему руку на плечо.

– Запомните, Некрасов! – как-то необыкновенно сурово и проникновенно произнес он. – Придет грозный час расплаты за Пушкина. И, может быть, вы окажетесь свидетелем и участником

этого события.

Иван Семенович снова закашлялся, вытер пот на лбу. Взгляд его стал грустным, безнадежным.

– Вы, кажется, тоже пишете стихи? – неожиданно спросил Топорский. Николай стыдливо промолчал.

Иван Семенович скрылся за шторами. Скоро он вернулся оттуда с тоненькой серой тетрадью в руках.

– Это полезно вам прочитать, – протянул он ее Николаю. – Только для вас. Никому не показывайте. Надеюсь, вы умеете хранить секреты?

Конечно, Николай умеет хранить секреты. Слава богу, не маленький! Иван Семенович может быть спокоен. Тетрадь будет упрятана в самое укромное место. А завтра он вернет ее.

– Не хотите ли еще журналов? – подошел к столу Топорский. – Правда, не совсем свежие. Вот «Телеграф», а это «Телескоп»…

Висевшие на стене старинные часы пробили одиннадцать. Николай заторопился.

Шинель была волглая, сырая. От нее тянулся легкий парок. Но Николай не замечал ничего. По скрипучим деревянным тротуарам спешил он домой. Что это за таинственную тетрадь дал ему Иван Семенович? Поскорее бы раскрыть, прочитать!

А над городом нависло серое небо. Плыли рваные, клубящиеся облака. Сквозь мглистый туман сеял по-осеннему мелкий дождь. Очень невесело начиналось красное лето.

Которосль

Хотите знать, что я читал?
Есть ода
У Пушкина, названье ей:
Свобода…

Н Некрасов. Из незаконченного стихотворения

На другой день после изгнания дядьки Кондратия рано утром явился Трифон. Ему очень не хотелось менять деревенское житье-бытье на городское.

Поздоровавшись с Николаем, он сразу же со всей откровенностью сказал:

– Насчет варева вы, Миколай Лексеич, не сумлевайтесь. Все будет в полном акурате. Но касаемо надзора и всего там прочего, как барин наказывали, то увольте! Я вам не ротный, а вы не некрут. Где желаете, там и гуляйте. Сами за себя в ответе. Вам не четыре на пятый. Только уж к обеду беспременно в срок прибывайте, потому как без горячей пищи живому человеку никак невозможно. Это я, двадцать пять годков на военной службе протрубивши, отлично знаю. Нас и в Париже не кренделькими кормили. Без горячих щец не обходились. Ну, и гречневая каша с постным маслом, конечно… А французы, Миколай Лексеич, натощак холодных лягушек жрут. Покарай господь, не вру. Тоже мне, называется пища. Тьфу!

Чувствовалось, что Трифон уже «на взводе». Видно, успел в питейное заведение забежать. Днем он еще добавил и, сидя на кухне, старческим надтреснутым голосом пел:

Вострубила тру-у-бонька
Рано на заре,
Всплакала свет Маничка
По русой косе…

Николай лежал на кушетке – старой, облезлой, с выползающими наружу пыльными веревками и истертым мочалом. Он перелистывал журналы, которые дал ему Иван Семенович. Вчера, вернувшись от Топорского, Николай сразу же, при мерцающем свете огарка сальной свечи, прочел

таинственную тонкую тетрадь. Она поразила его.

В ней были стихи. И самое первое начиналось горестным восклицанием:

Погиб поэт! – невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой…

Хоть и не упоминалось здесь имя Пушкина, но ясно было, что это о нем. Какой-то безвестный автор с глубоким гневом рассказывал, как травили великого поэта, как не выдержало его сердце «позора мелочных обид», как восстал он против лицемерного светского общества.

И его убили!.. Подлый, презренный Дантес! Злодей с холодным сердцем!

Второе стихотворение взволновало его не меньше первого. Оно большое, а называлось коротко – «Вольность». Чуточку ниже, голубыми чернилами было написано: «Ода».

«Беги, сокройся от очей, Цитеры слабая царица!..» – читал Николай. Жаль, что не силен он в древней мифологии. Какая-такая Цитера? Вероятно, богиня. А чья – греческая ли, римская ли? Кто ее знает! Может, и вовсе не богиня, а государство какое-нибудь?

Приди, сорви с меня венок,
Разбей изнеженную лиру…
Хочу воспеть свободу миру,
На тронах поразить порок.

Это вот понятнее. Без посторонней помощи разобраться можно. Воспеть свободу? На тронах поразить порок? Как смело! Не зря, видно, Иван Семенович взял с него слово – не показывать тетрадь никому.

А дальше и еще смелее:

Питомцы ветреной судьбы,
Тираны мира, трепещите!
А вы мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!..

И вот они, такие знакомые слова, впервые услышанные от Александра Николаевича:

Увы! Куда ни брошу взор —
Везде бичи, везде железы…

Не приведи бог, если бы эта тетрадь попалась на глаза отцу. Ух, что бы было! Изорвал бы он ее на мелкие клочья, разнес бы в пух и прах каждую страничку, растоптал бы своими тяжелыми сапогами…

Но ведь правда, правда – везде бичи. И в гимназии от них нет спасения!..

В прихожей раздались оживленные голоса. В комнату ввалились шумной оравой друзья-одноклассники, однокашники.

– Здорово, Никола! – до боли крепко сжал ему руку Мишка Златоустовский.

– Здравствуй, друже! – тепло приветствовал Андрей Глушицкий.

– Привет, привет герою! – тараторил Коська Щукин. – Как живется-можется?

Стеснительно, будто красная девица, подал руку лодочкой Васька Белогостицкий.

– Ты молодец! – плюхнулся на кушетку Мишка, без стеснения прижав Николая к стене. – Знаем, знаем: не выдал, на себя всю вину взял. Спасибо!

Николаю сделалось неловко, и он постарался перевести разговор на другую тему:

– Ну, как там, в классе?

– Сегодня Мартын злющий-презлющий явился, – начал рассказывать Коська, пристроившись вместе с Васькой на табуретке. – Васюху нашего, – он слегка толкнул Белогостицкого в бок, – под стол загнал. Битый час там сидел.

– Сиди, говорит, и не дыши! – простодушно добавил Васька.

– А Пьерке Нелидову всю физиономию мелом исчеркал – продолжал Коська. – Тот было оскорбился, дурак: «Вы не смеете так поступать, господин учитель!» Ах, не смею! Да и еще его, еще! Потом схватил за шиворот и за дверь вышвырнул. На глаза Иуде. Теперь жди, Нелидка, среды!

Все засмеялись, представив, как униженно заюлит перед Иудой племянник дядюшки-сенатора и тетушки-фрейлины.

– Это все ничего. Мне Горшочка с Горошком жаль, – вздохнул Коська, подпирая кулаком подбородок. – Когда только, бедняжки, отмаются? Заставил их нынче на одной ноге стоять. И рты, кричит, откройте! Так и стояли, почитай, весь урок.

– Не я – буду, если не подстерегу его где-нибудь в темном уголке, – сверкнул глазами Мишка и потряс своим внушительным

кулаком. Потом, шмыгнув носом, спросил:

– Ты чем занимаешься?

– Читаю немножко, – ответил Николай.

– Брось! Айда в бильярдную! Три шара вперед даю. Ну?

– Что-то неохота.

– Тогда погуляем! А? Или знаешь что? На лодке покатаемся по Которосли. Ох, и денек, любо-дорого!

День и в самом деле разведрился. В комнату заглянуло ослепительное, по-настоящему летнее солнце. Светлые полосы лежали на цветистых половиках. За окном мелькнула тень бабочки, дрались у палисадника воробьи-разбойники.

– Ладно! Покатаемся! – согласился Николай.

Тут Мишка потер двумя пальцами под подбородком и негромко спросил:

– А как, братцы, в рассуждении выпить по «крючочку»?[18] Все согласные?

Николай отрицательно замотал головой. Но Коська обрадовался:

– Давай, давай!

– Мне все равно, как хотите, – ответил Андрей Глушицкий, – я ведь не любитель этих «крючочков»…

– Это, братцы, плохо, это не годится: кто в лес, кто по дрова. Ни два, ни полтора. Я ведь не для себя, для компании. Уж всем так всем, – убеждал Мишка.

Когда друзья вышли, Николай быстро вытащил тетрадь из-под подушки и на цыпочках пробрался мимо комнаты, где лежал Андрюша, в чулан. Там он запрятал опасные стихи в такое место, что ни в жизнь бы никто не нашел, если бы даже до основания перекопал валявшееся здесь старье.

На улице его поджидали только Глушицкий, Щукин и Васька.

– А Мишка где?

– Домой побежал. Сейчас придет. Наличных в кармане не оказалось. Обанкрутился! – хохотнул Коська.

Встретились с Мишкой в узком Проломном переулке. На руке у него висела плетенная из прутьев ивняка корзина, прикрытая сверху куском рогожи. Коська сразу заинтересовался:

– Что это у тебя?

Мишка приложил палец к губам:

– Чу! Молчок! Айда на базар!

– Чего мы там не видали? – заворчал Щукин. – То на лодке кататься, то на базар. Поди разберись!

– Эх, голова ты садовая! – почему-то вдруг рассердился Златоустовский. – Капитал приобретать надо? Надо! Вот они, денежки! Гляди!

Мишка приоткрыл краешек рогожи. В корзине лежали беспорядочно сваленные в одну груду пучки зеленого ростовского лука и сочной краснобокой редиски.

– Прямо с грядки! – похвалился Златоустовский. – Продавать будем!

– Продавать? – изумился Николай.

– А как же! Самый ходовой товар теперича. Другая-то овощь когда еще будет. Жди-пожди! – растолковывал Златоустовский с полным знанием дела, как настоящий заправский купец.

– Ну, нет! Шалишь! Я не буду торговать! – твердо сказал Коська, прихорашиваясь. Его поддержали и остальные.

– Ишь ты, подишь ты, королевичи какие! – рассердился Мишка. – Никто вас и не заставит торговать. Это уж моя забота.

Поставив корзину на землю, он вытащил из кармана помятый кумачовый платок, сложил его полоской и обвязал себе щеку, будто у него болели зубы.

На Мытном базаре – шум и гам. Терпко пахло конским навозом.

– Шекснинской стерлядки – пожалуйте! – кричал в рыбном ряду остроносый продавец с плутоватыми глазами. – Эх, сам бы ел, да деньги нужны!

– Баранинки, почтенные, не угодно ли? – стоя на возу, зазывал краснолицый мужичок с остриженными «под скобку» волосами.

– Грузди соленые, грибы сушеные!

– Клюковца, клюковца!

Пронзительно верещали глиняные свистульки. Пропитым тенорком ныл безногий нищий, выпрашивая подаяние. Беззлобно ругались две торговки – знать, не поделили что-то. И вдруг в этот пестрый человеческий гомон вплелся звучный задорный голос:

– А ну, налетай: луку, луку! Свежий редис имеем!

Это Мишка! Друзья животы поджали от смеха.

Длинная фигура Златоустовского появлялась то здесь, то там, Вот кто-то остановил его: лезет за пазуху, считает медяки. И снова горланил Мишка:

– Луку зеленого! Редиски спелой! Навались, у кого деньги завелись!

– Комедия! Ну, прямо театр! – толкал Николая в бок Коська Щукин.

Прошло минут десять-пятнадцать. Дела у Мишки, видимо, шли не блестяще. Голос его раздавался все реже и не так задорно и уверенно, как сначала. Ждать надоело, и Николай сказал Коське:

– Позови его. Хватит ему толкаться!

Но Мишка уже и сам разуверился в своем непрочном предприятии. Он за бесценок отдал весь свой товар вместе с корзинкой какому-то дошлому перекупщику. Физиономия его, освобожденная от платка, была нескрываемо кислой.

– С утра бы надо, – оправдывался он, представ перед друзьями, – не тот спрос сейчас. Нахватались! – и со вздохом добавил: – Два алтына да грош – вся выручка. Э-хе-хе! Пошли, братушки!

По дороге он забежал в лавку. Карманы его серых брюк заметно оттопырились.

Лодка качалась около берега, привязанная за старую сучкастую ракиту. Охранял ее древний горбатый старец, живший тут же, у реки, в ветхой, покосившейся набок лачуге. Под его надзором было еще десятка два разных по размеру лодок. На них по реке Которосли доставляли Мишкиному отцу овощи из Ростова-Великого, с благодатных земель, окружавших старинное озеро Неро.

– Прыгай! – загремев цепью, крикнул Мишка.

Слегка качнувшись, лодка медленно отошла от берега. Златоустовский и Щукин дружно взмахнули веслами. Николай занял место на корме, у руля, рядом с Глушицким, Васька приспособился на носу.

Задумчиво глядел Николай на высокий, обрывистый берег, вдоль которого тянулись ряды городских строений. Блестели холодной красотой мраморные колонны Демидовского лицея. Играли солнечные лучи в золотых крестах Спасского монастыря, обнесенного высокими зубчатыми стенами. Когда-то карабкались на них непрошеные, страшные гости – узкоглазые, скуластые. Их гортанные боевые выкрики наводили смертельный ужас.

– Опять он далек от грешной земли, – прервал его думы Глушицкий, – опять в небесах поэзии витает. Дай-ка мне руль. Разве так правят?

И в самом деле, Николай не замечал, что лодка шла как-то неуверенно, сворачивая ток одному, то к другому берегу. Молча отодвинувшись от руля, он уступил место Глушицкому.

– Значит, не ошибся я, – продолжал Глушицкий, уверенно направляя лодку вперед. – Рифмуем! Сладчайшее и приятнейшее занятие. Это, кажется, Ломоносов сказал?

– Совсем и не Ломоносов, а Тредиаковский.

– Пожалуй, Тредиаковский!.. Забавный был пиит. Как это у него: чудище обло, озорно, стозевно и лаяй…

– Эй, Никола, подтягивай! – крикнул Мишка и весело затянул:

Голос у него не особенно звучный, надтреснутый, с хрипотцой. Но Николай с удовольствием слушал его и сам тихонько подпевал.

Город остался позади. Впереди зачернели прокопченные, похожие на сараи фабричные корпуса Большой мануфактуры. Это была глухая окраина.

– Как? Отдохнем? – спросил Златоустовский.

Николай согласно мотнул головой. Лодка повернула к берегу.

До чего славно лежать на мягкой, тонко пахнущей полынью траве, забросив руки за голову и мечтательно закрыв глаза! Часто трепеща крылышками и звеня, как колокольчик, поднимался к небу жаворонок. Радостна его песня, чудесна!

«Почему говорят, что ласточки делают весну? – думал Николай. – Нет, ее жаворонки делают. Они прилетают куда раньше ласточек. Еще и снегу по колено, еще только первые проталинки появляются на взгорьях, а жаворонки уже звенят, звенят, звенят. Выйдешь в поле – заслушаешься.

А вот и грачи кричат на пашне. Милые, милые грачишки! Как живете? Не из Грешнева ли вы? Ах, как там хорошо сейчас! И зачем вам этот неприветливый город?»

Где-то квакнула лягушка, прислушалась, не отзовется ли кто, еще раз квакнула – видно, нет желающих участвовать в концерте! – и стихла.

– Здравствуй, здравствуй, любезная! – заговорил вдруг Мишка. Но он не к лягушке обращался, он вытащил из кармана брюк бутылку и чмокнул ее губами. – Дорого яичко к светлому празднику. Ха-ха-ха! – В руке его блеснула серебряная стопка.

– Ну-ка, покажи, пожалуйста! – попросил Николай. – Да не бойся!

Златоустовский с неохотой отдал плоскую, темно-зеленоватого цвета бутылку:

– Настоящая! Понюхай!

Быстро поднявшись, Николай с силой размахнулся и бросил бутылку высоко вверх. Она сверкнула на солнце, закувыркалась в воздухе, описала полукруг и звучно шлепнулась в реку. Только брызги полетели. Никто даже ахнуть не успел.

Мишка рванулся было за ней. Но бутылка уже исчезла под водой. Тогда он ухватил Николая за ворот:

– Ты что? Потешаться вздумал? Это для кого я заботился? Для вас, дружков… А ты?… Эх!..

Однако драться Мишка не захотел, безнадежно махнул рукой и опустился на траву.

– Ладно, не сердись, – миролюбиво заговорил Николай. – Плюнь на «крючочек». Одна морока с ним. Погляди, как хорошо-то кругом. А выпьешь – свинья-свиньей. Не так, что ли?

И спорить Мишка не стал. Вынул из кармана колоду засаленных карт, начал тасовать.

– Раз такое дело – в картишки сыграем, – с убитым видом произнес он. – По полушечке.[19] Ежели нет в наличии, можно в долг. Это разрешается.

Николай играть отказался. За ним сказал «нет» и Глушицкий. Остальные уселись в кружок.

Отойдя в сторону, Николай и Глушицкий нашли удобное местечко на невысокой береговой круче и завели неторопливую беседу. С Глушицким было куда интереснее разговаривать, чем с Мишкой. Он понимал все с полуслова. О чем бы ни заходила речь, Андрей рассуждал с глубоким знанием дела, обстоятельно и убедительно. Он много читал, правда больше о войне, любил театр. Вот и сейчас Глушицкий предложил:

– Давай-ка сходим на представление вместе. Интересно! Жалеть не станешь.

– Давай сходим, – согласился Николай, пересыпая золотистый песок из ладони в ладонь. – Хоть сегодня. Что там показывают?

– Ей-богу, не знаю. Может, «Ревизора». Я охотно второй раз посмотрю.

– Так ты уже видел?

– На премьере был. Вот, знаешь, забавно. В первом ряду губернатор с женой и дочкой сидел. Точь-в-точь Сквозник-Дмухановский. А дочка – вылитая Марья Антоновна. На галерке хохочут, когда спектакль идет, а губернатор пыхтит, пот на шее вытирает.

Сегодня же отправится Николай в театр. «А как же Иван Семенович?» – вдруг вспомнил он. Будет ждать.

– Мы завтра сходим, – сказал он. – Сегодня, пожалуй, не успеем. Билеты не купим.

– Завтра так завтра, – согласился Андрей. – А билеты всегда есть.

Он заболтал ногами и тихонько засвистел. Потом заговорил снова:

– Эх, поскорее бы кончить гимназию! В Петербург уеду. Вот где театры так театры… Верно, и тебе хочется в столицу? Так?

Николай кивнул головой.

– Я поступлю в артиллерийское училище, – мечтательно

произнес Глушицкий. – А ты? Тоже будешь военным?

– Возможно, – не сразу ответил Николай. – Отец настаивает. А я, признаться, не люблю военную службу. По-моему, это довольно скучное занятие. Ружейные артикулы, уставы да наставления. Военные – люди без души. И нет у них никакой идеи…

– Ну, не скажи, – горячо запротестовал Глушицкий. – Военный военному рознь. А Пестель, а Муравьев-Апостол? Жизнь за свободу отдали… Ныне в Петербурге много говорят про корнета лейб-гвардейского полка Лермонтова. Превосходный поэт! Отлично про Бородинскую битву написал…

Кинув горсточку песку в воду, он уже менее уверенно продолжал:

– Ходят слухи, будто Лермонтов стихи на смерть Пушкина сочинил: «Погиб поэт, невольник чести!» Они под запретом, по рукам ходят. Их не найдешь.

Чуть не сорвалось с языка у Николая, что он уже читал это стихотворение. Правда, о Лермонтове ничего не знал. Так хотелось обо всем этом сказать Глушиикому. Но нельзя: тайна, Ивану Семеновичу слово дал!

Невдалеке пристала к берегу длинная лодка, нагруженная кипами белесого, волокнистого льна. Шестеро гребцов дружно сложили весла.

Вскоре к играющим в карты гимназистам подошел человек с небольшой курчавой бородкой. В зубах у него трубка. Он кашлянул в кулак и почтительно произнес:

– Доброго здравия, молодые люди! Не богаты ли, извиняюсь, огоньком?

– Огоньком? – недовольно пробурчал Мишка и, не глядя на незнакомца, вынул из кармана коробку серных спичек. – На!

Задымив трубкой, незнакомый человек не собирался уходить. Должно быть, его интересовала игра.

– Ты кто таков? Откуда взялся? – хлопая картой, сердито спросил Мишка, пряча спички в карман.

– Это я-то? А господ Собакиных работный человек, – ответил незнакомец. – Ленок вот с пристани хозяевам доставляем. Добрый ленок, костромской! Славный из него товарец: полотна, скатерки там разные, салфеточки для господ. Что твои аглицкие. Почище даже будут.

– Скатёрки, скатерки! – с досадой выкрикнул Мишка (ему попались в эту минуту плохие карты). – Болтаешь тут под руку! Проваливай-ка, братец, по добру по здорову!

Незнакомец, ничего не сказав, направился к лодке. В эту минуту Николай обернулся и застыл в изумлении: мимо него

быстрыми шагами прошел Степан. Он бросился за ним, оставив удивленного Глушицкого в одиночестве.

– Степан! – негромко крикнул Николай вслед уходившему. – Постой!

Степан остановился, повернул голову назад. В глазах его видна была радость:

– Николай Лексеич! Опять, вишь, встретились.

– Как дела, Степан?

– Наши дела, как сажа бела, Николай Лексеич. Работаем! Да только харчи вздорожали. Опять же штрафуют часто. Очень недоволен народ.

Говорил он устало и тихо, изредка прикладываясь к дымящейся трубке.

– А правду ли люди бают, Николай Лексеич, что скоро царь-батюшка в Ярославль к нам приедет?

– Царь? – изумился Николай. – Не знаю.

Степан вздохнул.

– А уж так ли было надо мне царя-батюшку повидать…

– Э-ге-гей! Где тебя черт носит? – донеслось с лодки.

– Иду! – откликнулся Степан и виновато пояснил: – Старшой зовет. Он у нас строгий. Чуть что – и по морде!..

На прощанье Николай подал руку. Степан доверчиво пожал ее.

– Это ты чего там с лапотником шептался? – спросил Мишка, когда Николай подошел к друзьям. – Нашел приятеля.

Хотел было Николай напомнить Златоустовско-му, что и его отец когда-то в лаптях топал и что ничего нет в этом зазорного. Но стоило ли ссориться? Мишка и так зол на него за «крючочек». Да к тому же, видно, в карты ему не везло…

Обратно в город возвращались молча. На берегу горел костер – рыбаки варили уху и грустно пели:

В луговой-то было сторонушке,
Протекала там речка Которосль,
К Волге-матушке устремлялася…

Песня печально рассказывала о фабричном добром молодце и его любимой девушке, у которой «глаза все заплаканы», – разлучают ее с милым злые хозяева.

Миновали переправу. Мимо проплыл переполненный людьми и возами паром. Туго натянутый с берега на берег канат басовито гудел, как толстая струна. [v]

На углу Спасского монастыря, около кирпичной ограды церкви Михаила Архангела, чернела толпа. Приглядевшись к ней,

Мишка оживился:

– Стенка! Дерутся! Правь туда!

Коська энергично заработал веслами. Лодка свернула к широкой поляне в излучине реки.

Николаю не раз доводилось видеть «стенку». Начиналась она обычно так: на улицу высыпали первоклассники из приходского училища – их называли «сверчками», бесенятами. Они подбегали к узкому пролому в стене Спасского монастыря и поднимали нестерпимый визг:

– Эй, кутейники! Выходи!

Вскоре в проломе появлялись лохматые головы семинаристов из младших классов. Не оставаясь в долгу, они тоже шумели:

– Ряпужники, Снегири! Вот мы вас!

Это было очень обидно «сверчкам». Их визг усиливался:

– Просвирники! Лампадники!

– Пискуны! Бабы! – неслось в ответ.

И та и другая сторона накалялась до предела. Ловко проползая через пролом, семинаристы выскакивали наружу, чтобы принять навязанное им сражение. И пошли в ход кулаки. Двинулась «стенка» на «стенку». Дрались со строгими лицами, не улыбаясь.

У Мишки заискрились глаза.

– Бей, бей! – задыхаясь, повторял он. – Из старших классов двинулись, Мамочка родная: молодые дерутся – тешатся, старые дерутся – бесятся! Эх-ма, Самара!

Николай чувствовал, что и у самого Мишки руки чешутся. Он подпрыгивал, как на пружинах, Едва только лодка ткнулась носом в берег, как Златоустовский кинулся в пеструю гущу дерущихся. Долговязая его фигура появлялась в самых жарких местах. Непонятно только было Николаю – на чьей тот стороне, кого поддерживает своими увесистыми кулаками?

– И мне, что ли, пойти схлестнуться? – нерешительно произнес Коська.

– Иди, коли синяков захотел! – рассудительно сказал Николай. – Пожалуй, и ребра поломают.

Коська остался на месте. А в драку уже вступили краснолицые приказчики из бакалейных и москательных лавок, смелые, увертливые мастеровые.

Как разбушевавшиеся после проливного дождя потоки, с двух сторон устремлялись «стенки» навстречу друг другу. Только и слышалось: ах! ух! ох! Ни стона, ни жалобы! Разгулялась удаль молодецкая. Забылись горести и напасти. Потонули в буйной забаве.

«Стенка» так же быстро закончилась, как и началась. К лодке

приближался Мишка, держась за щеку и сплевывая:

– Зуб, окаянные, выбили!..

* * *

На квартире Николая ждал великолепный обед. Давно не было такого. Трифон сдержал свое обещание, постарался на славу. Щи из свежей капусты с большим куском говядины заплыли жиром: упадет капелька с ложки на стол и застынет, как воск. А про гречневую кашу с коровьим маслом и говорить нечего: объедение! В довершение, на тарелке красовалось румяное наливное яблоко.

После обеда Николай опять взял в руки тетрадку Ивана Семеновича. Еще раз прочел «Смерть поэта» и «Вольность». Потом, сунув тетрадь под ремень, вышел на улицу.

– Куда изволите путь держать, Миколай Лексеич? – спросил, позевывая, Трифон.

– Туда, куда надо, Сусанин сказал, – засмеялся Николай. – Ты не ротный командир, а я не рекрут. Забыл, что ли?

– Идите, идите! Мне что, я так, к слову, – смутился Трифон.

Солнце уже клонилось к закату. Над головами со свистом проносились стрижи. Они только позавчера появились в городе. Последними прилетают и первыми улетают. Весело с ними. Настоящее лето чувствуется.

Низко опустив голову, Николай шел и думал, как начать ему разговор с Иваном Семеновичем, о чем его спросить.

Прежде всего, конечно, о стихах. Нет, не о рифмах, не о размерах, не о метафорах. Это он знает из книжки Тредиаковского «Новый и краткий способ к сложению стихов российских». Да и Петр Павлович Туношенский на уроках словесности всякими правилами голову забил.

А вот о чем писать следует? Тут у Николая полная неразбериха. Иной раз хочется ему рассказать о чем-нибудь простом, обыкновенном, что в жизни встречается, а возьмешь Жуковского – там рыцари, лесные цари, русалки…

Около дома Топорского Николай оробел. Он несмело дернул за деревянную ручку, соединявшуюся медной проволокой с колокольчиком. За воротами послышались шаги и женский голос:

– Кто там?

Николай назвал себя. Калитка отворилась. Глянуло заплаканное лицо старушки.

– Вы к Ивану Семеновичу? – спросила она и вдруг зарыдала. – Худо ему, очень худо. Не встает.

Николай растерялся и неуверенно произнес:

– Хотите, я за доктором сбегаю? Я знаю его. Герман Германович. Он и меня лечил…

– Был доктор, был, – всхлипывала старушка. – Недавно ушел. На юг, говорит, поскорее, в Крым… А где деньги? И так едва концы с концами сводим. Вот горе-то какое, – снова заплакала она.

Окончательно смутившись, Николай протянул тетрадь и тихо сказал:

– Пожалуйста, передайте Ивану Семеновичу. И пожелайте ему доброго здоровья. А мне разрешите зайти в другое время.

– Погодите минуточку! – остановила его старушка. – Он ведь что-то вам приготовил. Сейчас, сейчас. – Через минуту она вынесла небольшую, в голубой обложке книгу.

– С утра приготовил, пока не свалился, – словно в чем-то оправдываясь, говорила старушка, – а теперь вот головы не поднимает…

Поблагодарив, Николай быстро зашагал в сторону Стрелки. И вот он снова на любимом своем месте. Багровое солнце опустилось к горизонту. Оно казалось теперь не круглым, как шар, а каким-то сплющенным, вытянувшимся, расплывающимся, как бесформенная огненная масса. Глядеть на него было уже не больно, не слезило, не резало глаза.

Когда отмелькали последние искорки утомленного за день светила, Николай поднес к глазам книгу и увидел на обложке: «Владимир Бенедиктов. Стихотворения».

Бенедиктов! Что-то не доводилось слышать такой фамилии. Интересно, о чем он пишет? Открыв наугад страницу, Николай прочел:

Пиши, поэт, слагай для милой девы
Симфонии сердечные свои!
Переливай в гремучие напевы
Несчастный жар страдающей любви.
Чтоб выразить отчаянные муки,
Чтоб весь твой огнь в словах твоих изник, —
Изобретай неслыханные звуки,
Выдумывай неведомый язык!..

– А ведь здорово! – восхитился Николай. – Переливать в гремучие напевы несчастный жар страдающей любви… Изобретать неслыханные звуки. Ловко!

Ах, как жалко, что не удалось ему побеседовать с Иваном Семеновичем. А еще жальче его самого. Бедный! Ему бы поскорее

на юг. Деньги? У Николая есть немного. Надо еще с Мишкой поговорить. И другие, конечно, не откажутся помочь. Ивана Семеновича все любят. Он славный. Не то, что Мартын. Того никто бы не пожалел, если бы его забрала хвороба. Даже обрадовались бы, наверно…

Начитавшись в этот вечер Бенедиктова, Николай за один присест сочинил стихотворение о чудной красавице, о ее черных, жгучих очах и пленительном взоре. Получилось, как будто, не так уж плохо. Но все-таки стихотворение ему не нравилось. Чего-то в нем не хватало, а чего – Николай так и не мог понять.

Полушкина роща

…Оплачем наши прошедшие мечтательные радости, погорюем о настоящем, заглянем в будущее.

Из письма Н. Некрасова сестре

Чуть свет кто-то постучал в окно. Кровать Николая стояла рядом, и он, проснувшись прильнул к стеклу.

За пыльным окном смутно мелькало лицо Мишки. Ему ничего не стоило, дылде эдакому, дотянуться до подоконника. Николай открыл форточку и услышал Мишкин голос:

– Хватит дрыхнуть. Все царство небесное проспишь. Поднимайся, в Полушкину пора.

Сунув в карман большой кусок пирога с печенкой (Трифон купил вчера на Мытном рынке), Николай выскочил на крыльцо. Дядька спал на кухне сном праведника. Не слышал ничего и Андрюша, которому, видно, стало лучше.

На улице ждала веселая компания: кроме Мишки, – Коська Щукин, Васька Белогостицкий, Андрей Глушицкий, Никашка Розов, Пьер Нелидов. Все – свои, одноклассники.

Двинулись в путь. Несли с собой два мешка: в одном – большущий каравай хлеба, пучок зеленого лука (ох, уж этот Мишкин лук!), завернутая в тряпицу сковородка; в другом – чугунный котел. И у каждого, исключая Пьера Нелидова, – деревянная ложка искусной работы мстерских[20] древорезов, позолоченная, с цветочками. Куда как хороша она для ухи: ни губы, ни язык не обожжешь. Не то, что серебряная, которую прихватил Пьер.

Незаметно добрались до городской окраины. Впереди открылся выбитый, с ямами и ухабами, Романовский большак. Он вел на бурлацкую столицу Рыбинск, в глухое медвежье Пошехонье.

Вскоре свернули к Волге. Начинался лесок. Листва на белых березах радовала своей нежной зеленью. Молодо выглядели даже старые сосны: иглы у них новенькие, липкие, пахучие.

Полушкина роща тянулась вдоль крутого волжского берега. Робко шелестели листьями тонкие осинки – они даже самого легкого ветерка пугаются. Ломкий корявый ольшаник густо заполонил сырую низину оврага, разрезавшего рощу на две половины.

А дубы, дубы! Вековые, кряжистые, могучие, как богатыри, выстроились они в длинный ряд вдоль высокого берега, прикрывая полянки и все на них растущее от беспокойного, резкого ветра, рвущегося с севера – от Вологды, от Архангельска. Мало людей в этих местах, никто здесь не живет, А когда-то дымили тут серные и купоросные заводы купца Полушкина.

Это были обыкновенные деревянные сараи, длинные, с низко нахлобученными крышами. Потом купец умер, оставив их в наследство своему пасынку Федору Волкову и его братьям. Но Федору Волкову было не до заводов. Он увлекся лицедейством – театральными представлениями – и вскоре стал первым актером российским. А сараи постепенно разрушались, заросли бурьяном. И осталось от них одно лишь название – Полушкина роща.

– Что призадумался, друже? – шагая рядом с Николаем, заговорил Андрей Глушицкий. – Не горюй, смотри веселее на божий мир. Все пройдет, как написано на кольце царя Давида. Правильно написано! Я с этим согласен.

Глушицкий все больше нравился Николаю.

Он милый и умный. Жаль только, стихами не увлекается. У него своя стихия – геометрия: катеты, гипотенузы, углы, прямоугольники и эти самые «Пифагоровы штаны», которые во все стороны равны.

Улыбнувшись краешком рта, Николай снова углубился в свои думы.

– Да что с тобой? – забеспокоился Глушицкий. – Ты, брат, нездоров?

Николай грустно покачал головой:

– Нет, я-то здоров. А вот Ивану Семеновичу плохо. Доктор говорит, на юг ему нужно, а то помрет.

– Чего же он не едет?

– Эх ты, чудак! А деньги где? Он на жалованье живет.

– Да, нескладно получается.

– То-то и оно…

Разговор их прервался – пришли на место. Сложили груз под тенью ветвистого дуба, и Мишка, считавший себя за главного, подал команду:

– В рюхи!

Притащили запрятанные в кустах еще с прошлой осени короткие березовые кругляши и палки. И пошла писать губерния! Со свистом летели увесистые палки, разрушая замысловатые фигуры городков.

Проигравшие возили победителей на себе верхом. Николай уже дважды катался на Мишке. Но под конец и тот взял свое. Взгромоздившись Николаю на спину, он основательно помял ему

бока. Да к тому же еще обидно прикрикивал:

– Но-о, каурая! Царя возила!

Потом ловили рыбу. Сидели с удочками на берегу Волги. Клевало плохо. За час поймали десятка с два колючих мокроносых ершей. Конечно, для ухи ерш – первое дело, если еще хороший головлик или щучка есть. А они-то и не попадались.

– Дружочки мои! – загорланил вдруг на всю рощу Коська. – Я знаю, где рыба. Сматывай удочки. За мной!

Коське поверили. Он зря болтать не будет. Все устремились за ним. Остался на месте только пухленький Пьер Нелидов.

– Пардон! Я положительно устал, – потягиваясь по-кошачьи, гундосил он.

Идти пришлось недалеко. Шагов через двести впереди заблестела вода: не то лужа, не то бочажок.

– Тут! – твердо сказал Коська, сбрасывая с себя рубашку. Остальные стояли без движения с изумленными лицами.

– А вы чего? Раздевайтесь!

– Уж не купаться ли прикажешь в этом болоте? – насмешливо спросил Николай. – Пиявок кормить?

Коська рассердился.

– Черти полосатые! Ничего-то они не смыслят. Ничегошеньки!

Он смело полез в воду. Оказалось совсем неглубоко; чуть повыше колена. Коська шагал зигзагами, баламутя воду ногами. Скоро она сделалась мутно-коричневой, как кофе. То тут, то там запрыгали мел* кие лопающиеся пузырьки.

– Хватай, хватай! – отчаянно закричал Коська, выбрасывая на траву длинного зубастого щуренка. Вот он снова нагнулся на том месте, где кипели пузырьки, и еще одна рыбина блеснула на солнце.

Скинув с себя одежду, Николай прыгнул на помощь Коське. За ним поскакали в воду и другие. Бочажок закипел от дружного бултыханья ребячьих ног.

– Ого! Красавчик какой! – обрадовался Николай, вытаскивая пестро-зеленого окуня. – Здоровущий!

– Братцы, она кусается! – пропищал испуганно Васька Белогостицкий, держа в руках извивавшуюся сизую хищницу-щуку. Утиный рот ее широко открыт, зубы свирепо оскалены.

Улов получался знатный. Ай да Коська! И как это он догадался?

– Как? Очень даже просто! – объяснил Щукин, на ходу продолжая хватать рыбу. – Весной-то ведь что получается? Половодье! Расходится Волга во все стороны. И сюда вот дошла: эвон, какая тут вымоина. А рыбе что? Она корм ищет. Заплыла в

эту вымоину. Глянь, вода-то уж назад хлынула. Рыба здесь и осталась. А мы тут как тут! Помутили воду, рыбе темно и душно. Она наверх, а мы ее цап!..

Вернулись к месту привала оживленные, веселые. Рыбу тащили в Коськиной рубахе.

– Не зря тебя люди Щукиным кличут! – похлопывал Мишка приятеля по голой спине. – Щукин ты сын! Вот ты кто! Ха-ха-ха!

Разморенный жарким солнцем, Пьер Нелидов сладко спал под зеленым кустиком. Никашка Розов ухмыльнулся и положил ему на грудь трепыхающуюся щуку. Подпрыгнув, она ударила Пьера холодным хвостом по носу. Пьер в испуге вскочил на ноги и, дико озираясь, готов был дать тягу. Но, увидев у своих ног щуку, он виновато улыбнулся:

– Рыбка! А я думал, змея!

Потом взгляд его упал на сложенную в кучу, добычу:

– Это вы наловили?

– А кто же? Уж не ты ли? Дрыхнул без задних ног! – посыпалось со всех сторон. – Теперь придется тебе поработать, а мы отдохнем. За повара будешь. Чисти рыбу!..

Что оставалось делать: пришлось браться за нож. В жизни никогда не держал Пьер в своих руках живой рыбины. С какого конца ее чистить: то ли с хвоста, то ли с головы?

Хорошо, что помог ему Николай. Жаль стало смешного в своей беспомощности Пьера.

Разожгли костер. Бойко затрещали сухие сучья. Потянуло приятным лесным дымком. Васька Белогостицкий притащил воды. Котел водрузили на самую середину огня. Нарезали белыми кружочками картошку и лук, бросили в воду несколько душистых листочков лавра и черных горошинок перца. Это Мишка с собой прихватил из отцовского магазина. Рыбу опустят потом, когда забурлит в котле. Эх, и хороша же будет уха!

На сковороду «уложили крупные куски разделанных Никашкой щук. Нашлось немного сливочного масла. Значит, и варево и жарево будет. Вдосталь! Всем хватит.

Пьер Нелидов приуныл. Ему, с трудом очистившему всего лишь одного щуренка, поручили следить за костром, помешивать в котле привязанной к длинной хворостине ложкой, переворачивать ножом рыбу на сковороде. Попробуй справься с таким большим количеством обязанностей.

– А рыбу-то посолил, ваша светлость? – насмешливо спросил его Коська. Пьер торопливо взял из солонки щепотку соли и неуверенно стал сыпать ее на сковороду.

– Ха! Да кто же так солит? – продолжал насмехаться Коська. – От такого соления рыба зараз протухнет.

Он схватил из-под ног горсть желтого зернистого песку и стремительно бросил его на кипящую в сковородке рыбу.

– Вот как надо! Нелидов обомлел от ужаса.

– Разбойник! – взвыл он, схватившись за голову. – Кто же теперь эту рыбу есть станет?

– Кто? – грозно выпучив глаза, переспросил Коська. – Ты первый! Пробу снимать будешь. Ну! Глотай!

– Перестань, пожалуйста. Не шути! – захныкал он. – Господа, скажите ему.

Правой рукой Коська схватил Пьера за ворот рубашки, а левую протянул к сковородке:

– Открывай рот!

– А-а! – отчаянно закричал незадачливый повар.

– Оставь его! Пусти! – вступился Николай. Но Коська упрямился:

– А вот и не пущу!

– Кому говорят? Не выводи из терпения!

– Хе! Уж не на дуэль ли собираешься вызвать? – прищурился Коська, продолжая держать Нелидова за ворот.

– Пусти! – закусил губу Николай и сделал шаг вперед.

Коська испугался:

– Ладно уж, пущу! Чай не всерьез. Понимать надо.

Оттолкнув Пьера, Коська с достоинством отошел в сторону.

В конце концов все закончилось миром. Коська старательно вымыл сковороду, протер ее тряпкой, начистил свежей рыбы.

Идущий из котла аромат нежно щекотал ноздри. Нет ничего вкуснее на свете, чем уха из только что пойманной рыбы, сваренная на жарком костре.

– Эй, индусы! Чать, проголодались? – крикнул Мишка. – Бери ложки. Садись в круг.

Никто не заставил себя ждать. Котел уже стоял на траве. Над ним поднимался белесый парок.

– Господи, благослови! – перекрестился Мишка, опять почувствовав себя в роли главного. – Начинай!

Замелькали ложки, послышалось, дружное чавканье и чмоканье.

– Братцы! – засмеялся вдруг Николай. – А что в «Честном зерцале»[21] говорится? Забыли? – «Над яствою не чавкай и головы не чеши!..»

– Это ты на кого намек даешь? – сурово спросил Мишка, чавкавший сильнее всех. – Говори прямо!..

– Да все хороши, и я в том числе, – продолжал смеяться Николай.

– Ну то-то, – успокоился Мишка и, поддев ложкой в котле,

снова зачавкал. Выбирая рыбьи косточки, он мечтательно сказал:

– Налимчика бы! Он помягче. Без костей.

– А чем судачок плох? Особенно заливной, – добавил Коська.

– Ну, уж лучше карасей со сметаной ничего не найдешь. Да ежели сверху зеленого лучку.

Сказав про карасей и лук, Мишка облизнул губы. Но тут и началось.

– Слушайте, слушайте! – театрально поднял руку Николай. – Сейчас будет оглашено сатирическое стихотворение, посвященное известному и досточтимому Михаилу свет Златоустовичу!

Все перестали жевать, устремив взоры на Николая. Мишка настороженно, как гусак, вытянул шею.

Николай достал из кармана носовой платок, перевязал им щеку, словно у него болели зубы. Потом он привстал, оттопырил руку и с ужимками продекламировал:

Хоть все кричи ты: «Луку, луку!», Таскай корзину и кряхти, Продажи нет, и только руку Так жмет, что силы нет нести…

Мишка застыл от удивления и гнева. Неужели это про него? Неужели про го, как он корзину на Мытном рынке таскал? Матерь божия! Ради чего же он тогда старался? Чтобы друзей выручить, приятное им сделать. Зачем же про него обидные вирши складывать? Ну, держись, Николка!

Коршуном налетел Мишка, ударил по уху. Не растерявшись, Николай дал сдачи. И пошла потасовка. Противники катались по земле, драли друг друга за волосы, дубасили по бокам. Андрею Глушицкому с трудом удалось их разнять.

Пыльные, исцарапанные, потные плелись они к реке, не разговаривая друг с другом. Но когда искупались, поплавали и им сделалось легче, Мишка беззлобно сказал:

– Ежели ты еще раз про меня сочинишь, я тебе голову оторву и в кусты закину. Понял?

– Хвалилась синица море зажечь, – ответил Николай, но пригрозить новыми стихами не решился. Удивительно: почему это складные, в рифму, слова так действуют на людей? Казалось бы, что тут такого? Иной раз просто глупость напишешь, а люди обижаются. Даже такой скромница, как брат Андрюша, и тот долго дулся на Николая, когда он сложил про него год назад эпиграмму:

Намазал брови салом
И, сделавшись чудаком,
Набелил лицо крахмалом,
Чистит зубы табаком.

Хоть была бы это неправда! А то и на самом деле Андрюша тогда зафрантил. Случайно познакомился с девушкой из Екатерининского приюта и решил, что он влюблен. Напудрится вечером крахмальной мукой, подведет брови салом, смешанным с сажей, – и шарк к «дому призрения ближнего», где жила та девушка. А она ни разу и не вышла к нему.

После тех стихов Андрюша целый месяц с ним не разговаривал. Надутый ходил. Но однажды вдруг попросил:

– Николенька, ты, пожалуйста, никогда больше про меня не пиши. Обещай, миленький! Хорошо?

Разве откажешь, когда так ласково и трогательно просят! Тем более Андрюше.

Про Мишку можно и еще сочинить. Не больно-то страшны его угрозы.

Когда Николай одевался после купанья, к нему подошел Коська. Таинственно шепнул:

– Пойдем постреляем. У меня пистолет.

– Настоящий? – так же тихо спросил Николай.

– Конечно. У папашки в столе взял.

– Ругаться будет.

– У него их много. Коллекция!

Стрелки незаметно скрылись в кустах. Пошли вдоль оврага, потом спустились на дно. Остановились у рослой сосны с бронзово-золотистой корой.

– Здесь! – сказал Коська, вытягивая из кармана брюк небольшой, с продолговатым дулом пистолет.

– А мишень?

– Сейчас нарисуем!

В руках у Коськи появился сложенный вчетверо лист бумаги. Он осторожно расправил его. По выцветшим чернилам, следам какой-то печати и порванному краю с дырочками можно было безошибочно определить, что Коська вырвал этот лист из какой-то пыльной папки отцовских служебных дел.

– Кого изобразим?

Николай задумался. Но Коська тут же подсказал:

– Рисуй Мартына! Мартышку поганую!

– Это можно, – обрадовался Николай и стал малевать черным карандашом. Конечно, художник он не ахти какой, но некоторое сходство получилось: низкий лоб, узенькие глазки, сплющенный нос и длинная верхняя губа.

– На, готово!

Глянув на рисунок, Коська даже по животу себя ударил от удовольствия.

– Похож. Ей-богу, похож. Молодец, Никола!.. Это – мне. А ты

и себе нарисуй, – он вытащил еще один лист.

– Пожалуй. Только я не Мартына.

– Туношенского?

– Да нет, Дантеса!

– Ага, понимаю, – дантист! Он тебе зубы драл? Так ему и надо. Рисуй!

– Ну и дурак! – рассердился Николай. – Дантес в Петербурге, он Пушкина на дуэли застрелил.

– Тогда валяй Дантеса!..

Острыми палочками прикрепили мишени к дереву. Первым выстрелил Коська. Пуля угодила Мартышке в ухо.

Насыпали новую долю пороха, забили пулю.

– Пли! – скомандовал Коська, как самый заправский стрелок.

Раздался выстрел. Вместе бросились к дереву. Пуля прошла чуть выше длинного носа Дантеса.

– Ловко! – восхитился Коська. – Пускай знает, как Пушкина убивать…

Скудные запасы пороха иссякли. По второму разу стрелять не пришлось.

Солнце пригревало все сильнее. Устроившись в тени дубов, гимназисты крепко спали. Только Мишка, должно быть от обиды, никак не мог задремать и, заслышав шорох шагов, приподнял голову:

– Кто?

– Свои! – успокоил Коська.

– Это вы там бухали?

Коська притворился, что не понял?

– Чего?

– Знаю, знаю! – погрозил Мишка пальцем. – Не захотели с собой взять. Эх, вы!

– Понимаешь, всего два заряда было, – виновато признался Коська, укладываясь рядом с Мишкой на траву.

Прилег и Николай. Глаза его устремились в голубевшее меж ветвей небо. Он опять думал об Иване Семеновиче. Потом поднялся и, чтобы отвлечься от грустных мыслей, подошел к старой, засохшей березе и начал сдирать с нее скрипучую бересту. Очень уж ладные из нее тавлинки[22] получаются. Николай ловко умел их мастерить: еще в Грешневе научился.

Во второй половине дня с Волги подул свежий ветерок. На небе появились легкие облачка, за которыми, будто играя, пряталось солнце. Изнуряющий зной постепенно ослабевал.

Снова запылал костер. Коська дожаривал остатки рыбы. Проснувшись, все молчали.

– Эх, скука какая, – зевнул Мишка. – Песню бы, что ли,

хорошую. Начни, Никашка, сделай милость.

Никашка обвел взглядом сидевших напротив него одноклассников и, откашлявшись, спросил:

– Какую?

– Нашу, нашу! – закричали ему в ответ.

«Нашей» называлась песня, которую пели на дружеских вечеринках, а нередко и на больших рекреациях во дворе гимназии в теплые дни. Было в этой песне что-то грустное, хватавшее за сердце, заставлявшее задуматься о своей судьбе. И хотя только еще начиналась у Николая жизнь, все еще было впереди, но почему-то становилось жалко и себя, и тех лет, которые уже промелькнули.

Тихо, словно издалека, начал Никашка:

Век юный, прелестный,
Друзья, пролетит,
Нам все в поднебесной
Изменой грозит.

Негромко подхватили песню и остальные:

Лети стрелой,
Наш век младой;
Как сладкий сон,
Минует он.

В неведомое, незнаемое, в покрытое туманом лет будущее уносит эта волнующая песня. У каждого свой путь, своя дорога. Что-то их ждет впереди?

Глядя на друзей, Николай старался определить по выражению лица, о чем они думают. Вот Мишка Златоустовский – вспыльчивый, добрый и задиристый. Он, конечно, мыслит по-отцовски – расчетливо, сухо, хотя сердце у него мягкое, чуткое. После гимназии навряд ли он будет учиться. Отец дряхлеет. Старший брат, женившись, отделился и уехал в Кострому – завел там свое торговое дело. В семье вся надежда теперь на Мишку.

Николай перевел взгляд на Коську Щукина. У него отец чиновник. Служит в губернском присутствии. Нерешительный слабохарактерный человек. Страдает запоями. Уже дважды увольняли его со службы. В последний раз клялся-божился, что капли хмельного в рот не возьмет. Но на другой же день его пьяным-пьянехоньким подобрали на Варваринской улице. В мундире, в картузе форменном. Из полицейского околотка

донесли по начальству. Если бы не мать, пробившаяся с кучей детей – мал-мала меньше – на прием к самому губернатору, сидеть бы семье без корки хлеба. А у отца еще одна слабость появилась: скупает на толкучке ржавые пистолеты, усердно чистит их, смазывает и держит в ящике своего разваливающегося письменного стола. Говорит, коллекция!..

Скорее бы подрасти Коське! Нашел бы он себе место в жизни. Какое – этого он еще не знает. Но одно ясно: унижаться, как отец, не будет. Вино его не погубит. Ему все равно – есть оно или нет. Хорошо бы стать начальником казенной палаты. Встретил бы его на улице Мартын, шапку бы с головы содрал: «Здравия желаем, ваше превосходительство!» А он бы – ноль внимания. Пусть чувствует, проклятый!..

Глянув на Пьера Нелидова, сразу скажешь – у него будущее светлее светлого. Дядюшка-сенатор не оставит его в безвестности, выведет в люди. Пьер непременно будет в царской свите. Он в этом уверен… А сладкозвучный Никашка Розов, вероятно, пойдет по стопам своих дедов и прадедов – священнослужителей. Отец его архиерей. Голос у него могучий-премогучий. Когда собирается на служение в кафедральный собор, то пробует дома разные ноты. «До-о!» – потолок гудит. «Ре-е!» – стекла в окнах дребезжат. «Ми-и!» – стекляшки на абажуре позванивают. И у Никашки голос подходящий.

Красавца Андрея Глушицкого очень прельщают воинские погоны и аксельбанты. Он всех генералов, сражавшихся против французов на Бородинском поле, наперечет знает. Ночью разбуди – без ошибки назовет: Багратион, Дохтуров, Коновницын, Тучков, Неверовский, Бороздин, Багговут… О Кутузове и Раевском и говорить нечего!

Глушицкий как-то признался Николаю, что хочет непременно стать артиллеристом.

– Пушки – это чудо! – восклицал он. – Знаешь, как под Бородиным они грохали? Музыка!

А вот у Николая нет никакого желания служить. Не говорит в нем кровь его предков Некрасовых, они ведь с молоком матерей впитали в себя любовь к военному ремеслу, исправно несли в полках, батальонах и ротах государеву службу.

Кем же он будет? Возможно, поэтом. Все больше влечет его теперь к стихам. Купил толстую, в кожаных корках тетрадь и записывает в нее свои вирши: о страстной любви, о кошмарных призраках безводных пустынь, о лазурном море. Не про гимназию же писать стихи!..

Никашка Розов меж тем распелся вовсю. Голос его так и течет, так и переливается:

Затмится тоскою
Наш младости пир;
Обманет мечтою
Украшенный мир…

Уж очень безнадежна, безрадостна песня эта. Но не исправишь ее на иной лад. Не выкинешь из нее слова. Песня есть песня.

Под конец Никашка так долго тянул последние звуки мелодии, что все невольно зааплодировали ему, как в театре. А он поклонился с какой-то растерянностью.

Наступило молчание. Песня сделала свое дело. В такие минуты широко открываются сердца и на добро и на подвиги.

– Друзья мои! – дрогнувшим голосом произнес Николай, и глаза его увлажнились. – Заболел наш учитель, Иван Семенович. Он может умереть, если не поедет лечиться в Крым. Но у него не хватает денег.

– А сколько нужно? – живо откликнулся Мишка, щупая рукой в боковом кармане.

– Много! – ответил Николай. – У него столько не наберется. Надо ему помочь. У меня есть десять рублей. Думал купить что-нибудь. Но теперь отдам их Ивану Семеновичу.

Николая сразу же поддержал Мишка:

– Двадцать пять целковых даю. Свои, кровные. Матушка ко дню ангела подарила.

И он положил на траву набитый ассигнациями кошелек.

– Гривенник, братцы, можно? У меня больше нет, – нерешительно раскрыл потную ладонь Коська, глядя на друзей так, словно он провинился перед ними в чем-то.

– Давай и гривенник! – ответил за всех Мишка, забирая с Коськиной ладони старую серебряную монету с прозеленью на двуглавом орле. – И грош на святое дело хорош!

Андрей Глушицкий вытащил из-за подкладки гимнастерки золотой рубль: бабушка на счастье зашила. А Васька с Никашкой по четвертаку внесли.

Очередь дошла до Пьера. Он расшаркался и проныл:

– Извините, господа! Мне папенька не разрешает с собой деньги носить. Ограбить могут. Я после внесу…

Конечно, песня – великое дело. Но и без нее отдали бы друзья Николаю последнюю копейку. Ивана Семеновича все любят, все уважают. Только бы он остался жив.

Солнце уже близилось к закату. Длиннее стали тени. В кустах засвистал одинокий соловей: «тю-лит, тю-лит». С левого берега,

от древнего Толгского монастыря, донеслись унылые звуки, которые когда-то так поразили воображение Николая. Это тянули баржу усталые бурлаки.

Пора было возвращаться в город.

Чертобесие

В классах Николай, бывало, все сидит и читает.

Из воспоминаний М. Горошкоеа, одноклассника Н. Некрасова

Нет, он не мог пожаловаться: за время двухнедельного изгнания из гимназии друзья не забывали; его. Каждый день кто-нибудь забегал к нему, сообщал, какие были уроки, что проходили, что задали.

А Глушицкий явился с театральными билетами:

– Пошли смотреть «Разбойников» Шиллера!..

Но их ждало разочарование. Перед самым началом спектакля объявили, что заболел какой-то артист и вместо «Разбойников» будет дан веселый, водевиль с музыкой и танцами под названием «Козел отпущения, или Пагубные последствия пылких страстей».

Водевиль Николаю не понравился. Он показался ему не только не веселым, а просто глупым.

– Погоди! Будут и хорошие спектакли, – успокоил Глушицкий. – Теперь ты дорогу в театр знаешь.

А прощаясь у дома, сказал:

– Не верю я, что артист заболел. По-моему, запретили «Разбойников». Провалиться мне на месте, если не так…

Через три дня после этого, когда окончился срок исключения, Николай отправился утром в гимназию. У ворот его встретил Мишка. Он, видно, уже забыл о недавней баталии в Полушкиной роще.

– Здоров будь, Никола! Как живем-можем? – протянул свою лапищу Мишка, а потом не сдержался и крепко обнял приятеля. Известно: старый друг – лучше новых двух!

Это очень тронуло Николая. Захотелось ответить как-то потеплее, поласковее. Но получилось довольно глупо:

– Доброе утро, шер ами![23]

– Ого-го-го! – загоготал Златоустовский. – Какой же я француз, какой шер ами? Выше двойки ни разу у Турне не перепрыгивал. Да и нет у меня желания на одном языке с Дантесом болтать. Понятно?

Николай улыбнулся.

– Сдаюсь, сдаюсь! Изволь, по-иному скажу. Примите мое нижайшее, Михаил Агапыч! Наше вам!

Добродушно оскалив зубы, Мишка похлопал друга по плечу.

– Вот это еще туда-сюда. Приемлю!

До начала занятий оставалось минут двадцать. Приятели присели на садовую скамейку посреди небольшого уличного сквера. Перед ними сурово маячило серое здание гимназии. Даже яркие солнечные лучи не могли скрасить его мрачного вида. Над входом висела проржавевшая от дождей и времени вывеска со скудными остатками позолоты:

ГУБЕРНСКАЯ ГИМНАЗИЯ

Буквы были древнеславянские: продолговатые, скучные, неразборчивые.

Стояла гимназия на тихой Воскресенской улице. Один конец здания упирался в стены Спасского монастыря, другой выходил на зеленый бульвар с бронзовым монументом основателю «высших наук училища» П. Г. Демидову, богатому уральскому заводчику и не менее богатому ярославскому помещику – владельцу ста тысяч крепостных душ.

Позади гимназии две древние церкви и беспорядочная кучка покосившихся набок домишек. Внизу, в пойме, извивалась замысловатой петлей Которосль…

– Что же ты ничего про Ивана Семеновича не скажешь? – заговорил Мишка. – Уехал?

– Уехал. В понедельник, – ответил Николай.

– Кашляет?

– Ужасно!

Придвинувшись поближе, Николай рассказал о проводах Ивана Семеновича. Из учителей гимназии явилось только двое: Карл Карлович Турне и Петр Павлович Туношенский. Оба навеселе. Принесли какой-то сверток на дорогу. Обняли Ивана Семеновича и, не дождавшись его отъезда, ушли – спешили на уроки.

Деньги Николай передал матери больного учителя. Она долго не хотела принимать, махала руками: «Что вы, что вы! Зачем? Мы свой домик продали. Нам теперь хватит».

Усаживаясь в почтовую карету, Иван Семенович, бледный, с заострившимся носом, подал Николаю ослабевшую руку и свистящим полушепотом сказал:

– Не отчаивайтесь, Некрасов! Помните: жизнь – превосходная штука!..

И, уже стоя на подножке, поддерживаемый матерью, обернулся и спросил;

– Бенедиктова вы читали?

– Да, – поспешно отозвался Николай.

– Поговорить бы надо, да вот видите – уезжаю, – вздохнул учитель. – Попытайтесь сами во всем разобраться. У вас ясный ум… До свиданья!..

Карета дернулась, заскрежетала, запылила. А Николай еще долго стоял на одном месте, охваченный невеселыми думами.

Вот и сейчас, рассказывая, он снова загрустил. Заметив это, Мишка, решил отвлечь друга от печальных мыслей. Он неожиданно зафырчал, как еж.

– Ты что? – удивился Николай.

– Ой, прямо и смех и грех! Вчера Пьерке слегка «темную» сообразили. Предался, понимаешь, Иуде. А мы-то удивляемся: откуда Иуде все известно? Чуть что случится в классе, уже готово – донесли! Коська все на чистую воду вывел. Ну, и помяли вчера малость Нелидку. Ты как, одобряешь?

Странный вопрос: конечно, одобряет! Из всех подлостей Николай больше всего ненавидит фискальство, доносы на товарищей, предательство.

– А еще решили так: целый месяц не замечать Нелидку, – продолжал Мишка, явно удовлетворенный поддержкой друга. – Будто и нет его. Спросит – не отвечать, заговорит – не слышать! Пускай поскорее к дядюшке-сенатору улепетывает подобру-поздорову… Ты смотри, не оплошай. Душа у тебя мягкая: пожалеешь. Он к тебе сейчас же лисой, лисой. Ноты – ноль внимания, фунт презрения! Ясно?

– Будь покоен. Не подведу!

– Вот и славно.

Придвинувшись вплотную, Мишка с опаской оглянулся вокруг и зашептал в самое ухо друга:

– Секрет тебе скажу… Государь к нам приезжает…

– Ей-богу? Не врешь? – изумился Николай.

– Истинная правда! Со дня на день ждут. Батяша сказывал. Он-то уж все знает…

Вот оно что! Не зря, выходит, Степан спрашивал…

Забренчал предупредительный звонок. Поднявшись со скамьи, приятели в обнимку направились в класс. Вошли в неприветливую переднюю. Окон в ней не было. В покривившемся настенном подсвечнике тускло горел, разбрызгивая сало, огарок свечи. В углу, в полумраке, застыл, как призрак, Иуда. Он пронизывал каждого холодным взором. Иуда посмотрел на Некрасова как-то особенно, недовольно задвигав сухими скулами.

Из настежь распахнутых дверей класса пахнуло курительным порошком. Это сторож Алексей прошелся по всей гимназии перед

началом занятий с горящей медной курильницей, напоминающей церковное кадило. Так делалось с тех пор, как с низовьев Волги дошли тревожные слухи о холере, беспощадно косившей людей…

– Аве, Никола, аве![24] – радостно крикнул Глушицкий, завидев в дверях Некрасова. Вслед за тем он гулко застучал ладонями по парте: – Музыка – встречный! Трам-там-там! Трам-там-там!

– Здорово, Колюха! – весело горланил Коська, отрываясь от учебника, в который решился заглянуть в самую последнюю минуту.

Приветствия и восклицания неслись изо всех углов.

С первой парты, как ни в чем не бывало, приветливо махал рукой Пьер Нелидов. Но Николай и взглядом его не удостоил.

В дверях выросла сутулая фигура Петра Павловича Туношенского. Нетвердым шагом дошел он до кафедры и плюхнулся на стул. Утихший было шум возобновился с новой силой.

– Опять под мухой! – ухмылялся Мишка.

– Великолепно! – обрадовался Николай, вытягивая томик Бенедиктова из ранца. – Почитаем!..

Кроме скучной латыни, Петр Павлович преподавал также риторику и логику. Николай был глубоко убежден, что даже Иван Семенович не мог бы сделать логику интересной. Иное дело – риторика. Тут тебе и разные размеры, «в современной пиитике употребляемые», как гласил учебник Кошанского, тут тебе и древняя поэзия, и лирические стихотворения.

Если дать все это достойному мастеру, то заблестит риторика, словно алмаз.

А Петр Павлович, как плохой повар: готовит безвкусные, пресные блюда из превосходных продуктов. Надо же все засушить до такой невероятной степени! Не стихосложение, а волынка какая-то. Ни одного памятного примера, ни одного живого слова.

– Строгий гексаметр, – утомительно и нудно тянул Туношенский, блестя алым носом, – состоит из четырех дактилей или спондеев, пятого дактиля, а шестого спондея или трохея…

Дактили, спондеи, трохеи! Попробуй тут разберись! Прямо ископаемые какие-то.

Ведь писал же Александр Сергеевич Пушкин без всяких этих спондеев, просто и понятно:

> Мчатся тучи, вьются тучи,
> Невидимкою луна…

И Бенедиктов тоже неплохо сочиняет:

Кудри девы-чародейки,
Кудри – блеск и аромат,
Кудри – кольца, струйки, змейки,
Кудри – шелковый каскад…

Размышления Николая были нарушены возгласом учителя:

– Эй, кто там? К доске!

Туношенский уставил вытянутый палец, как дуло пистолета, целя в гудевший перед ним класс.

– Ну?

Никому не хотелось подниматься с места. Кто его знает, что вздумается спрашивать учителю. Пьяному всякое на ум взбредет.

– Ну? – начиная сердиться, повторил Петр Павлович.

Андрей Глушицкий решил принести себя в жертву. Он подошел к учительскому столу.

– Итак, м-м, – глянув мутными глазами на Глушицкого, замычал Петр Павлович, – ты кто таков? Чем заниматься изволишь?

– Это я-то? – стукнул себя в грудь Глушицкий. – Гимназист. Уму разуму у вас обучаюсь.

– Ах, так! Фамилия?

– Глушицкий.

– Граф?

– Не совсем, – помедлив, ответил Андрей, опасаясь какого-нибудь подвоха.

Голова Туношенского метнулась к столу. Он с трудом поднял ее.

– Напрасно, сожалительно. Граф Глушицкий – это, м-м, недурственно. Почему же ты не граф? А?

Глушицкий молчал.

– А, собственно, м-м, зачем ты здесь торчишь? Следить за моей нравственностью приставлен? Так? – сердито откинулся на спинку стула учитель.

– Сами вызывали.

– Вызывал? М-м. Не помню. Зачем?

– Урок отвечать.

Туношенский с недоверием глянул на ученика.

– Урок? М-м. Пожалуй!

Понуро опустив голову, он задумался.

– Что ж, собственно, спросить тебя? А? Подскажи!

И, не дав Глушицкому рта раскрыть, строго, как только мог в таком состоянии, произнес:

– Ладно! Ответствуй! Что, м-м, есть сравнительный период?

– Сравнительный период, – бойко затараторил Глушицкий, – есть не что иное, как спряжение глаголов зайн и верден, оно ведомо было человечеству еще во времена Александра Македонского и Юлия Цезаря, когда атаман Ермак Тимофеевич завоевывал Сибирь грозному царю Ивану Васильевичу, а Дмитрий Самозванец просил руки у польской гордячки Марины Мнишек.

«Что за околесица? Что за чушь?» – прислушался к Глушицкому Николай. Уж не заучился ли, бедняга? Да нет! Он просто дурачится!

А Глушицкий продолжал барабанить:

– Сие есть книга, глаголемая требник преподобного отца Сергия, а кто ее стибрит, тому бог судия. Что позволено Юпитеру, не позволено быку. А ля герр комм а ля герр.[25] Хау ду ю ду?[26]

Голова учителя свалилась на стол. Легкий свист пронесся по классу.

К столу подскочил Коська Щукин. Он пустился вприпляс вокруг учителя, тихонько припевая:

– Наклюкался! Налимонился! Назюзюкался!

Ничего не слышал Туношенский. Из его багрового носа лились мирные рулады.

В классе становилось шумно. Мишка вложил два пальца в рот и хотел свистнуть. Но Николай дернул его за рукав:

– Не надо! Иуда услышит. Возьми вот лучше эту штучку, – он вытащил из кармана берестовую, с узорными завитками и кожаным ремешком тавлинку, которую изготовил в Полушкиной роще.

Мишка бесцеремонно забрал ее и спросил;

– С табаком?

– Пустая.

– Эх ты! Кто же пустую дарит? Чудак!

Обхватив ладонью подбородок (ни дать ни взять, настоящий мыслитель!), Мишка задумался. Потом стукнул себя кулаком по лбу:

– Эврика![27]

В следующую минуту Мишка оказался около Туношенского. Он оттолкнул к стене все еще продолжавшего паясничать Коську и начал бесцеремонно ощупывать карманы засаленного, с заплатами на локтях учительского сюртука.

Николай насторожился. Кажется, через край хватил Мишка! Ох, не поздоровится ему, если Пьерка донесет Иуде. Обыскивать учителя? Обшаривать его карманы? И зачем это? Ведь не деньги же Златоустовскому потребовались?

Ну, конечно же, не деньги! Мишка не вор. Тем более, что у Петра Павловича никогда гроша в кармане не бывает.

Всего-навсего старую серебряную табакерку с поддельным изумрудным камешком вытащил из учительского сюртука Мишка. Открыв ее, он с наслаждением потянул носом:

– Хорош! С ароматом.

Вслед за тем, не торопясь, он пересыпал табак в свою тавлинку. А серебряная табакерка снова вернулась на место к своему законному владельцу. Тут со всех сторон потянулись руки, понеслись голоса:

– Дай понюхать!

– И мне щепотку!

– И мне! И мне!

Подняв тавлинку над головой, Мишка уговаривал с чувством собственного достоинства:

– Не лезьте, черти! Всем достанется!

Он пошел вдоль парт, протягивая тавлинку то вправо, то влево.

– Пожалуйте учительского. Со специями.

Пьерка Нелидов тоже намеревался взять свою долю, стремясь показать, видно, что он заодно со всеми. Но вместо тавлинки перед ним вырос внуши «тельный Мишкин кулак с большим заскорузлым пальцем; на-ка, выкуси!

– Апчхи! Апчхи! – дружно раздавалось со всех сторон. Ничего не скажешь, славный табак. Николай убедился в этом, набив нос мелким, как мягкая пыль, пахучим зеленым порошком. Отчихавшись, он попытался было читать, но с трудом разобрал две туманные строчки:

Что так гордо, лебедь белый,
Ты гуляешь по струям?…

Глаза его наполнились слезами.

А Петр Павлович все еще находился в объятиях Морфея.[28] Должно быть, хороший грезился ему сон – губы его умильно чмокали, а вырывавшийся из заросших волосами ноздрей посвист был нежным, как воркование весеннего голубя.

В классе уже свыклись с неожиданной свободой. Шума стало меньше. Кто играл в карты, негромко переговариваясь, кто, сосредоточенно сопя, «жал масло» из соседа, кто аппетитно жевал, вытащив из ранца купленный по дороге в гимназию свежий, обсыпанный белоснежной мукой калач.

Один Мишка не унимался. Тавлинка почти опустела. В ней оставалось всего две-три понюшки.

– Щукин! – позвал он Коську, которому вздумалось, по примеру учителя, прикорнуть на дальней парте.

– Чего? – недовольно отозвался Коська, лениво открывая глаза.

– Ко мне! Мигом!

– Не хочу.

– Дельце есть.

– Какое?

– Секрет!

Секрет? Это интересно. Можно, пожалуй, и подняться. Коська приблизился к стоявшему около учителя приятелю.

– Ну? Говори!

Мишка что-то таинственно зашептал ему на ухо. Но на Коськином лице не выразилось никакого удивления. Видно, секрет был не таким-то уж важным.

– Начнем? – спросил его Мишка, сделав три шага в сторону черной, как монашка, железной печки.

– Давай! – без особой охоты согласился Щукин, следуя за Мишкой. – Может, Николу позовем?

Златоустовский безнадежно махнул рукой:

– Пускай книжками забавляется, читарь-мытарь!

Но Николай уже кончил читать. Бенедиктов исчез со стола. Теперь все его внимание привлекали Мишка и Коська. Что они там замышляют, неугомоны?

– Действуй! – приказал Златоустовский, высыпая из тавлинки на ноготь большого пальца остатки нюхательного табака.

Коська с силой распахнул печную дверцу. Она дробно задребезжала. Зола и пепел густо посыпались на пол.

– Кричи! – командовал Мишка.

И Коська закричал:

– Карету его сиятельству-выпивательству графу Туношенскому!

Шумно хлопнув дверцей, будто закрывая экипаж, Мишка громко чихнул. Закатил глаза. Ни дать, ни взять – Петр Павлович.

– Благодарствую! – произнес он голосом учителя.

В классе весело зафыркали. Улыбнулся и Николай. Очень уж похоже изобразил Мишка Туношенского. И откуда только у него такие актерские замашки?

А печная дверца заскрипела снова. И опять раздался Мишкин голос:

– Кричи!

– Мусорную тачку его преомерзительству Иуде поганому! – просвистел Коська.

– Апчхи! Благодарствую! – ссутулившись и не сгибая колен, зашаркал ногами около печки Златоустовский.

Взрыв смеха лучше всего подтверждал, что это – самый

настоящий Иуда. Опять громыхнула дверца:

– Кричи!

Зазвучал торжественный, как у дьякона в соборе, бас:

– Златую колесницу порфироносному цезарю нашему Величковскому!

Но на сей раз дверца не хлопнула. Не успел чихнуть и Мишка. Он застыл в удивлении и страхе: в дверях класса недвижно, как монумент, стоял сам Порфирий Иванович Величковский, а из-за его широкой спины ехидно высовывалось противное лицо Иуды.

Все замерли. Никогда еще, наверное, не было в классе такой ужасной тишины. Так случается только в лесу, перед грозой. Вот только что шумели, гнулись, махали руками-ветвями деревья. И вдруг стало тихо. Ничто не шелохнется, не шевельнется, не затрепещет. Мрачная, темно-синяя туча уже низко висит над лесом…

У Николая неприятно засосало под ложечкой. Лица гимназистов побледнели и как-то сразу осунулись. С глупым видом стояли у печки не доигравшие свою роль актеры. Даже тавлинку не смог спрятать Мишка, и она лежала у него на вытянутой вперед ладони.

Лишь Петр Павлович не чуял никакой беды над своей головой. Как невинный младенец, посапывал он носом, и две мухи с лазоревыми крылышками мирно резвились на его лысине, до блеска отполированной неумолимыми годами.

Царь– батюшка

Как у Спаса бьют, у Ивана звонят,
У Николы Надеина часы говорят.

Ярославская присказка

Николай одиноко сидел на крыльце. Невыносимо болела голова. Позванивало тоненько в ушах. Словно невидимый комар ныл – нудно, надсадно, тягостно. Вспомнилась няня. «Ежели зимой в ушах зазвенит, – бывало, говаривала она, – значит, к теплу, ежели летом – к ненастью».

А какое тут ненастье! На высоком голубом небе – ни облачка, ни пятнышка. И солнце, поднявшееся из-за Волги, такое светлое и чистое, словно его только что вымыли.

Чуть слышно ворковали сизые голуби на крыше. У них день начался без печали, без заботы. Голова у них не болит. Ох, и зачем он только пошел вчера в «Царьград»? А все этот Мишка!

Положим, Мишку как-то можно оправдать. У него были неприятности. За то самое представление в классе вчера его и Коську Щукина высекли у колокольчика. По приказу Величковского. Могли бы и исключить их из гимназии, но Порфирий Иванович, внушительно подняв кверху палец с сверкающим бриллиантом на перстне, сказал:

– Лишь по случаю прибытия в наш древний град всемилостивейшего монарха, государя-императора оставляю вас в гимназии.

Николай дождался друга в сквере.

– Больно?

– Так себе. Я Багране рублевку сунул. Он не особенно старался.

– А Коська?

– Ему по всем статьям всыпали. Даже взревнул малость.

– Это Коська-то?

– А что Коська – не человек? Чай, и у него то самое место не железное.

– Все-таки. Я ведь думал, он герой.

– Герой-то за горой, а мы люди здешние, грешные, – поправляя ремень, глубокомысленно возразил Мишка и вдруг предложил: – Пойдем-ка, Никола, в «Царьград». У матушки моей нынче день рождения. Отметим!

Хоть и важный был повод, но Николай отказался:

– Не могу. Уроки учить надо.

– Кваску закажем, – соблазнял Мишка. – На льду. Прохладительный. Пошли!.. Уроки, чать, не медведи, в лес не убегут. Айда!

Пришлось согласиться. Почему не попить кваску?

В ресторане было малолюдно. Заняли столик у окна.

– Две телячьи отбивные и холодного кваску графинчик, – тоном знатока приказал Мишка лысому официанту с белой салфеткой через руку. А Николай попросил свежую газету «Губернские ведомости». Настоящие завсегдатаи ресторана всегда так поступают: сидят, читают, закусывают, не торопясь.

Правда, «Губернские ведомости» оказались не совсем новыми. Но все равно было интересно.

– Про чего там настрочили? – спросил Мишка, разливая квасок по стаканам.

– А вот слушай!

И Николай вслух прочел:

– «Ярославского уезда близ села Курбы, в сельце Нагорном, продаются крестьяне тяглами, без земли, на вывоз, а также шведские черные овцы и бараны разных цен. Обращаться к помещице госпоже Костылевой».

– Что люди, что скот – все едино, – проворчал Мишка. – Накостылять бы этой Костылевой как следует.

Он залпом выпил стакан кваску. А за ним и Николай.

А ведь и верно – хорош квасок! Шипучий, как шампанское, свежим сотовым медом попахивает.

После двух стаканов почему-то зашумело в голове. От кваску-то! А потом Николай уже и не помнит, как он добрался до квартиры.

Надул Мишка, надул бестия! Квасок-то хмельным оказался.

И теперь вот такая боль в голове. А на грудь будто камень наложили. К горлу то и дело подкатывается тошнотный горьковато-соленый комок. Уж не раз рвало Николая до изнурения, до холодного пота.

Минуты тянулись за минутами, а Николай все сидел на крыльце. То ли от освежающего ветерка, потянувшего с зеленой Закоторосльной стороны, то ли оттого, что в желудке не стало больше тошнотворной дряни, сделалось легче, боль в висках постепенно проходила.

Над городом властвовала дремотная тишина. Она убаюкивала, смыкала глаза. И вдруг, совсем неожиданно, возник колокольный звон. Он начался за стенами Спасского монастыря: загудела белокаменная звонница с большими круглыми часами. Ей живо откликнулись соседние церкви – Михаила Архангела и

Богоявленская. Мощно ударили в медный колокол в самом центре города – у Власия. Донесся частый перезвон с Волги от Николо-Надеинского храма. За Которослью, в Коровницкой слободе, заговорил во все колокола пестроглавый Иван Златоуст. Звуки разливались по городу празднично, торжественно, ликующе, как в первый день пасхи.

За спиной гулко хлопнула дверь. Николай поспешно обернулся. На крыльце стоял Андрюша в новой, тщательно отутюженной форме. На лице его, как обычно, – ни кровинки, но глаза оживленно блестели.

– Николенька! Пора. Опоздаем!

Николай рывком поднялся со ступенек.

– А Трифон где? Спит?

– Какое там! – отвечал Андрюша. – Чуть свет на заставу отправился. Первым хочет государя узреть…

Вычищенный, выглаженный – без единой складочки – парадный мундир висел на спинке стула. Что ни говори, а Трифон молодец. Не забыл, позаботился!

Переоделся Николай с такой быстротой, что ему мог бы позавидовать любой поднятый по тревоге кадет из военного училища. В один миг домчался до гимназии.

Гимназисты уже высыпали на улицу. Толкаясь и шумя, строились в ряды. Учителей еще не было. Зато Иуда, бегая от одной группы к другой, предупреждающе шипел:

– Тише, тише!

Николай встал рядом с Мишкой. Тот подморгнул понимающе:

– Как наше здоровьице?

От него густо пахнуло луком. Николая снова затошнило, и он ответил не сразу:

– Голова болит. Надул ты меня с кваском.

– Ха! А мне хоть бы что.

Ах, Мишка, Мишка! Ну о кваске еще после разговор будет, а вот зачем он в такой необыкновенный день луку наелся? Стоять около него невозможно.

А Иуда наводил порядок в рядах. Кого-то из самых неугомонных и шумных дернул за ухо, другому дал затрещину. «Уж хоть сегодня-то он не слишком бы рукоприкладствовал», – подумал Николай. Ради царя-батюшки!

Разговоры в рядах не утихали. И только когда в широко распахнутых Багряней дверях появился директор гимназии Клименко, усатый, румяный и толстый, – все разом замерли. Позади директора виднелось гордое лицо Величковского.

Подняв над головой руку в белой перчатке, Клименко

поздоровался. Потом, шевеля жирными губами, он начал что-то говорить. Но как ни прислушивался Николай, до него долетали лишь отдельные фразы, которые иногда выкрикивал директор: – Августейший монарх!.. Помазанник божий!.. Слава государства Российского!.. Зиждитель кроткий!..

Речь окончилась. Гимназисты закричали «ура». Клименко вытер лоб платком и, сказав что-то Величковскому, скрылся в дверях гимназии. Он торопился в лицей. Там дела были куда важнее. Месяц назад из столицы поступило строгое предписание: разбить всех студентов повзводно и обучать их военному искусству, а «допреж всего маршированию и ружейным артикулам». Каждое утро гоняли теперь лицеистов по плацу усатые унтеры. Клименко плохо разбирался в шагистике и очень боялся, что государь останется недовольным успехами лицеистов. Как же тут было не спешить!

Порфирий Иванович медленно двинулся вдоль длинной ученической шеренги. Позади него, на почтительном расстоянии, подобострастно склонив набок плешивую голову, плелся Иуда. Строгий, насквозь пронизывающий взгляд инспектора приводил гимназистов в трепет. Но особенно делалось не по себе, когда Величковский монотонно и бесстрастно произносил:

– Э-э, душенька, застегните пуговицу.

– *У* вас пряжка, душенька, не на месте.

Каждое такое замечание не проходило мимо Иуды. Он все запоминал, все оставлял в своей памяти. Ему и записной книжки не нужно. Величковский остановился около Николая и Мишки, потянул носом, сморщился:

– Фу, цибуля![29] Какая гадость!

И, не задерживаясь, двинулся дальше. А Иуда погрозил сухим, негнущимся, как у гоголевского Вия, пальцем.

Завершив обход, Порфирий Иванович возвратился к безмолвно стоявшим у входа учителям.

– Господа, прошу на свои места! – важно произнес он.

Первым степенно вышел вперед, трижды перекрестившись на ходу, дородный красавец с изящными бархатными манерами, отец Апполос. Вслед за ним засеменил, гримасничая и почти доставая длинными руками до земли, Мартын Силыч. «Обезьяна, подлинная обезьяна», – с неприязнью глядя на него, думал Николай. Карл Карлович Турне, прежде чем сделать шаг, громко кашлянул, оглянулся вокруг и закрутил рыжие усы.

Класс, в котором учился Некрасов, возглавил Петр Павлович Туношенский. Походка его была нетвердой. Видно, головомойка, которую ему задали на учительском совете, не пошла ему впрок.

– Глянь, глянь! – длинный Мишкин палец был направлен

вперед. Но Николай не увидел ничего примечательного, кроме спины Петра Павловича.

– Смеешься, что ли? – заворчал Николай.

– Эх-ма! Окосел! Сущий филин. Глаза вытаращил, а не зрит, – и Мишка не особенно вежливо пригнул голову друга книзу. – Смотри, смотри. На ноги.

Тут только Николай понял, в чем дело. По губам его скользнула улыбка. Ах, Петр. Павлович, Петр Павлович! Опять ему не повезло. Правый ботинок его расшнуровался, а из-под брюк выползла, будто змейка, грязноватая завязка кальсон. Вот сейчас он наступит на нее. Но завязка таинственно скрылась.

Чем ближе к Стрелке, тем больше людей. Толпы зевак, лущивших семечки, грудились на зыбких деревянных тротуарах, в широко распахнутых воротах, вдоль облезлых, покосившихся заборов. На крышах пестрели кумачовые и синие рубахи дотошных мальчишек.

А завязка Петра Павловича снова выбралась наружу. Миг – и учитель встал на нее, нелепо взмахнул руками, медленно свалился на землю.

Послышался смех: не сдержался кто-то" из шагавших позади одноклассников. Наверное, Коська Щукин. Это на него похоже.

Но Николаю не было смешно. Ему сделалось неловко за учителя и даже жалко его. Шагнув вперед, он заботливо помог Туношенскому подняться.

Петр Павлович повернул голову назад:

– А-а, Некрасов! Благодарствую! Тронут. В его голосе чувствовалось смущение.

Все событие произошло настолько быстро, что не нарушило порядка в рядах. А свидетелями его оказались лишь немногие. Между тем Петр Павлович так и не заметил злосчастной завязки, виновницы его падения.

Сказать бы ему, предупредить новую неприятность. Однако не так-то это просто. Шепнуть на ухо? Не будет ли это расценено как дерзость. Крикнуть тоже нельзя. Подумают, озорство! Не ровен час, к Иуде на заметку попадешь.

И все осталось, как было. Завязка по-прежнему волочилась вслед за Туношенским, ползла по пыли, как живая.

Впереди мелькнула голубая полоска Волги. Мелькнула и скрылась: ее заслоняли густые людские толпы и гарцевавшие по сторонам улицы на сытых конях усатые жандармы. Они махали ременными нагайками, выкрикивая:

– А ну, назад! Осади!

Колонна гимназистов остановилась. Теперь прямо перед глазами Николая возвышался узорчатый, опоясанный чугунной

решеткой с витиеватыми орнаментами, златоглавый Успенский собор. Это была главная церковь города. В ней служил сам митрополит. А невдалеке – длинное белоколонное здание Демидовского лицея.

Знакомое место! Сколько раз бывал здесь Николай, сколько всего передумал. Стрелка! Там вон, внизу, Волга и Которосль, там – даль, бесконечная, необъятная…

Палило солнце. По лбу и щекам струился липкий пот. Больно кусали слепни. И откуда их столько взялось? Будто нарочно на празднество прилетели. Николай чувствовал усталость в ногах. Очень хотелось пить. Но попробуй отойди в сторону хоть на минуту – не обрадуешься. Иуда за шиворот притащит. Да еще пинков надает без всякого стеснения.

Положим, и кроме Иуды есть кому за поведением гимназистов проследить. Учителей – целый взвод.

Даже и не думалось, что их так много в гимназии.

Сбоку искушающе зашептал в ухо Мишка:

– Эх, сейчас бы кваску холодненького… И, облизнув пересохшие губы, добавил соблазнительно:

– Искупаться бы. А-а?

Куда бы как чудесно было! В Которосль, с обрыва! Только брызги бы полетели.

Но, увы! Хоть и рядом песчаный бережок с гибкими кустами ивняка, хоть и доносятся с реки зовущие крики чаек, а никуда не уйдешь. Жди, страдай от жажды.

В мучительном ожидании прошло не меньше часа. Даже Иуда, и тот изнемог: то и дело клетчатым платком лоб вытирает. А учителя около церковной решетки, как овцы, в кучу сбились. Там хоть маленькая, но все же тень.

Стихший было немного колокольный гомон разгорелся с новой силой. Мишка что-то выкрикнул, но Николай не расслышал. Только по губам понял: едет!

Из боковой церковной калитки торопливо вышел Величковский, натягивая на ходу белоснежные перчатки. К нему, как стрела, подлетел Иуда. Выслушав какое-то приказание, он бросился к учителям. Те поспешили на свои места.

Засеменил, засуетился и Туношенский. А предательская завязка все тянулась и тянулась за ним.

Стоявшая позади гимназистов толпа загудела. Даже колокола не могли заглушить этого гула, похожего на шум прибоя.

Внезапно из-под ног Николая выкатилась серым клубком лохматая, с обрубленным хвостом собачонка. Николай сразу узнал ее: это она, прыгая на трех ногах, гавкала на него, когда он бежал на пожар. Вот задира!.. Что ей здесь нужно?

А собачонке ничего не надо. Просто-напросто она увидела волочившуюся по земле завязку и не могла отнестись к этому равнодушно, со всей силой вцепилась в нее острыми клыками.

Туношенский дрыгнул ногой, пытаясь освободиться от назойливой дворняжки. Но не тут-то было. Собачонка тянула тесемку к себе, мотая головой и сердито урча.

Петр Павлович балансировал на одной ноге, как в цирке. Он беспомощно взмахивал руками, словно пытаясь улететь куда-то.

Быстро присев на корточки, Николай ухватил собачонку за хвост, подтащил ее к себе. Собачонка взвизгнула и тяпнула обидчика за палец. Но еще миг – и она полетела в толпу.

«Кровь!» – испугался Мишка и, вытащив из кармана батистовый платок, крепко завязал им палец Николая.

– И чего ты, право, сунулся? – пробурчал он. – Пускай бы Туношенка покрутился. Так ему и надо!..

Где-то невдалеке прогремел пушечный выстрел.

– Едет, едет! – донеслось из толпы.

Встав на цыпочки, Николай увидел поднимавшийся над головами людей столб пыли. Лучи солнца играли в нем, делая его то багровым, то желтым.

Прошло еще минут пять. Наконец на дороге показались священники в длинных ризах, вышитых золотом и серебром. Их было множество. Они шагали медленно, словно несли на руках что-то тяжелое. Слышалось стройное пение. Ритмично раскачивались кадила, испуская клубки белого дымка.

За церковной процессией ехали красивые всадники на статных конях, с блестящими саблями наголо. Затем шли дворяне, чиновники, городские богатеи. Кое-кого Николай знал в лицо – видел на гимназических вечерах. Им отводились самые почетные места.

Но где же царь? Николай опустил уставшие от напряжения глаза. А когда снова глянул на дорогу, по ней двигалась высокая золоченая карета. Ее тянули за собой, крепко ухватив руками оглобли, бородатые, потные люди в поддевках и армяках.

Вот в ней-то и едет царь, сразу решил Николай. Кто же еще может иметь такой великолепный экипаж? И кого повезут люди?

Вперемежку с колокольным благовестом загремело «ура». Карета остановилась неподалеку от Николая. Какое счастье! Сейчас он увидит царя совсем близко.

Люди опускались на колени, а Николай, охваченный волнением, стоял, как заколдованный. Мишка больно дернул его за руку:

– Ты что, очумел?

Николай почти ударился коленями о землю, не отрывая

взгляда от кареты.

Два пышно одетых царедворца быстро распахнули дверцы золоченого экипажа. Царь вышел не сразу. Сначала выглянуло длинное его лицо, мелькнули туго закрученные, как у Карла Карловича Турне, усы. Затем он неторопливо спустился по ступенькам кареты на землю. Увидев его, Николай изумился: да ведь он вовсе не такой, как на картине в актовом зале! И плечи не богатырские, и ничего неземного в лице нет. Нет, не таким рисовал Николай его в своем воображении. Интересно, что Мишка думает? Но спросить его не удалось, потому что в эту минуту произошло неожиданное. Откуда-то из-за церковной ограды, из кустов акации внезапно вывернулись два человека в белых холщовых рубахах и новых лаптях. Они упали перед царем ниц, стукаясь головами о землю. Один из них протягивал правой рукой сложенный вчетверо лист бумаги. До слуха Николая долетели похожие на мольбу слова:

– Отец наш милостивый… батюшка…

Царь растерянно оглянулся вокруг. А на неизвестных людей уже навалились голубые мундиры жандармов. Николай больше почувствовал, чем увидел, что один из схваченных – Степан. Ведь он давно собирался просить царя, с нетерпением ждал его приезда.

Блеснув лакированными сапогами, царь скрылся в соборе. Следом за ним двинулась и его свита.

Благовестили колокола. Гудела толпа перед собором. Усталых гимназистов повели обратно. И всю дорогу Николай думал не о царе, а о Степане. Что с ним теперь сделают? Наверное, разберется во всем государь, велит в Петербург Степана отправить. То-то было бы хорошо!..

Поздним вечером Николай снова вышел на улицу. Он направился к набережной, откуда доносился нестройный шум.

Вдоль чугунных решеток, ограждавших крутой спуск к Волге, беспорядочно двигались толпы людей. Глазели на взлетавшие к небу с веселым треском зеленые фейерверки, переговаривались между собой:

– Чай, в Питере-то кажинный вечер эдак?

– А пошто?

– Как же: царю-батюшке развлечение.

– Ему, милай, и без того забав всяких хватит. Оченно, бают, к парадам прилежен. Как чуть, так солдатушек на плац: ать-два, ать-два! Сам команду подает, сам строгости наводит.

– Ишь ты! Вроде как бы Аракчеев-генерал.

– Вроде не вроде, а похоже…

На Стрелке, по склонам берега, ярко пылали бочки с пахучей

смолой. Огненные языки жадно лизали прохладный воздух.

Впереди Николая, слегка покачиваясь, шагали два рослых человека в белых посконных рубахах с узкими гарусными поясами.

– А мы у шинкарочки еще попросим по чарочке, – говорил один из них, широко размахивая руками. – Наш брат год не пьет, два не пьет, а бес найдет – так все пропьет. Пойдем-ка, дружок, в кабак.

– Без денег-то? – отозвался другой. – Только нас там и ждали. Небось лапти в залог не возьмут.

Худые!

– Денежки-то что, – продолжал уговаривать первый, – денежки – навоз: нынче нету, завтра – воз.

Николай прислушался. Забавно рассуждает этот человек. Складно, в рифму. Как Осип Бывалый, у которого в Грешневе в жаркий полдень ребята бурав сломали. Уж не он ли случайно? Но голос говорившего был не такой певучий и мягкий, как у Осипа. Значит, не он.

– Может, пойдем к батюшке-царю? – вкрадчиво спрашивал человек и сам себе отвечал: – Нет, дружок, покорно благодарю. Видали медали. Мы-то вот пьем-гуляем, а они, бедняги, в клоповнике маются. Скрутили им белы рученьки. А за что? Правду-матку найти хотели. Эх, да и есть ли она на белом свете? На Руси ее давно похоронили…

Неужто прав этот человек? Неужто и у самого государя не найдет Степан защиты, не сбудется его думка?…

Говоривший опасливо оглянулся и, увидев Николая, замолчал. Должно быть, его смутили блестящие пуговицы на гимназическом мундире. Он потянул своего собеседника в сторону, и оба они скрылись в темном переулке.

От губернаторского дома, где остановился царь, доносились звуки духового оркестра. Но идти туда Николаю не хотелось. Не привлекали и стоявшие посредине Волги два больших парусных судна, сиявшие разноцветными фонариками.

Присев на траву, Николай опрокинулся на спину, закрыл глаза. Гремела музыка. И кто-то нестройно и разухабисто выводил:

– Славный, державный, ца-арь православный…

А во дворе соседнего дома смертно заверещала свинья. Видно, кто-то приканчивал ее в честь приезда высокого гостя.

Каким тяжелым оказался этот праздничный день для Николая. Ах, Степан, несчастный Степан!

На Сенной

Мне выпало на долю с детства
видеть страдания русского мужика.

Н. Некрасов

Была суббота. Занятия в гимназии закончились раньше, чем в обычные дни. До понедельника Николай свободен. Вот когда только полностью познается вся прелесть своекоштного[30] житья! Из пансионата Иуда, конечно, никого сейчас не отпускает, велит пуговицы чистить, койки заправлять. Потом, к вечеру, часа два псалмы будут петь. Умрешь от тоски! А тут – волюшка вольная, иди на все четыре стороны.

– Куда направимся, Андрюша? – спросил он брата, лежавшего с открытыми глазами на диване. – Может, просто по городу побродим?

– Пожалуй, – равнодушно ответил Андрюша. – Но далеко не пойдем. Дождь, верно, будет. У меня поясницу ломит.

Николай невольно улыбнулся:

– Эх ты – ни смолоду молодец, ни под старость вдовец…

Шагали не спеша, заложив руки за спину. С сонной Воскресенской улицы свернули на бойкую Торговую линию. Мрачно чернели здесь следы недавнего пожара. Лабаз, в котором едва не погибли бурмакинские парни, совсем обвалился. Только закопченная кирпичная труба торчала, как грязный шершавый палец, уставленный в голубое небо. В памяти Николая всплыла картина того утра, когда он увидел Степана. Где-то он теперь? Как себя чувствует?

У Знаменских ворот купили каленых семечек. Дружно грызли, выплевывая шелуху прямо на деревянный, выщербленный тротуар. Откуда такая сила в этих мелких серебьких зернышках? Попадутся они – не оторвешься. Так и тянут к себе, как магнит.

В самом центре города, посредине Власьевской улицы, поросшей пыльным подорожником, бродили куры. В грязной луже, блаженно переваливаясь с боку на бок, сладко хрюкала жирная свинья.

На углу улицы виднелась продолговатая, из жести вывеска:

Торговая лавка купца 1-й гильдии Златоустовского и К⁰

На витрине аккуратно разложены пучки свежего лука, алой

редиски, петрушки, сельдерея.

Мишка как-то похвалялся, что у его отца магазин в Санкт-Петербурге – настоящий дворец. Сам главный повар государя-императора *в* нем бывает. Заказывает для царской кухни огурцы, капусту, редьку, хрен, морковь, ранний картофель.

Сейчас Мишка, наверно, дома сидит, к экзаменам готовится. Только вряд ли его переведут в следующий класс. У него колами – пруд пруди.

Но Мишка и не думал корпеть над учебниками. Долговязая его фигура неожиданно вывернулась из-за угла. Он сразу заметил братьев и закричал на всю улицу, как в лесу:

– Эй вы, Некрасики-карасики! Куда путь держите?

Пришлось признаться, что бредут они без всякой цели, просто так.

– Эге! Иду туда, не энаю куда, – захохотал Мишка. Затем уже серьезно добавил: – Давайте-ка, братики, к нам. В гости. Кваску попьем. А?

Кваску? Николая передернуло. Но отказаться было неудобно, обидится Мишка.

– Только ненадолго, – сказал обычно молчаливый Андрюша. – На полчасика.

Дом купца Златоустовского стоял на Нетече – короткой, словно обрубленной, улице. Снаружи здание было мало привлекательньш. Окна нижнего этажа – подклета, неуклюжие, пересеченные вдоль и поперек железными прутьями, на ночь закрывались тяжелыми скрипучими ставнями. Второй этаж подслеповато и равнодушно смотрел на проходивших внизу людей полукруглыми стеклами-глазами.

Но за высокими воротами, откуда доносилось хриплое урчание собаки, картина сразу менялась. Просторный чистенький двор был посыпан крупным желтым песком. Все кругом утопало *в* зелени. Всюду цветы: на клумбах, на куртинах, вдоль прямых и узких дорожек. Чуть в отдалении виднелись грядки с укропом. Пряный, острый запах доносился оттуда.

– Дядя Потап! – закричал Мишка, завидев бородатого человека в длинном фартуке и метлой в руках. – Сделай милость, скажи Пелагеюшке, чтобы кваску медового нам подала. С клюквицей.

Вскоре явилась Пелагеюшка – большескулая, с лукавыми глазами-щелками молодица. Она принесла на подносе запотевший глиняный кувшин с квасом, три большие кружки – тоже из глины – с узорчатыми рисунками по бокам, и глубокое деревянное блюдо с духовитыми мочеными яблоками.

– Пейте, братики, на здоровье, – хозяйски потчевал Мишка.

Но Николай, с опаской наполнив кружку лишь наполовину, понюхал: не такой ли, как в «Царь-граде»?

Мишка понял сомнения друга, засмеялся:

– Настоящий квасок! Домашний. С изюмом. Пелагеюшка у нас мастерица.

Потом начал оживленно рассказывать:

– Слыхал? Позавчера Туношенка в участок угодил. Пьянехонек был – в стельку. На улице подобрали. Теперь до директора дошло. Как бы не выгнали его из гимназии. Куда он денется?

– Может, и не выгонят, – сказал Николай. – Может, обойдется. – Ему сделалось жалко Туношенского. В конце концов он очень несчастен. Неудачник! Оттого, видно, и пьет.

– Может, и обойдется, – согласился Мишка. – А наш Порфирий, думаешь, не лакает? Тоже закладывает душенька. Вино каждый-всякий любит.

– Вот и нет, – вздохнул Андрюша. – Уж вот я никогда не полюблю вино. Ничего в нем хорошего. Кто его только придумал, зелье это поганое?

– Ну, ну, ну, не очень-то на нас, грешных, нападай! – поднимая кружку, заулыбался Мишка. – Не любо – не пей, а другим не мешай.

И он запел, невероятно фальшивя, закатывая глаза под лоб:

– Вино, вино, на радость нам дано!..

С шумом поставив пустую кружку на стол, он покровительственно похлопал Андрюшу по плечу:

– Не зря, брат, говорят: на Волге – вино по три деньги ведро, хошь пей, хошь лей, хошь окачивайся. Верно, Никола?

В окнах соседнего дома зазвучала тихая музыка. За высоким забором, окрашенным бледной голубой краской, кто-то играл на клавесине. Неокрепший девичий голосок дел:

Последний час разлуки
С тобой, мой дорогой.
Не вижу, кроме скуки,
Отрады никакой…

Дрогнуло сердце у Николая. Вот так играла на стареньком рояле в углу гостиной мать, так она пела про березу, про дальнюю дорогу, про ямщика, про колокольчик, уныло звенящий под дугой. Из камина струилось тогда мягкое успокоительное тепло. И грустно, и радостно было на душе. И никуда не хотелось уезжать из родного дома. Николай почувствовал, как в глазах его навертываются слезинки. Смахнуть их носовым платком –

неловко. Заметит Мишка, засмеет. Вот, скажет, баба какая! Да еще, чего доброго, подтрунит потом где-нибудь при случае.

Но Мишка, кажется, и сам был растроган. Он даже рот открыл, прислушиваясь к пению.

– Кто это, кто? – тронув его за плечо, прошептал Николай.

– А? Чего? – обернулся Мишка.

– Кто это, спрашиваю? Ты знаешь?

Мишка вдруг присвистнул, щелкнул пальцами:

– Еще бы не знать! Юлечка!

– Какая Юлечка?

– Обыкновенная. С косичками. Губки бантиком.

– Не паясничай. Ответь как следует. Мишка по-озорному прищурился и пошел, и пошел тараторить:

– Ага! Еще и не видел, а уже влюблен по уши. Погоди, то ли будет. Вирши ей 'начнешь посвящать. На колени встанешь. Это в твоем духе.

– Перестань!

– Только имей в виду: она тебе не пара. Заранее предупреждаю. Ее отец – важная персона: чиновник особых поручений самого губернатора. Это тебе не какой-нибудь помещичек, который не платит за гимназию.

Ну, это уж через край. Понятно, на что Мишка намекает. Значит, и ему известна история с сорока восьмью рублями.

Но Мишка понял, что пересолил. Он решил загладить свою вину:

– Хочешь, познакомлю тебя с ней? Она, брат, умница. В Петербурге обучается, в благородном институте. Да, да. Но она простая, не задается, носа ке задирает. Сам увидишь…

Не успел Николай ничего сказать, как Мишка быстро скользнул к голубому забору, за которым слышалась музыка:

– Юлечка! – закричал он. – Юлия Васильевна! Ау!

Звуки клавесина оборвались, невидимая певица замолчала. Вскоре Мишка начал оживленно разговаривать с кем-то, стоящим по ту сторону забора. Это продолжалось минуты три. Наконец на весь сад загремел Мишкин голос:

– Господин Некрасов! Пожалуйте сюда! Николай смутился.

– Пойдем, Андрюша, – пригласил он брата, нехотя поднимаясь со скамьи.

Но тот устало закрыл глаза:

– Иди один. Тебя ведь зовут. Я посижу. Голова что-то опять заболела…

Мишка стоял у куста отцветшей сирени и, глядя в узкое пространство между досками забора, что-то с увлечением рассказывал.

– А вот и он, наш ярославский пиит! Ого-го-го! – загремел Мишка. – Сейчас я вам представлю его, Юлечка!

Щеки Николая вспыхнули. Этого еще недоставало! Все, все, должно быть, разболтал Мишка. Даже про стихи. Он хотел тут же уйти, но Мишка уже тянул его за рукав прямо вплотную к забору.

– Он, Юлечка, и обо мне вирши накропал. А я его, представьте, отдул за это.

По ту сторону ограды зазвенел задорный смех. Только был он не девичьим, а каким-то детским. Так смеются девчонки лет десяти-двенадцати. Неужели это и есть та самая Юлечка, которая пела про «последний час разлуки»?

– Извольте, Юлечка, подать господину Некрасову ручку. Не бойтесь, он не укусит. Он смирный, домашний.

Из-за ограды протянулась тонкая худенькая рука с красивыми длинными пальцами:

– Здравствуйте, господин Некрасов!

Николай увидел ее лицо. Большие, доверчивые, васильковые глаза. Чуточку вздернутый нос, мягкие, пухлые губы, еле заметный румянец на щеках. Во всем облике Юлечки было что-то наивное. Так и хотелось потрогать ее голубой бантик на голове, погладить русые волосы. Девчонка, совсем девчонка, решил он.

– Здравствуйте, – ответил Николай и осторожно пожал длинные пальцы девушки. Какое-то непонятное смущение овладело им. И чтобы не выдать себя, он развязно заговорил:

– Не слушайте вы его. Он столько наплетет, в два короба не уложишь. Это я его тогда отлупил, а не он меня.

– Вы? – удивленно вскинула брови Юлечка. – Не может быть. Такого большого? Как же это так?

– Брешет! – нерешительно отозвался Мишка. – Тронул, как кошка лапой.

– Ой, не говорите! – оживилась Юлечка, – кошки больно царапаются. Вот возьмите нашу Пусечку. Она такая ласковая, бархатная, мурлыкает, на колени забирается. А один раз цап-царап меня коготками по руке. Кровь так и брызнула. Я в испуге на весь дом закричала.

– Это бывает, – снисходительно согласился Мишка, – небось дразнили ее?

Юлечка замахала руками:

– Нет, что вы, что вы! Я ее по спинке гладила.

– Супротив шерсти, надо полагать. Тогда понятно. Кошачий род это не любит, – тоном знатока заключил Мишка. И, сорвав двумя пальцами листочек сирени, добавил: – Даже зайца супротив шерсти погладить – и тот начнет кусаться. У каждого свой карахтер.

– Характер, – осторожно поправил Николай. Мишка бросил на него взгляд, полный нескрываемого презрения:

– Учи ученого! Сам знаю.

Юлечка постаралась перевести разговор на другое.

– Я так люблю стихи! – воскликнула она. – Мой дядюшка – поэт. Не доводилось ли вам, господин Некрасов, читать в петербургских журналах сочинения Катанина?

– Катанина? – радостно воскликнул Николай. – Петра Васильевича?

– Откуда вам это известно? – изумилась Юлечка.

Как же! Николай встречался с ним. В чудесном, сказочном имении. С волнением, сбивчиво и торопливо начал он рассказывать о своей поездке в детстве в Костромскую губернию.

Юлечка то опускала, то удивленно поднимала глаза. Но когда Николай стал говорить о дорогом подарке, о стихах Пушкина, Мишка перебил его.

– Вы думаете, это правда, Юлечка? – хихикнул он. – Выдумывает он, ей-богу, выдумывает. Это у него – воображательная фантазия. Они, виршеплеты, все одним миром мазаны.

Николай растерялся, покраснел, как рябина осенью. Зачем Мишка ставит его в такое глупое положение? Юлечка, пожалуй, и поверит.

– Хотите, я сейчас эту книгу принесу? Она у меня на квартире… Недалеко, – дрогнувшим голосом произнес Николай.

– Ха! – хорохорился Мишка. – И никакой у него книжки нет. Выдумывает!

Николай обиделся и толкнул приятеля в грудь:

– Нахал! А еще в гости заманил.

В другом месте Мишка непременно дал бы сдачи, но сейчас ему не хотелось выглядеть драчуном.

– Ладно уж, – миролюбиво сказал он, – пошутили – и хватит. А то Юлечка бог знает что о нас подумает. Так?

– Нет, что вы, – успокоила девушка, – я понимаю шутки, – и она снова заговорила с Николаем:

– Мой дядюшка теперь далеко.

– В столице?

– Увы, – печально покачала головой Юлечка, – на Кавказе.

– На водах? Лечится?

– К счастью, он здоров.

– Что же он там делает?

– Ему приказали уехать туда.

– Кто приказал?

Юлечка ответила не сразу. В глазах ее отразилось

беспокойство. Она приложила палец к губам:

– Тс-с. Третье отделение![31]

Николаю хорошо было известно, что о Третьем отделении надо говорить шепотом.

– Третье отделение, – повторила Юлечка. – Граф Бенкендорф…[32]

– Да бросьте вы про стихотворцев болтать, – прервал Мишка, которому надоело слушать. – Подумаешь, как интересно.

Юлечка вспыхнула:

– Мишель, когда вы научитесь быть вежливым?

Мишель! Николай чуть не прыснул от смеха.

Мишке это имя – как корове седло.

А тот вдруг засвистел и, небрежно сунув руки в карманы, снисходительно сказал:

– Можете любезничать вдвоем. Мешать не буду. И отошел в сторону.

Странно ведет себя Мишка. То ли шутит, то ли всерьез.

– Извините, господин Некрасов, – заторопилась Юлечка. – Мне пора. У меня урок.

Она поклонилась и исчезла. Потом из-за кустов сирени снова послышался ее нежный голосок:

– Господин Некрасов, а когда вы почитаете мне свои стихи? Приглашаю вас в гости. Пожалуйста, не отказывайтесь. У нас в доме все очень просто…

Подошел Мишка, блаженно ухмыльнулся:

– Ну, как Юлечка? Хороша?

– Девчонка как девчонка, – стараясь быть равнодушным, ответил Николай, – обыкновенная. Маменькина дочка.

– Вот и нет. Ошибаешься, – горячо заступился за Юлечку Мишка. – Она сирота. Мать у нее давным-давно умерла. А ты – «маменькина дочка»…

Без Юлечки стало скучно. И к тому же Андрюша начал ныть:

– Пойдем. Уже целый час прошел. Я рисовать хочу.

С недавних пор Андрюша повадился ходить куда-то на Волгу. С большим альбомом, с цветными карандашами. Ну, ни дать ни взять – художник!..

Вышли за ворота. По улице валом валил народ. Должно быть, опять где-нибудь пожар.

– Где горит? – спросил Николай торопливо проходившего мимо них пожилого морщинистого человека с засученными рукавами. Тот посмотрел на гимназиста, опасливо оглянулся и, постучав рукой по груди, ответил:

– Тут вот горит, тут…

В разговор вмешалась старуха в темном платье с опущенным

на лоб черным платком.

– Злодеев казнить будут, – зашептала она. – На Сенной. Бают, на царя-батюшку они руку поднимали. Охо-хо!

Николая, словно ножом, резануло по сердцу. Две недели прошло с тех пор, как схватили Степана. Неужели будут казнить? За что? За какое преступление? Ведь они не поднимали руку на царя, они на земле лежали, Николай сам все видел.

– Побежим на Сенную, – предложил он брату.

– Один иди. После расскажешь.

Впереди застучали барабаны, раздался визгливый звук флейты. Барабаны били глухо, с перерывами, а флейта, словно по покойнику, голосила.

Николай догнал направлявшуюся к Сенной толпу. Стал пробираться дальше, туда, где грохали барабаны и пищала свистулька-флейта. Вот и солдаты. Их спины перепоясаны крест-накрест полотняными ремнями. Мерно, в такт шагам, качались на плечах тяжелые ружья. Шуршали белые, не первой свежести штаны из лосиной кожи, плотно обтягивавшие нахоженые солдатские ноги.

В толпе становилось все теснее. Приходилось действовать локтями. Толкались со всех сторон. Но Николай не замечал ничего. Глаза его упорно искали Степана. Где он, где?

Солдатский строй повернул направо. И тотчас Николай увидел Степана и его товарища. Они шли с опущенными головами, обросшие и худые. Выставленные вперед руки были скованы железными обручами. На ногах звякали цепи.

Вот и Сенная. Пыльная, грязная. Посредине нее – деревянный, грубо сколоченный из сосновых досок помост. По нему важно прохаживался, скрипя сапогами, палач в шелковой красной рубашке.

Солдаты вышли на середину площади. Усатый офицер, шагавший впереди, стоя с оголенной шашкой в руке, скомандовал:

– Стой!

Тупо стукнули о землю ружейные приклады. Враз утихли барабаны; взвизгнув напоследок на самой высокой ноте, замолчала флейта. Ровным четырехугольником окружили солдаты помост, скрыв Степана и его товарища. А позади, тоже со всех четырех сторон, глухо гудела толпа. Не праздничная и оживленная, как в день приезда царя, а строгая, суровая, сумрачная, как осенняя туча.

Снова забили барабаны. На этот раз дробно-сердито, словно негодуя. Николай увидел, как на помост поднялся бритый человек в длинной черной мантии. Он поднял руку. Барабаны

умолкли. Солдаты взяли «на караул». Площадь замерла.

Развернув перед собой бумажный свиток, бритый человек начал читать вслух. Сначала нельзя было разобрать ни одного слова. Все сливалось в какое-то монотонное, шмелиное гудение. Но постепенно звуки становились яснее, и вот уже Николай услышал:

– А означенные злодеи – Максим Беляев, он же, как судом и следствием установлено, беглый крепостной Степан Петров, а також вместе с ним работный человек владельцев Ярославской большой мануфактуры господ Яковлевых Федор Маркелов, предерзостно, яко бунтовщики, нарушили священный покой его императорского величества…

Бритый человек едва не задохнулся, прочитав все это до конца. Он вытянул из кармана платок, громко высморкался.

– А посему суд определил…

Николай задрожал от волнения. Вот оно – главное! Неужели права старуха? Какой кошмар!

– Беглого крепостного Степана Петрова, – продолжал читать человек в мантии, – а також работного человека Федора Маркелова бить нещадно плетьми, чтобы им впредь неповадно было…

Значит, жив Степан останется. Не отрубят ему голову. Но душа Николая болела по-прежнему. Ведь могут до смерти засечь. Трифон однажды рассказывал, как по приказу графа Аракчеева одного солдатика секли «без доктора». До тех пор били, пока он дышать не перестал.

А бритый человек читал дальше:

– По совершению же вышеуказанной экзекуции Степана Петрова да Федора Маркелова в солдаты сдать и в действующую армию на Кавказ направить под неусыпное господ офицеров наблюдение…

Над толпой словно холодный ветер пролетел. Зашумели кругом, задвигались, заговорили:

– Повели, повели. Сейчас начнут…

С трудом вырвался Николай из толпы. Никакая сила не заставила бы его смотреть на Степановы муки. Он долго бежал по улице, оставляя позади страшную Сенную площадь. Свернул *в* какой-то проулок и на поросшем крапивой пустыре опустился на землю, обхватив голову руками, и горько заплакал.

Почему так все плохо устроено на земле? Кто придумал это жестокое крепостное иго?

Вспомнилось, как однажды учитель истории Константин Никитич Раменский, суровый человек, говоря о гражданском праве Древнего Рима, сказал:

– Раб не есть лицо, раб есть вещь. Так утверждали знатные римляне. Посему имели они право продать своего раба, яко вещь, наказать его по своему усмотрению и даже лишить жизни.

Выходит, за тысячу с лишним лет ничего не изменилось. И теперь крепостных продают, как вещи, как скот, и теперь наказывают и даже лишают жизни. Что же это такое? Можно ли это изменить? Как? Есть ведь на свете люди, которые хотят всех сделать свободными. И Степана, и его друга по несчастью, работного человека Федора Маркелова – всех, всех!

«Восстаньте, падшие рабы!» Кого это призывал Пушкин? Не римских же рабов! Их давно нет в живых…

Мысли его были прерваны прошедшими мимо людьми. Они возбужденно разговаривали:

– А тот самый русый, Степаном которого кличут, даже стону не подал. Будто и не его били.

– Молодчага парень! Жалко его – под «красную шапку» угодил. Это – как в острог!

– Зазря ребят губят, зазря. Не виноватые они.

– Тише… Услышат…

Итак, Степана отдали в солдаты – «под красную шапку». На целых двадцать пять лет. Ужасно! Солдат – уже не человек. Николай вспомнил, как в Грешневе провожали двух рекрутов. Ночью их держали в холодном сарае под замком, а утром со связанными руками посадили в телегу. По бокам – солдаты с ружьями. Рекруты кланялись. Женщины голосили. Причитали матери-старухи:

– На кого вы нас, бедных, спокидаете? Кто нас, сиротушек, от людей злых да укроет? Пропадете на чужой сторонке… Не увидим вас во веки-вечные…

А он увидит когда-нибудь Степана? Может, еще не увели его с площади. Может, удастся ему рукой помахать…

Но на Сенной было уже пусто. Мрачно возвышался деревянный помост со следами крови на смолистых досках, и какая-то бездомная собака выла подле него.

– Прощай, Степан! – прошептал Николай. – Прощай!

Темное облако надвинулось на солнце. Еще мрачнее сделалось вокруг.

Прощай, гимназия!

Куда ж идти? К чему стремиться?
Где силы юные пытать?

Н. Некрасов. «Несчастные»

Перед экзаменами время тянулось особенно медленно. Казалось, конца ему не будет. Уже на носу петровки, и не так сладко заливаются на ясных зорьках в береговых кустарниках соловьи, уже заалела на солнечных кочках первая земляника, а экзамены все еще не начинались.

Признаться, дела Николая складывались неважно. Если уж говорить точнее – очень плохо. Годовые отметки не радовали. Единиц и двоек – порядочно.

Вопреки ожиданиям, самый высокий балл – четверку – поставил лишь отец Апполос по закону божьему. Очень ему понравилось, как Николай притчу о блудном сыне рассказал.

– С душой глаголил, сын мой, с душой, – довольно повторял отец Апполос. – Зело наставительная проповедь. Уму-разуму учит младое поколение наше, яко воистину во путях жизненных заблуждающееся…

От отца Апполоса пахло дорогими духами, а шелковая фиолетовая ряса сидела на нем. как модный светский костюм.

По латыни у Николая все годы были только двойки. Давно находился он с ней не в ладах. Известно почему: «Туношенского наука – учить ее скука».

Но Петр Павлович не забыл оказанную ему услугу и поставил Николаю годовую тройку и по латыни, и по риторике.

Карл Карлович Турне решительно вывел в журнале свой любимый кол, сопроводив его, как обычно, глупой присказкой:

– Если хочешь быть счастлившик, кушай в Ницца чернослившик…

Так же легко расправился и злой Мартын.

Оставалась еще математика. Николай пытался было одолеть ее один. Но очень скоро почувствовал, что это ему не под силу. Математика требовала строгой последовательности. Не зная какого-либо предыдущего правила, новой задачи не решишь. А Николай немало пропустил уроков, да к тому же и в учебник редко заглядывал. Мудрено ли поэтому, что он блуждал в алгебраических буквах и числах, как в темном лесу, что уравнения с двумя и тремя неизвестными казались ему

недоступной китайской грамотой.

Что ж, придется обращаться за помощью к Мишке. Математику он знает. Видно, отец внушил: без цифири – какая торговля!

В прошлом году, на удивление всему классу, Мишка в один присест решил задачу, над которой бились чуть не целый час. Задача эта казалась на редкость заковыристой. Говорилось в ней про какие-то бочки А, В и С. От них мозги набекрень лезли. А Мишка только ухмыльнулся:

– Бочки? Гляди, с вином?! Гы! У нас их в магазине видимо-невидимо.

И в два счета решил задачу. Каждой бочке объем определил. Вот какой математик Мишка!

Беда только, что с тех пор, как они поссорились в саду из-за Юлечки, он теперь не здоровается, грубит. Что с ним случилось? Будто подменили его. Раньше быстро забывал обиду.

Сунув под мышку тетрадь и учебник Беллявена, Николай отправился на Нетечу.

Мишки дома не оказалось.

– Небось, купаться убег, – ласково поздоровавшись, сказала его мать, румяная, добродушная женщина, – чай, скоро явится. А вы подождите его в саду, эвон там, на скамеечке. Может, кваску желательно, голубчик? Я распоряжусь…

Николай поблагодарил, но от квасу отказался. Он углубился в сад, сел в тени на скамейке, раскрыл книгу. Ох, попробуй-ка в ней разобраться – куча всяких иксов, игреков, зетов! Скобки простые, скобки квадратные, скобки фигурные… Минусы, дающие плюсы… Радикалы… Фу!..

Николай отложил учебник в сторону. На вершинах лип забавно перекликались скворцы, передразнивая кого-то. Чирикали воробьишки в кустах. Где-то в стороне басом мяукнул кот. Неуверенно, будто стесняясь, кукарекнул молодой петушок.

– Здравствуйте, господин Некрасов! – мелодично прозвучало вдруг за спиной Николая. – Что вы здесь делаете в полном одиночестве?

За оградой, на том же самом месте, что и в прошлый раз, стояла в легком белом платье Юлечка. На щеках ее – слабый румянец.

Николай растерянно вскочил со скамейки. Вот уж никак не ожидал он, что Юлечка сейчас появится. Конечно, он думал о ней, надеялся увидеть ее сегодня. Но только не так неожиданно.

– Почему вы молчите, господин Некрасов? – продолжала Юлечка, улыбаясь. – Вероятно, я оторвала вас от важных дел?

– Нет, помилуйте, что вы, – застенчиво сказал Некрасов. –

Здравствуйте!.. Добрый день!.. Я очень рад… Вы, как в сказке… из-под земли выросли…

Юлечка звонко рассмеялась:

– Однако я на вас сердита. Обещали прийти в гости и не сдержали своего слова. Ай, ай! Разве можно так поступать, господин Некрасов?…

Приятно было слушать этот милый ласковый голосок. Только почему Юлечка упорно называет его господином Некрасовым? К чему такая официальность? Впрочем, она, наверное, и не знает его имени. В прошлый раз Мишка представил его господином Некрасовым. Так и пошло.

– Что вы изволите читать? – вытягивая шейку, любопытствовала Юлечка. – Что-нибудь интересное, занимательное?

– Какое там! – хмуря брови, протянул Николай. – Математика.

– Беллявена?

– Она самая.

– Я вижу, вы не очень-то любите математику?

– А кто ее любит? – безнадежно махнул рукой Николай. – Может, вы?

Юлечка закачала бантиками:

– Угадали, угадали! Я так ее люблю, что готова бежать от нее за тридевять земель.

– Это серьезно? – Николай искренне обрадовался. – У вас по алгебре тоже единицы?

– Ой, что вы! – замотала головой Юлечка. – Единицы? Я с ума сошла бы от отчаяния.

– А я вот не схожу, – помрачнел Николай. – Кол не так уж страшен. У нас в гимназии к нему привыкли… Все!

– Все? И Мишель тоже?

Опять Мишель! Уж не сказать ли Юлечке, чтобы она его так больше не называла?

– Нет, он у нас Пифагор, – поддержал Мишкину честь Николай, – любую задачу мигом решит.

Лукаво покосившись, Юлечка вдруг спросила:

– А не доводилось ли вам, господин Некрасов, видеть в одном старинном журнале такую картину: стоят по разные стороны забора кавалер и барышня, беседуют, наверное, уже битый час, и никак не догадаются, что удобнее им разговаривать на одной какой-либо стороне?

– Что-то я такой картины не видел, – простодушно ответил Николай.

– Ой, какой вы недогадливый, – укоризненно закачала

головой Юлечка. – Следовало бы вам понять, что я любезно приглашаю вас пробраться в наш сад.

Николай изумился:

– Через забор?

– Что, боитесь костюмчик порвать? Дома бранить будут?

Эге! Юлечка-то, оказывается, не такая уж безобидненькая, как думал Николай прежде. Он бросил книгу на траву и, уцепившись руками за доски, приготовился перемахнуть через забор.

– Ой, господин Некрасов! – испугалась Юлечка. – Вы ведь и в самом деле прыгнете… Сюда, сюда идите! – она, потянула Николая за плечо, осторожно отодвинула в разные стороны две старые доски. Теперь, правда не без труда, можно было пробраться в соседний двор.

– Пожалуйте, господин Некрасов! – и Юлечка грациозно сделала реверанс.

Но Николай не решался. Лезть в чужой сад? Словно мальчишка, почти на животе?

– Что же вы медлите, господин Некрасов? Я жду.

Эти слова прозвучали, как приказание и, согнувшись в три погибели, Николай перебрался на другую сторону. Рубикон был перейден!

– Поздравляю, поздравляю! – весело восклицала Юлечка. – Вы совершили героический подвиг. Жаль, нет у меня лаврового венка, чтобы украсить ваше чело. Даже дубовый не могу предложить. Хотите липовый? – она протянула руку к низко нависшей над забором ветке. – Чем липа хуже? Не понимаю.

– Я тоже, – шутливо поддержал Николай. – Из нее великолепные лапти плетут. В них куда как удобно!

– Можно подумать, что вы и сами не прочь в лапоточках пощеголять. По Дворянской улице. Ха-ха-ха! – весело смеялась Юлечка. – Представляю себе, отлично представляю: господин Некрасов в парадном мундире и липовых лапотках!

Лукавые искорки так и мелькали в глазах Юлечки. Поддаваясь ее настроению, Николай быстро освободился от охватившего было его чувства неловкости. Он все больше настраивался на тот задорно-игривый лад, который создавала своей милой болтовней Юлечка.

– А вы слышали, как в деревне про лапти поют? – спросил он, и когда Юлечка отрицательно покачала головой, топнул ногой, подбоченился и негромко пропел:

Эх, лапти мои,
Лапоточки мои!
Износились, не спросились,

Истоптались, не сказались.

– Браво, браво! – захлопала в ладоши Юлечка и повела гостя по саду. Шла она впереди, заложив маленькие ручки за спину, словно придерживая красивую, туго заплетенную косу с голубым бантом.

Юлечкин сад был обширнее, чем у Златоустовских. Росли в нем редкие для Ярославля деревья – лиственницы, кедры, пирамидальные тополя. Вдоль дорожек застыли беломраморные Зевс-громовержец, Аполлон – покровитель искусств, Фемида – защитница правосудия, Диана – богиня охоты с колчаном и стрелами. Могучий Геракл разрывал цепи на своей груди, горные орлы клевали сердце Прометея, похитившего огонь у богов.

Да, хозяева сада высоко ценили искусство. По всему видно. Не то, что Мишкин отец.

В самом конце сада свисали с перекладины длинные веревки. Качели!

– Хотите покататься? – спросила Юлечка. – Не боитесь?

Чего тут бояться! Николай не из робкого десятка. Эти качели – детская забава. Вот если бы «гиганты», как на ярмарке.

– Давайте вместе, – предложил Николай.

– Благодарю вас, господин Некрасов. Но я ужасная трусиха. Голова у меня кружится. Так что, пожалуйста, вы одни…

Один так один! Можно и одному. Дело несложное.

Николай поправил веревки, натянул их, как положено, встал ногами на доску и начал качаться. Раз-два, раз-два! Постепенно его движения становились все более плавными и сильными. Вверх-вниз, вверх-вниз! Теплый ветерок трепал волосы на голове, посвистывал в ушах. Хорошо!

А Юлечка глядела на него с восхищением и завистью.

Но вот он сделал сильный рывок. Доска приняла вертикальное положение.

– Ой, пожалуйста, осторожнее! – испугалась Юлечка.

– Ничего! Я не Икар! К солнцу не улечу! – выкрикивал Николай, то приседая, то поднимаясь на доске.

– Слышите, я боюсь, – продолжала тревожиться Юлечка, просительно сложив руки на груди.

– А вы не бойтесь, – раздался насмешливый голос из кустов. – Ничего с ним до самой смерти не случится!

Николай замер. Это Мишка появился. Начнет теперь дурачиться.

И верно. Выбравшись из кустов, Мишка бесцеремонно глядел то на Николая, то на Юлечку.

– Ай да мы! Знай наших! Я-то своего приятеля ищу, а он девицу развлекает.

– Мишель! – вспыхнули щеки у Юлечки. – Это очень невежливо! Это бестактно, наконец!

– Как вы сказали, Юлечка? – ухмыльнувшись, спросил Мишка. – Что-то я не понимаю вас. Нихт ферштейн! Но компрене! Ни бельме!

Юлечка расхохоталась. Да и как же можно было удержаться: сразу на четырех языках изъяснялся Мишка – русском, немецком, французском и татарском.

Но Николаю было не до смеха. Он всерьез опасался, что Мишка выкинет какой-нибудь номер, поставит его и Юлечку в неудобное положение. Все медленнее и медленнее качалась доска. А когда она почти остановилась, на другой ее конец бойко вскочил Мишка.

– Давай, нажимай! – задорно крикнул он и, согнув в коленях свои длинные ноги, толкнул доску вперед. – Их ты! Пошли-поехали!

Доска сразу же взвилась. Ну и силушка у Мишки. Богатырская.

Николай старался не отставать. Он тоже вовсю нажимал ногами. Как уключины в лодке, жалобно взвизгивали железные крючья, заметно накренились вбок державшие перекладину деревья. Уже головы качающихся оказывались внизу, а ноги вверху. Спирало дыхание.

– Довольно, мальчики, довольно! Убьетесь! – чуть не плача, уговаривала Юлечка, встревоженная азартом друзей. Но не так-то легко было унять их.

– Мальчики, остановитесь! Ради бога, остановитесь! – полным отчаяния голосом вскрикивала девушка.

Не тут-то было.

– Наддай, наддай! – надрывался Мишка. Он, кажется, совсем ошалел, глаза, как у пьяного.

– Вверх-вниз, вверх-вниз! Не удастся Мишке обставить Николая. Небось думает, что он пардона запросит. Шалишь! Ни за что Николай не сдастся.

Состязание не ослабевало ни на секунду. Долговязый Мишка сгибался чуть не вдвое, когда он с диким уханьем устремлял доску вверх.

– Боже мой, да что же это такое? – стоя посредине садовой дорожки, всплескивала руками Юлечка. – Когда же конец?

Николаю было жалко Юлечку. Но крикнуть Мишке, что пора кончать, значит, показать свою слабость. Нет уж, пусть он первый сдается.

А Мишка и не думал сдаваться. Вот он с силой нажал доску и сам не устоял. Руки оторвались от веревок, и он упал почти к самым ногам Юлечки.

За ним свалился и Николай. Ему здорово не повезло: перевертываясь на лету, тяжелая доска больно ударила его по лбу. Красные и зеленые искорки замелькали в глазах. На минуту он потерял сознание, а когда стал приходить в себя, то почувствовал: кто-то нежно целует его в лоб.

– Николенька, милый! Живы? – Это Юлечка. Губы ее дрожали, лицо было очень бледное.

Что это? Неужели послышалось ему? «Николенька»? Ведь еще какую-нибудь минуту назад она упорно называла его «господином Некрасовым». «Николенька!..» Заликовало сердце.

– Ничего с ним не сделается… до самой смерти! – послышался недовольный Мишкин голос. – Напрасно пужаетесь!

Он сидел на траве, прислонившись спиной к скамейке. Брови его были нахмурены…

– Вам очень больно? – будто не замечая Мишки, спросила Юлечка и незаметно погладила Николая по голове.

– О нет, пустяки, – слабо отозвался он.

А Мишка снова дал знать о себе:

– До свадьбы доживет!

Потом он поднялся, отряхнул с себя пыль, подошел к Николаю и уже дружелюбно произнес:

– Эх ты, Никола-мученик! Вставай! – и протянул ему обе руки.

Николай быстро поднялся. Саднило лоб, в коленках какая-то слабость. А в общем, все в порядке. Легко отделался. Могло бы быть и хуже.

– Извините, пожалуйста, – обратился он к Юлечке, опуская глаза. – Мы напугали вас.

– Да, да, сделайте милость – извините! – опять закривлялся Мишка. – Мы больше не будем, мы пай-мальчики!..

На лице Юлечки мелькнула слабая улыбка:

– Мишель, вы неисправимы!

Она поправила волосы на голове и, обращаясь к друзьям, радушно и весело сказала:

– А теперь я хочу напоить вас чаем. С вареньем. Пожалуйста, не отказывайтесь. Вы заслужили.

Все вместе направились к дому, видневшемуся в просветах зеленых деревьев. Вдруг Мишка остановился:

– Адью! Мне направо.

Юлечка недоуменно подняла брови.

– Разве вы не хотите чаю?

– Премного вам благодарны, – расшаркался Мишка. – Вы уж его одного попоите. Он заслужил. Ни-и-коленька!

Пришлось и Николаю отказаться. Ничего не поделаешь! Если пойти без Мишки, значит, дружбе конец. А они еще могут поладить.

– И зачем ты эту историю затеял? – укоризненно спросил Николай, когда они снова оказались в Мишкином саду.

– А ты зачем один туда забрался?

– Тебя не было. А она позвала.

– Мог бы и подождать: не горело!

– Прости, не догадался. Честное слово!

– Не верю.

Чертя ногой по песку, Мишка уныло продолжал:

– Настоящие дружки так не делают. Я тебя с ней познакомил? Познакомил. А ведь мог и скрыть, если бы был ягоистом.

– Эгоистом, – осторожно поправил Николай.

– Вот видишь: опять ты поперек лезешь. Кто тебя за язык тянет? Ягоист, эгоист – какая разница. Я-то не навязываюсь к тебе в учителя. У меня не будешь уроки брать.

«Эх, ошибаешься, друг!», хотел сказать ему Николай. Но так и не сказал – обстановка была явно неподходящая. Все равно теперь Мишка не станет с ним заниматься по математике.

Оставалось только молча встать, поднять книгу и направиться к выходу.

Мишка не догнал его, не распрощался. На этот раз разлад грозил стать серьезным.

В расстроенных чувствах Николай дошел до набережной. Спустился к Волге. Не торопясь разделся, с наслаждением окунулся в воду и поплыл на середину реки.

Тонкое голубое марево плыло над Волгой. На той стороне, у переправы, звонко ржали лошади. Белые чайки с хохочущим криком стремительно падали на светлую поверхность воды.

Только к вечеру Николай вернулся на квартиру. Трифон встретил его ворчанием:

– А обедать кто будет? Андрей Лексеич обратно заболевши. Вы бог весть где пропадаете. Для ради чего я тогда такие вкусные щи сварил? Не псам же выливать…

Вдруг Трифон в удивлении отступил назад:

– Миколай Лексеич! С нами крестная сила! Кто это вам эдакий рог подсадил?

Николай невольно провел ладонью по лбу. Под рукой крепкая, как орех, шишка.

– И где это вас так угораздило? – не отставал обеспокоенный Трифон. – Дверью, что ли, в гимназии хлобыстнули? Аль

подрались с кем?…

– Да нет, с качелей свалился, – буркнул Николай и поспешил отойти от дядьки к Андрюшиной постели.

Осуждающе вздохнув, Трифон покачал головой.

Андрюша опять чувствовал себя плохо. С трудом открыв воспаленные глаза, слабым голосом попросил:

– Николенька… воды…

Пил он долго, по капельке, часто и тяжело дыша…

День подходил к концу. Учить математику теперь все равно было бесполезно – пришел к безрадостному заключению Николай и, взяв со столика книжку Бенедиктова, вытянулся на старом диване.

Читал он долго, шепотом повторяя нравившиеся ему строчки. И, удивительное дело, все время раздавался в его ушах нежный и озабоченный голос Юлечки:

– Николенька!..

Надо написать о ней стихи. Сейчас же, без промедления.

Уже далеко за полночь, когда догорела последняя свеча на столе, закончил Николай стихотворение. И откуда только взялись такие, доселе неведомые ему слова:

Я пленен, я очарован, Ненаглядная, тобой, Я навек к тебе прикован Цепью страсти роковой. Я твой раб, моя царица! Все несу к твоим ногам, Без тебя мне мир темница, О, внемли моим словам…

«Моя царица!» Может, это слишком? Впрочем, пусть остается, как есть. Ведь Юлечке он все равно стихи не покажет. Да и другие о них не узнают. Это только для себя.

Утомленный событиями дня, спал Николай крепко и, наверное, проснулся бы не раньше полудня, если бы не Трифон. Дядька хорошо знал, что сегодня начинаются экзамены, чуть свет сбегал на Мытный двор, купил свежих, еще трепыхавшихся стерлядок, зажарил их на сковороде.

Старательнее обычного отутюжил дядька и праздничную форму. Мундир и брюки выглядели безукоризненно. У дверей стояли до блеска начищенные ботинки.

Но настроение у Николая отнюдь не было праздничным. Он отправился в гимназию, как на эшафот. Забыл даже помолиться перед уходом. Только Трифон перекрестил его на крыльце…

Невесело входил Николай в двери гимназии. Как всегда, в углу полутемной передней стоял Иуда. Завидев Николая, он зашаркал прямо к нему.

– Э-э, Некрасов, – не то просвистел, не то прошипел надзиратель, – вам нельзя-с…

Николай в изумлении сделал шаг назад:

– Почему?

– Вы не допущены-с к экзаменам. Таково-с решение педагогического совета. Да-с. Ваши успехи слишком неудовлетворительны. Да-с.

Пожевав сухими губами, Иуда спросил:

– А братец ваш где-с?

– Болен, – потупил голову Николай.

– Так-с. Понятно-с. Один – болен, другой – волен. Ах, как негоже получается!

Заметив нерешительность Некрасова, надзиратель подступил к нему вплотную:

– Извольте выйти! Когда потребуется, вас пригласят. Да-с. Пригласят…

Спорить было бесполезно.

Хорошо, что Трифона не оказалось дома и никто не спросил Николая, почему он так рано вернулся из гимназии. Положив на стол стихи Жуковского, он принялся читать. Хотелось забыться, уйти в какой-то другой мир, не похожий на эту печальную действительность.

Первое попавшееся на глаза стихотворение было про море, про безмолвное, лазурное море. Какие неведомые тайны хранятся в его глубинах? Какая сила движет его необъятное лоно?

Стихотворение очень понравилось Николаю. У него возникло желание тоже написать о море. Это не важно, что он его не видел, зато ясно представлял в своем воображении. Бесконечная синяя гладь, могучие волны с грохотом обрушивающиеся на каменные скалы… И вот сами собой складывались строки:

Открой мне, кипучее, бурное море,
Тайник заповеданный, дай мне понять,
Что дивное скрыто в твоем разговоре,
Что бурные волны твои говорят?…

Конечно, очень похоже на Жуковского. Но ничего, успокаивал себя Николай, Жуковский не будет в обиде. Он ведь никогда не увидит эти стихи.

Потом Николай начал читать Бенедиктова. Одно стихотворение показалось ему страшно знакомым:

О, не играй веселых песен мне,
Мой бедный слух напрасно раздражая…

Постой, постой! – вспомнил Николай. – Да это же как у

Пушкина:

Не пой, красавица, при мне,
Ты песен Грузии печальной…

Конечно, не совсем так, но есть что-то общее. Значит, подражать можно. Это не грех. Николай наклонился над тетрадью, задумчиво потрогал себя за ухо и написал:

Красавица, не пой веселых песен мне,
Они пленительны в устах прекрасной девы,
Но больше я люблю печальные напевы…

А все-таки не лучше ли «из самого себя сочинять»? Это он однажды так матери сказал. Ему было шесть лет, и он весело напевал в саду:

Рано утром петушок
Закричал на весь лужок:
– Кукареку, кукареку,
Побегу купаться в реку.

– Что это за песенка? – спросила мать. – Где ты ее услышал, Николенька?

– А это я из самого себя сочинил!

Мать весело смеялась…

Вот про Степана бы в стихах рассказать, про то$_г$ какой он славный, как его мучают недобрые люди. Да только надо ли об этом писать? Ведь настоящая поэзия – это гремучие напевы, неслыханные звуки, неведомые мечты.

Он опять склонился над тетрадью. Шуршало перо, текли строчки. Розы, мирты, древние руины, мрачные привидения были в его стихах. Все, как у Жуковского, как у Бенедиктова.

…И опять потянулись бесцветные дни. В гимназию Николай не ходил. Андрюше становилось все хуже. Не надеясь на Трифона, Николай сам приводил знакомого лекаря Германа Германовича. Тот сначала аккуратно прописывал лекарства, а потом сказал:

– Надо отправлять больной в деревня. К мут-тер, к матушка. Это есть самое хорошо!

Не раз передавал Трифон барину с приезжавшими на базар грешневскими мужиками тревожные вести о болезни Андрюши, просил приехать за ним. Но отец не беспокоился – он давно

свыкся с недугами старшего сына: «Поваляется в постели и встанет. Дело молодое!»

Обеспокоенный Николай собрался было сам поехать в Грешнево, как вдруг однажды, в вечерних сумерках, во дворе загромыхала карета. Послышался хрипловатый и, как всегда, чем-то недовольный голос отца:

– Что тут у вас стряслось, лихоманка тебя забери?

Это он спрашивал Трифона, опаслива лепетавшего что-то в ответ.

Николай быстро выбежал во двор. Отец был пьян. Глянув на сына мутными глазами, он заплетающимся языком промычал:

– Ты у меня смотри!..

Видимо, ему уже было известно все. Трифон, верно, доложил.

Объяснение состоялось на следующий день за утренним чаем. Взлохмаченный, хмурый, с расстегнутым воротом рубашки, Алексей Сергеевич чесал волосатую грудь и, попивая огуречный рассол, допрашивал:

– Значит, не допустили?

– Да, папенька.

– Выходит, скверно учился? Лоботрясничал? То-то я смотрю, у тебя синяк на лбу. Подрался? Скажи, не так?

Николай угрюмо молчал.

– Что же мне теперь делать с тобой? – продолжал отец. – Выпороть? Выпорю! А дальше что? Опять в гимназию? Нет уж, увольте. Благодарим покорно. Сыты и этим. Служить пойдешь! В Дворянский полк! И Андрея отправлю. Ему служба на пользу будет. Окрепнет, закалится. Все болезни как рукой снимет…

На этом разговор и закончился. Отец стал собираться в гимназию, чтобы объявить свое решение. Будучи убежден, что от гимназии все равно никакого толку не будет, он давно собирался взять оттуда своих сыновей. Да все как-то подходящего случая не представлялось.

Николая и обрадовало, и встревожило решение отца. Хорошо, что больше не нужно будет ходить в опротивевший душный класс, слушать назидательные речи Порфирия Ивановича, трястись мелкой дрожью перед Иудой и Мартыном. Вот только жалко было расставаться с друзьями-одноклассниками. Правда, с Мишкой он не в ладах. Зато есть Андрей Глушицкий, Коська Щукин, Васька Белогостицкий, Никашка Розов, Горошек с Горшочком… Теперь, в канун близкой разлуки, они вдруг стали как-то особенно близки и дороги.

Дворянский полк несколько пугал его. Не прельщала Николая военная служба, не волновал пышный офицерский мундир. Зато Петербург! О, как мечтал он об этом прекрасном городе, как

часто, склонясь над книгой, со слезами на глазах шептал:

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит…

Там, на берегу Невы, у подножия вздыбленного коня, на котором гордо скачет медный всадник, еще недавно стоял Пушкин.

Ради Петербурга можно надеть и серую шинель, и кадетские погоны…

Отец вернулся к концу дня. За ним въехала во двор еще одна карета с мягкими, бесшумными рессорами. Это для Андрюши.

– Собирайся! – проворчал отец, мрачно глянув на Николая. – Барахло не бери. Привезут потом. Отправляемся через полчаса.

Так быстро! Сердце Николая тревожно заныло. А как же друзья? Неужели он и распрощаться с ними не успеет? Нет, нет! Хоть Глушицкого увидеть. Он живет недалеко.

Не боясь гнева отца, Николай выбежал на улицу. На его счастье, Андрей Глущицкий оказался дома. Они обнялись на прощанье.

– Приезжай к нам в Грешнево, – торопливо говорил Николай. – И всем передай мое приглашение. Всем!.. На глазах у него навернулись слезы.

На переправе было тесно и шумно. Люди, телеги, лошади. Все смешалось в одну кучу. Паром находился еще на том берегу. Пришлось ожидать.

Николай вылез из кареты и, стоя на берегу, грустно глядел на Волгу. Вдруг кто-то крепко закрыл его глаза ладонями. И по тому, с какой силой это было сделано, он безошибочно определил: Мишка!

Ладони, прикрывшие глаза, сползли на плечи. Мишка обнимал друга и с упреком приговаривал:

– Эх, Никола, Никола! Как же так: уезжаешь! И проститься не зашел…

Взяв Николая под руку, Мишка отвел его в сторону и жарко зашептал:

– Знаю, сердишься на меня. Виноват. Каюсь. И все из-за этой гордячки Юлечки получилось.

– Неправда, – вспыхнул Николай. – Она совсем не гордая, сам ты раньше говорил. Она хорошая.

– Конечно, хорошая, – согласился Мишка. – Только малость задается. Разговаривать со мной не: желает.

Николай улыбнулся:

– Видно, заслужил.

– Может, и заслужил. – Мишка почесал в затылке. – Только знаешь что: давай, не будем ее касаться, а то опять повздорим. – Глаза у него погрустнели. – Неужели навсегда расстаемся?

– Почему навсегда? – заторопился Николай. – Приезжай в Грешнево. Кончатся экзамены, и приезжай. Ох, здорово будет. Рыбу половим, на охоту сходим. У нас чудесно.

Мишка помрачнел:

– С экзаменами у меня – полный швах. Нынче Мартышка кол закатил. Агромадный!

На этот раз Николай не поправил приятеля. Зачем? В такую минуту!

А меж тем по крутому Мякушкинскому спуску к переправе бежала шумная ватага гимназистов. Вскоре она была около Николая. Это – друзья-одноклассники. Их всех известил Глушицкий. Не было видно лишь Пьера Нелидова.

Гимназисты галдели, как грачи на пашне. Рассказывали смешные истории, потешались над Пьеркой, который остался вверху, на набережной, не захотев бежать вниз вместе со всеми. Как-никак, дядюшка у него – сенатор, а тетушка – фрейлина!.. По одному подходили к большой карете, в которой полулежал, поддерживаемый Трифоном, Андрюша, осторожно жали ему руку, желали скорого выздоровления. Андрюша слабо улыбался в ответ. Подошел паром. Началась обычная в таких случаях сутолока. Крики, понукание, перебранка. Барские кареты въехали на дырявый деревянный помост первыми.

Пора было идти и Николаю. Отец сердито махал ему рукой с парома.

Последние рукопожатия. Кто-то целовал Николая в щеки, кто-то обнимал. Он ничего не видел вокруг: слезы застилали глаза.

Скрипя и покачиваясь, переполненный паром отчалил от берега. Зашелестел протянутый через реку канат, забулькала, забурлила вода.

Оставшиеся на берегу гимназисты махали руками, фуражками, платками. Их уже не отличишь друг от друга: издали все одинаковы. Только долговязый Мишка заметно выделялся среди них своим ростом…

Вот и еще одну страницу в судьбе Николая неумолимо перевернул суровый ветер жизни.

Возвращение

Смерть брата произвела на меня потрясающее впечатление…

Н. Некрасов. Из автобиографических записок

Приехали в Грешнево затемно. Андрюшу вынесли из кареты чуть живым. Закутанный в ватное одеяло, он всю дорогу стонал, жалуясь то на чересчур быструю, то на слишком медленную езду. Ему было то жарко, то холодно.

Увидев склонившееся над ним лицо матери, он слабо улыбнулся запекшимися губами с черными корочками по краям.

Когда в доме постепенно стихло и Николай, закрыв глаза, лежал в постели, тихим дуновением ветерка прошелестел ласковый родной голос:

– Николенька! Не спишь, милый?

– Нет, мамочка, – обрадованно встрепенулся он. – Думаю.

– Прости меня. Я была к тебе невнимательна. Но меня напугал Андрюша. Что с ним случилось? Когда он так заболел?

– Недели две назад, мамочка.

– Боже мой! Две недели! – схватилась за голову мать. – Почему же я не знала об этом?

– Трифон извещал папеньку. Не раз.

– Какая жестокость! Ничего мне не сказать…

Опустившись на край постели, Елена Андреевна прильнула к плечу сына и зарыдала.

– Не плачьте, мамочка, не надо, – утешал Николай, целуя руки матери. – Андрюша скоро выздоровеет. В городе духота, дышать нечем, а здесь воздух чистый, хороший. Поправится Андрюша.

– Дай-то бог, – перекрестилась Елена Андреевна и, успокоившись немного, тихо спросила: – А с гимназией как, Николенька?

– Все кончено, мамочка, – заволновался Николай. – Папенька в Дворянский полк решил нас отправить.

– И ты согласился?

– А он и не спрашивал. Вы же знаете, мамочка: его воля – закон.

Мать тяжело вздохнула.

– Все это так, Николенька. Но ведь я знаю: ты не сможешь быть военным. У тебя душа не та. Тебе нужно в университет.

– В университет? Я ведь не окончил гимназии, мамочка.

– Будешь готовиться дома, милый. Хочешь, я приглашу учителя? И я тебе помогать буду. Хорошо?

Вместо ответа Николай снова и снова целовал матери руки.

– Я, пожалуй, пойду милый, – после короткого молчания заторопилась мать, – как там Андрюша? Не стало бы хуже ему.

– Мамочка! – воскликнул вдруг Николай. – Пошлите, пожалуйста, ко мне нянечку. Я так и не видел ее. Где она? Уж тоже не заболела ли?

Елена Андреевна беспокойно затеребила концы пухового платка, спускавшегося с ее худеньких плеч.

– Ее в доме нет, – печально сказала мать. – Услали в Гогулино.

– Она скоро вернется, мамочка?

– Не знаю, Николенька, – еще печальнее ответила мать. – Не я ее туда отправила… Аграфена…

– Аграфена? – изумленно переспросил Николай, привставая с постели.

За дверью что-то звякнуло. Елена Андреевна испуганно обернулась.

– Кто там?

Но ответа не последовало. Слышны были только чьи-то удаляющиеся шаги. Лицо матери болезненно передернулось. Она приложила палец к губам:

– Тс-с… это она… Аграфена…

– Подслушивала? – возмутился Николай, сжимая кулаки. – Что за наглость? Я ее проучу! – и он решительно опустил ноги на пол.

– Не надо, мой милый, – обняла его мать. – Не тревожься. Почитай. Усни.

Торопливо шагнув к двери, она повторила:

– Не надо, не надо… Спокойной ночи, мой дорогой.

Долго не мог успокоиться Николай после ухода матери. Он попытался читать, но ничего не лезло в голову. Буквы прыгали в глазах.

Бедная мама! Как она несчастна. Сколько страданий выпало на ее долю. Ведь ей нет и сорока, а на лице – морщины. Так изменилась она за последние годы.

– Что-то есть неясное в ее жизни. Вот отец почему-то называет ее Александрой, а при гостях похваляется (Николай не раз это слышал!), что увез ее тайно, прямо с бала, из Варшавы, что ее родители – богатые польские магнаты.

Но ведь мать всегда говорит, что ее родители – чистокровные малороссы, что они бедные украинские помещики и никогда не

бывали ни в Польше, ни тем более в Варшаве.

Зачем же отец твердит неправду? Уж не потому ли, что эта ложь льстит его самолюбию?

Мать очень несчастна. Она невыносимо страдает от незаслуженных обид, которые причиняет отец. Ее радость – только в детях. Им отдает она всю свою любовь, ради них превратилась в затворницу, никуда не выезжает.

И вот теперь эта Аграфена. Она уже не первый год в доме. Няня рассказывала, что отец увидел ее где-то в поле, на жнитве, возвращаясь с охоты. Красивая и бойкая, она сразу понравилась ему. В тот же день староста получил приказание привести ее в усадьбу. Сначала Аграфена работала на кухне. Разбитная и пронырливая, она скоро сделалась ключницей. Дальше-больше, отец потребовал звать ее домоуправительницей. Дворовые девушки стали кланяться ей в пояс, приговаривая: «милостивица наша», «кормилица», «матушка Аграфенушка». Няня не раз с возмущением твердила:

– Ох, покарает Граньку господь-бог за ее великие прегрешения. Сживет она меня со свету.

Николай не придавал тогда значения этим словам. Мало ли что может сказать старый человек.

Но, выходит, нянюшка была права. Аграфена выгнала ее из дома. Бедная старушка! Кто ее теперь накормит, обогреет? И как она, наверное, скучает без своих детушек.

Всю ночь ворочался Николай с боку на бог. Сны были короткие и страшные. Просыпаясь, он слышал унылое потрескивание сверчка за печкой, далекое кваканье лягушек на пруду.

Разбудил его брат Феденька, самый младший в семье. Вчера он уже спал, когда приехали кареты из города, и теперь пришел поздороваться.

– А что ты мне привез, братец Николенька? – ласкаясь, спрашивал он.

Николай достал со столика бумажный сверток, перевязанный шнурком:

– На, бери!

У Феденьки глаза загорелись. Быстро развязал он сверток. Перед ним – целое богатство! Книжки с красивыми картинками. Коробка шоколадных конфет. Пестрый волчок. Прозрачно-алые леденцовые петушки на палочках. Маленький конь с роскошной рыжей гривой. И, наконец, свистулька, глиняная свистулька с яркой раскраской. Николай купил ее еще весной, перед пасхой, на шумной ярмарке.

Ай да братец! Какой он добрый! Ну как не расцеловать его за

это! И Феденька чмокал брата мягкими и пухлыми губенками.

Через минуту переливающийся звон свистульки весело раздался за дверью. Потом он донесся из сада. Неожиданно свистулька умолкла. А в комнату, держа коня в руке, с громким плачем возвратился Феденька.

– Отняла! Свистульку отняла! – рыдая, повторял он.

Николай поднял его на руки:

– Кто посмел отнять свистульку у Феденьки? Кто его обидел?

– Аграфена! – всхлипывая, отвечал мальчик. – Злюка, злюка!

Опустив брата на пол, Николай стал торопливо одеваться. Аграфену он нашел на кухне.

– Это ты отняла игрушку у Феденьки? – задыхаясь от негодования, еще с порога крикнул Николай.

– А хоть бы и я, – спокойно ответила Аграфена. – Батюшка-барин почивать изволят, не велено спокой его нарушать.

– Ты не смеешь так! – возмущался Николай, едва сдерживая себя. – Изволь возвратить игрушку.

Но Аграфена и бровью не повела.

Николай сделал несколько шагов вперед:

– Отдай!

Исподлобья глянув на барина, Аграфена с опаской отступила в угол.

– Отдай! – настойчиво повторил Николай.

– И чего вы, право, пристаете ко мне? – проворчала Аграфена. – Я вас не трогаю, и вы не лезьте.

– Игрушку!

Пошарив в кармане цветастого сарафана, Аграфена вытащила оттуда свистульку и с силой швырнула ее на пол. Глиняные осколки с шумом брызнули во все стороны.

– Мерзавка! – хрипло вырвалось у Николая. Не владея собой, он ударил ключницу по щеке и бросился к матери.

Елена Андреевна только что пришла из Андрюшиной комнаты и, стоя перед иконой, усердно молилась. Николай перепугал ее своим рассказом об Аграфене.

– Ну зачем ты, Николенька, зачем? – шептали ее бескровные губы. – Свистулька? Какой пустяк! Бить женщину? Это ужасно!

– Я не бил, мамочка, – взволнованно объяснял Николай. – Я только дал пощечину. За вас, за нянюшку, за Феденьку. За нас всех.

Но мать страстно и горячо убеждала:

– Нельзя поднимать руку на женщину, какая бы она ни была плохая. Это неблагородно. Запомни, Николенька. Ты уже не мальчик. Будь рыцарем. Обещай мне никогда больше так не поступать. Обещаешь? – Она с надеждой глянула на сына.

Николай не мог ответить ей сразу. Почему мать не говорила о благородстве, когда отец привязал ее к дереву? Почему она молча сносила все его издевательства? И разве можно заступаться за Аграфену, жалеть ее? Сама-то она небось, не пожалела нянюшку.

Да, конечно, Николай уже взрослый. Он должен быть рыцарем, как в книгах. Но означает ли это, что надо спокойно смотреть, как Аграфена обижает его любимую мать? И Феденьку, беззащитного, маленького? Кто такая, эта Аграфена? Ее место на скотном дворе…

Словно читая мысли сына, Елена Андреевна тихо спросила:

– Уж не потому ли, Николенька, ты на нее замахнулся, что она крепостная, невольная?

И, не дожидаясь ответа, продолжала:

– Это было бы непростительно. Помнишь, как волновался ты, когда наказывали Степана? У тебя очень, очень доброе сердце. Ты жалеешь людей. Дай же мне слово, милый, что так больше никогда не повторится. Обещаешь?

– Обещаю, – опустив голову, сказал Николай. Но тут же снова заволновался:

– Пусть и она не трогает Феденьку… И нянюшку. Пусть она тоже обещает.

Положив руки на плечи сына, мать горячо поцеловала его в раскрасневшуюся щеку:

– Как же я могу от нее потребовать, Николенька? Это не в моей власти.

Всматриваясь в сына, она вдруг озабоченно произнесла:

– Ой, как же ты похудел! Бледный-бледный. Наверное, совсем на воздухе не бываешь. Иди, погуляй, иди…

Слова эти прозвучали, как прежде, когда Николай был ребенком. Будто ничего и не изменилось с тех пор и по-прежнему ему требуется разрешение, чтобы сбегать на Самарку или в Качалов лесок. Ах, мама, мама!

Выйдя на крыльцо, Николай увидел одноглазого сторожа Игната. Он стоял у ворот, около полосатой будки, в старых дырявых валенках и рваном балахоне. Игнат низко, до самой земли, поклонился баричу.

– Здравствуй, Игнат. – Николай протянул руку. – Старик торопливо бросился ее целовать. Николаю сделалось неловко.

– Как здоровье, Игнат? – отводя руку назад, негромко спросил он.

– Чего? – приложив ладонь к уху, отозвался сторож. – Угнали коров, давно угнали. Нынче травы хорошие. Молочка будет вдоволь.

Что сталось с Игнатом? Оглох он, совсем оглох.

– Ты не понял меня, – прокричал Николай в самое ухо сторожа. – Не болеешь ли, спрашиваю?

– Ась? – прислушался Игнат. – Бог миловал, не хвораю. В ухе вот только малость гудет. Батюшка-барин на масленицу ручкой приложились. Теперича что, теперича полегчало. А тогды вовсе уши заложило. Вроде как в погребе сидишь…

Игнат проводил смутившегося Николая до ворот.

На деревенской улице ни души. Все были на сенокосе.

У околицы появился воз с сеном. Николай пошел навстречу. Около воза, держа вожжи в руках, шагал Савоська. Он хоть и вырос, но лицо его было прежним, мальчишеским. И глаза, и волосы, и даже походка были у него, как у Степана. Только нос не тот – большой, похожий на картофелину.

– Здорово! – дружески крикнул ему Николай. – Как живем-можем? – А сам подумал: известно ли Савоське что-нибудь о Степане?

Остановив тощую каурую лошаденку, Савоська, видно, не обрадовался нежданной встрече. В глазах его – испуг.

– Здравствуй, барин, – все больше робея, произнес он.

– Ты что, не узнал меня, Савоська? – подходя ближе, воскликнул Николай. – Это же я, я… Николка-иголка…

Савоська попытался улыбнуться, но на лице его получилась какая-то гримаса, словно он проглотил что-то кислое.

– А на Самарку бегаешь? Купаешься?

Савоська отрицательно замотал кудлатой, давно нечесанной головой:

– Не… Не до того нам… сено убираем…

И, осмелев немного, добавил:

– Так ведь какое нынче в Самарке купанье: высохла. Кура, и та перейдет. На Лешее озеро теперь мальцы повадились. Там подходяще.

– Может, побываем там? К вечерку?

– Так ведь это как дядя Ераст, – уныло зачесал затылок Савоська. – Не своя воля.

Дернув за вожжи, он зачмокал губами:

– Но, но!..

Каурка вытянула шею. Воз заскрипел и медленно пополз к барской конюшне.

Николай остался посреди улицы один. Долго провожал он невзрачную и покорную фигуру Савоськи рядом с такой же невзрачной и покорной лошаденкой.

Кажется не так уж много времени прошло с тех пор, как Коля скакал по этой улице на диком Аксае. Но до чего же все изменилось вокруг! Развалилась часовня на дороге, и только

несколько гнилых, поросших зеленым мхом досок да глубокая яма остались на ее месте. Срубили старинные вязы, и теперь лишь коричневатые пеньки напоминают о них. Еще беднее стали покосившиеся набок избы с обветшалыми соломенными крышами.

А Савоська! Куда девалась его бойкость? Разве таким он был, когда они вместе бежали в Аббакумцево, к Александру Николаевичу? Рассказать бы ему о Степане – как спас он бурмакинского парня на пожаре. Но уж если рассказывать, так все! А у него язык не повернется говорить Савоське о тех муках, которые претерпел его брат на Сенной площади. Нет, уж лучше не напоминать ему о Степане…

Незаметно Николай дошел до псарни. Захотелось поглядеть на Летая. Узнает ли он своего прежнего хозяина? Ведь немало прошло времени с той поры, как ходили с Кузяхой на охоту к Печельскому озеру.

Да вот и Кузяха – высоченный, как Мишка Златоустовский. Ишь как вымахал!

– Николай Алексеич, наше вам! – радостно крикнул Кузяха, прикладывая руку к сердцу. – Надолго ли прибыть изволили?

– Видать, надолго! – дружелюбно ответил Николай. – А как тут мой Летаюшка?

Кузяха, которого теперь все мужики звали Кузьмой Кузьмичом, потому что он стал любимым егерем барина, насупился:

– Нету Летая.

– Неужто продали?

– Правду сказывать?

– Конечно!

– Убили!

– Как убили? Кто?

Хлопая охотничьей нагайкой по сапогу, Кузяха отвел взгляд в сторону.

– Ты? – волновался Николай.

– Зачем я? Чай мы не без понятия, – обиженно отозвался Кузяха. – В собаку никогда стрелять не станем.

– Кто же?

– Изволь, скажу, – понизил голос Кузяха, оглянувшись вокруг. – Батюшка твой, Алексей Сергеич. На Иваньковском озере было. Промахнулся барин в селезня. А тут Летай из осоки лезет. Он и пульнул в него со злости. Наповал уложил. А сам потом все плакал, все плакал. Приказал Летая в саду закопать да могилку насыпать, как вроде человеку. Сам увидишь могилку-то. Под яблонькой…

В каком-то подавленном состоянии возвращался Николай домой. Жалко было Летая, стыдно за отца. Убить беззащитную, верную собаку? Как это можно!

К ужину Николай не вышел, есть не хотелось. Он писал в своей комнате грустные стихи. Потом стал искать сборничек Бенедиктова. Среди привезенных из Ярославля книг наткнулся на учебник Беллявена. С сердцем швырнул его под стол.

О, забыть бы поскорее ненавистную гимназию! Забыть мрачные коридоры, медный колокольчик у крыльца, бочку с мокрыми прутьями, грязную скамью. Забыть молитву, которую хором читали по окончании уроков:

– Благодарим тебе, создателю, иже сподобил еси нас благодати твоея во еже внимати учению… И благослови наших начальников и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость к преодолению учения сего…

Ночью в доме началась суматоха. Хлопали двери, раздавались приглушенные голоса, гулкие шаги.

Разбуженный шумом, Николай прислушался. В коридоре кто-то плакал. Он открыл дверь:

– Лизонька, ты?

Плечи сестры тряслись от рыданий. У Николая защемило сердце от ужасной догадки:

– Андрюша? Что с Андрюшей?

– Он умрет, умрет, – сквозь слезы повторяла сестра…

До утра не было покоя в доме. Отец отправил одну карету за доктором, другую за священником в Аббакумцево. Елена Андреевна ни на минуту не отлучалась от постели больного сына.

В полдень появился Герман Германович с неизменным своим кожаным саквояжем в руках. Осмотрев больного, на этот раз он не уехал, как обычно, а остался в доме. Ему отвели комнату по соседству с Николаем, и через тонкую стенку было слышно, как он говорил отцу:

– На фсе есть боший воля. Будем иметь стараний спасти малшик. Мы получал новый медикамент. Из самый Берлин. Ошень, ошень хороший есть результат. Но надо быть готов во всем. Иметь, как это по-русску, мушество…

Детей к Андрюше не допускали. Не понимая, что происходит в доме, Феденька и Костя весело бегали по саду, играли в прятки и скороговоркой тараторили считалку:

Ачум, бачум, чумба чу,
Чюмба, рюмба, ачум бу,
Ачум, бачум, тарантас,
На горе вечерний час.

«Какая бессмыслица, – с раздражением думал Николай, сидя в саду и прислушиваясь к голосам младших братьев. – Откуда этот вечерний час? И почему на горе? Чепуха, совершеннейшая чепуха!»

Но Феденька с Костей были, видимо, иного мнения о считалке. Они повторяли ее без конца…

С крыльца сбежала курносая, с рябинками на носу сенная девушка. Она направилась прямо к скамье, на которой сидел Николай.

– Барин, барин! – испуганно вращая глазами, зашептала девушка. – Вас матушка зовут.

Николай поднялся в дом.

– Сюда, сюда, пожалуйте, – показывала ему рукой на Андрюшину комнату бежавшая впереди девушка.

У дверей Николай едва не столкнулся со сгорбленным и высохшим, как мощи, священником из Аббакумцева. От него пахло ладаном.

Около Андрюши сидели полная безысходной печали, с темно-синими полукружьями под глазами мать и Герман Германович. Он сосредоточенно капал в стакан из маленького серебристого флакона желтоватое лекарство:

– Айне, цвай, драй!

Подняв голову, мать прошептала сухими губами:

– Николенька, простись…

Андрюша лежал под белой простыней, закрыв глаза. Николаю показалось, что брат умер. Со страхом прикоснулся он губами к его пылающему, словно огненному лбу. Из воспаленного горла больного вырывался короткий клокочущий стон.

Будто во сне, выбежал Николай из комнаты. Он пришел в себя только за усадьбой, освеженный полевым ветерком.

Около оврага паслось стадо, а в тени молоденького дуба виднелась сивая борода деда Сели-фонта.

Заметив барича, тот кивнул головой. Николай опустился рядом. Над их головами с протяжным писком летали луговки.

Изредка бросая из-под колючих седых бровей внимательный взгляд на пришедшего, Селифонт понял: большое горе у человека.

– Аль обидел кто? – сочувственно заговорил он, подпирая коричневым сморщенным кулаком подбородок.

Нет, никто Николая не обижал. Это было бы полбеды. Брат у него умирает, брат. Дорогой, любимый… У Селифонта дрогнула бровь. Он придвинулся поближе.

– Чего ты, голубь, так убиваешься? – успокаивал пастух, –

ласково трогая Николая за плечо. – Ведь не помер еще братец-то? Не помер! Бог милостив, глядишь, и не помрет, жить будет.

– И зачем только люди на свете живут? – словно не слыша старика, горько произнес Николай.

– Зачем, говоришь? – живо переспросил Селифонт. – А для обчего дела, голубь, живут. Для обчего дела.

Селифонт прислушался к кому-то и снова заговорил:

– Ведомо ли тебе, голубь, отчего это луговки все время пить просят?

Сорвав листочек щавеля, Селифонт сунул его в беззубый рот и стал неторопливо жевать.

– Я тебе, голубь, поясню, отчего они пить просят, – продолжал он. – В старину, сказывают, это случилось. Началась на земле напасть страшнеющая. День дождик льет, второй льет, третий. И конца ему нет. Затопило все вокруг – ни пройти, ни проехать. Уж через самые крыши вода потянула. Люди на деревьях свое спасение ищут. А зверюшкам всяким – погибель чистая. Да и птицам жизни нет: где найдешь корм-пропитание?…

– Эй, Микешка! – закричал вдруг Селифонт. – Не пущай их в овраг. Гони, гони!

– Слышу, дедушка! – донеслось с другого конца луга, где бегал маленький подпасок.

– Так про чего я тебе, голубь, сказываю? – опять повернул седую бороду Селифонт. – Ан помню. Слушь-ка дальше… И возопили все тогда в один голос: «Караул! Что нам делать теперича?» На их счастье нашелся тут умнеющий зверь. Самый что есть наибольший. Дай бог, не соврать, вроде мамоном его прозывали.

Вначале Николай слушал Селифонта без особого интереса. Мысли его были с Андрюшей. Но постепенно сказка увлекла его. Мерная певучая речь старика успокаивала, отрывала от горьких дум.

– Вот и сказал тогда мамон этот: «Давайте, любезные, искать себе спасение. Потому нельзя больше сидеть сложа руки. Смастерим сообща горку высокую. Ну, и отсидимся на ней пока что». Все тут за дело принялись. Кто глину тащит, кто земли подсыпает. Растет гора не по дням, а по часам.

А мамон этот самый вроде как за артельщика. Порядок блюдет, распоряжается. Без этого никак нельзя в обчем деле. Только вот примечает он, как одна птичка-невеличка все от работы увиливает. Пригляделся мамон: «Эге, да это луговка!» – «Ты по какому праву, – кричит ей, – лентяйничаешь? Почему в общем деле не участвуешь?» А она хоть бы что. Хвостиком вертит, словно и не с ней разговор ведут. Осерчал тогда мамон,

разгневался, поймал эту самую луговку и говорит ей: «Заслужила ты, птица нерадивая, наказанию. Станешь над водой летать, а напиться не сможешь. И от этого веки-вечные страдать-мучиться будешь». Вскорости тут и дождик перестал. Солнышко на небе заиграло. По рекам, по морям вся вода разлилась. Люди снова пахать земельку начали, звери по лесам разошлись, птицы в гнезда уселись. Такая ли благодать на землю сошла. Каждому жить хочется… А луговка с той поры все над болотом летает и воды просит: «пить, пить!»

– Только ты, голубь, ее не жалей, – заключил Селифонт. – Сама она во всем виновата: в миру живешь – мир и уважай. Потому все для обчего дела живем.

Вскинув кнут на плечо, пастух опять стал успокаивать:

– Не тревожься, будет жить твой братец. Травки бы ему бессмертной. На святой водице.

На душе Николая стало немного спокойнее. Верилось, что не все еще безнадежно, что Андрюша не умрет, что они долго-долго будут жить для общего дела, о котором говорил Селифонт.

Подходя к усадьбе, Николай увидел древнего старика Ваню Младенца. Он стоял около ворот, размашисто крестясь и тяжело перебирая босыми грязными ногами. До слуха долетел его старческий, шамкающий голос:

– Прими, господи, новопреставленного раба твоего Андрея…

Глухо, замогильно гремели железные вериги на открытой старческой груди.

В ужасе упав на пыльную землю, Николай громко зарыдал.

В столицу!

Я отроком покинул отчий дом…

Н. Некрасов. Из незаконченной поэмы «Мать»

Андрюшу похоронили. Похоронили у белой, как саван, стены Аббакумцевской церкви Петра и Павла.

Чуть не каждый день приходил теперь сюда Николай с букетами полевых цветов, заботливо украшая скромный могильный холмик.

Сраженная страшной бедой, мать никуда не выходила из своей комнаты. Около нее неотлучно находилась Лизонька и сразу как-то повзрослевшая, доселе игравшая только в куклы Аня.

Николай уединялся в своей комнате, писал стихи, перечеркивал их, бросал в печку. Только те, которые ему нравились, попадали в заветную тетрадь.

Однажды, открыв старый книжный шкаф, Николай нашел там в углу бумажный сверток, перевязанный алой ленточкой. Это был Андрюшин рисунок: толстый Кутузов на белой лошади, бегущие в страхе французы.

В другом углу обнаружился альбом в толстом зеленом переплете. В него Андрюша складывал свои карандашные наброски. Застенчивый и скромный, он никому их не показывал, даже брату.

И вот сейчас Николай с волнением перелистывал альбом. Какие чудесные рисунки! Тут и береговая песчаная круча на Которосли, и заход солнца на Волге, и старинные вязы у большой дороги, и аллея стройных липок в саду, посаженных заботливыми руками матери.

Слезы брызнули из глаз Николая, посолонили губы. «Милый, милый Андрюша! – шептал он. – Прости, что я не всегда был к тебе внимателен. Я очень, очень любил тебя. Ты был моей тенью, моим вторым я. Пусть мы редко говорили по душам Но зато как понимали друг друга. Славный, добрый Андрюша!..»

Весь во власти печальных воспоминаний, Николай присел на краешек стула у раскрытого окна. В сердце его рождались строки нового стихотворения. Они были наполнены глубокой скорбью и тоской:

Не брат предо мною – могила сырая,

Сокрывшая тленный остаток того,
С кем весело мчалася жизнь молодая,
Кто был мне на свете дороже всего…
Касатка порхает над братней могилой,
Душистая травка роскошно цветет,
И плющ зеленеет, и ветер унылый
Над ней заунывную песню поет…

Да, видел он и порхающую ласточку-касатку над могилой брата, и буйно растущую траву. Прилетал с Волги, завывая под кирничными сводами колокольни, вольный ветер пугал ютившихся под карнизами сизых голубей. Правда, плюща не было. Но без него ведь стихи не стихи!..

Захотелось прочесть написанное кому-нибудь из близких. Но кому? Матери нельзя. Каждое напоминание об Андрюше – это новая рана в сердце. Разве Лизоньке, сестре?

Николай нашел ее в саду. Молча сел рядом. Потом заговорил, словно жалуясь на кого-то:

– Отчего такая пустота в душе? Жить не хочется.

Сестра испугалась:

– Что с тобой, Николенька? Уж не болен ли ты?

– Опротивело все, – тем же тоном безнадежности продолжал Николай, – уехать бы отсюда поскорее, убежать, куда глаза глядят.

– Ох, Николенька! Думаешь, на чужой-то стороне лучше? Не торопись. Поживи вместе с нами. Побудь около маменьки. Не уйдет от тебя Дворянский полк.

– Очень он мне нужен, этот полк, – сердито махнул рукой Николай. – А в Петербург я все-таки поеду. Мне непременно там нужно быть.

– Зачем, Николенька? – ласково спросила ее сестра.

Николай не ответил. Уже не было желания читать стихи. Тем более, не хотелось признаваться, что у него есть заветная тетрадь, на которую он возлагает большие надежды…

Жизнь в родном доме с каждым днем становилась все тяжелее. Вчера отец весь день бражничал с Тихменевым. Аграфена не успевала таскать им с погреба пахучие смородиновые настойки и густые вишневые наливки. А сегодня у него скверное настроение: трещит с перепоя голова.

К утреннему чаю Алексей Сергеевич явился мрачнее темной тучи. Все притихли. Дети, исключая глупеныша Феденьку, боялись пошевельнуться. Елена Андреевна сидела за столом с провалившимися, потухшими глазами, скорбная и усталая. Она

налила стакан крепкого чая, пододвинула мужу вазочку с любимым его брусничным вареньем.

Нравилось это варенье и Феденьке. Он потянулся за ним через стол, но по пути зацепил рукавом стакан. Вода струйками разлилась во все стороны, закапала на отцовские колени.

Лицо Алексея Сергеевича побагровело. Левая щека передернулась. Медленно поднявшись из-за стола, он молча хлестнул малыша по щеке. От боли и испуга Феденька отчаянно закричал. Так же молча отец схватил его за руку, вышвырнул за дверь и снова сел на свое место.

У Елены Андреевны дрожали губы. Она налила отцу новый стакан чаю. Николай судорожно комкал под столом пушистую бахрому скатерти.

Недовольно фыркнув, Алексей Сергеевич поднес стакан ко рту. Вдруг он сморщился и плюнул прямо в чай.

– Черт его знает, чем только меня поят в моем доме! Разве это чай? Помои! Скотине дать стыдно…

По еле заметному знаку матери Костя и Аня быстро соскользнули со стульев и исчезли за дверью. Елена Андреевна пересела на другое место, между Николаем и Лизонькой, словно ища у них защиты.

Отшвырнув стакан на середину стола, Алексей Сергеевич продолжал кричать:

– Твари неблагодарные! Смерти моей захотели? Наследства ждете? Знаю, знаю…

Это было чудовищно несправедливо, и Николай не выдержал:

– Неправда, папенька! Неправда!

Отец с силой ударил волосатым кулаком по столу:

– Молчать! Что? Заговор? Не позволю! Люди добрые не допустят! Аграфена! Аграфена!

Ключница словно из-под земли выросла:

– Здеся я, батюшка-барин, здеся, – притворно запела она, стоя у двери и кланяясь в пояс. – Что приказать изволите?

С отвращением смотрел на нее Николай. Пухлая, румяная, она была полной противоположностью худенькой и бледной матери. Вкрадчивые манеры. Маслянистые, хитро прищуренные глаза. И коса у нее за спиной черно-блестящая, как гадюка.

– Грунюшка! Душенька! – обиженно стонал Алексей Сергеевич, держась руками за живот. – Знаешь ли ты, каким меня чайком угощают? Полынь! Дерьмо! Все внутренности вывернуло.

– Ах ты, господи, напасти какие! – взмахнула широкими рукавами сарафана ключница. – Да я сию минуту наилучшего вам заварю. Уж такой ли чаек, такой ли чаек! Сам китайский анпиратор его пользует. Душистый, с уроматом!

В руках Аграфены появилась пестрая, с восточными орнаментами баночка из тонкой жести. Выплеснув в стеклянную миску коричневый настой, она неторопливо, словно любуясь своими движениями, засыпала новую заварку в чайник, залила ее крутым кипятком из самовара, наполнила стакан, опустила в него два больших куска колотого сахару, размешала серебряной ложечкой.

– Кушайте, батюшка-барин! Кушайте на здоровье! – нараспев приговаривала она, пододвигая стакан Алексею Сергеевичу.

Отец повеселел, успокоился, как капризный ребенок, получивший наконец игрушку, которую просил. Громко сопя, налил чай в блюдце, принялся пить.

– Вот угодила, вот уважила, – бормотал он. – Да что ты стоишь, Грунюшка? Садись, около меня садись. Не стесняйся. Будь хозяйкой!

Нагло глянув на Елену Андреевну, Аграфена с важностью опустилась на стул рядом с Алексеем Сергеевичем. Она сидела неподвижно, упрямо выставив вперед двойной подбородок.

Николай резко встал, с шумом отодвинул стул в сторону. Щеки у него горели.

– Я ненавижу вас! – переводя гневный взгляд то на отца, то на Аграфену, выкрикнул он. – Слышите? Ненавижу!

Аграфена заахала:

– Это отцу-то родному такие слова!..

Наклонившись к Алексею Сергеевичу, она что-то зашептала ему на ухо.

– Как? Ударил? Тебя? – захрипел отец. – Да я его в порошок сотру! Скажи, не так?

– Идемте, мамочка, – ласково, но твердо сказал Николай, боясь, что он не сдержит своего слова и опять замахнется на Аграфену.

Зябко стянув на груди концы пухового платка, мать молча встала и направилась к двери. Поднялась и Лизонька, робко оглядываясь то на отца, то на брата. Николай последовал за ними.

Что-то зазвенело позади, должно быть отец бросил стакан с недопитым чаем.

Долго шептались они в комнате матери, как заговорщики, вздрагивая от каждого доносившегося из столовой звука. То и дело поднося платок к глазам, мать взволнованно убеждала:

– Он поймет, образумится. И вы тоже должны понять. Терпение, дети, терпение. Николенька напрасно сказал «ненавижу». Нельзя так. Сегодня же попроси у папеньки прощения. Он не чужой человек.

Добрая, хорошая мама! Нет, на этот раз Николай не даст ей обещания. Он не пойдет просить прощения. За ним нет никакой вины. Мать сама всегда твердила, что надо говорить правду. Если нужно, он снова повторит то, что сказал. Не побоится!

Слушая сына, Елена Андреевна вздыхала и плакала, плакала и вздыхала:

– Что-то будет? Что-то будет?…

В тот же вечер чуть снова не произошло столкновение с отцом.

Смеркалось. Николая потянуло на улицу. Выйдя из ворот, он увидел, как к избе бобылки Лукерьи стекаются со всех концов деревни парни и девушки в пестрых праздничных нарядах: завтра ильин день.

Подойдя к молодежи, Николай поздоровался и скромно уселся в дальнем углу завалинки. К нему подошел Кузяха, протянул руку:

– Здравствуй! Может, попляшем? – шутливо сказал он.

– А почему бы и не так? – тем же тоном ответил Николай. – Чай, ноги не казенные.

Оба рассмеялись.

Бойко затренькала балалайка. Играл «барыню» приехавший с оброка белозубый парень Касьян, в синей рубахе с петухами и в хромовых сапогах. Но плясать никто не выходил – не решались. Тогда кто-то крикнул:

– Хоровод!

Желающих нашлось много. Встали в круг. Взялись за руки и медленно двинулись сначала в левую, потом в правую сторону. Девушки запели:

Как по морю, морю синему,
По синему, по Хвалынскому,
Плыла лебедь с лебедятами,
Со малыми со утятами…

Хоровод разделился на две половины: в одной парни, в другой девушки. Встали рядами друг против друга, прихорошились. Игриво взвизгнув, девушки двинулись навстречу парням:

А мы просо сеяли, сеяли
Ой, дид-ладо, сеяли, сеяли…

Настала очередь парней. Они притопнули лаптями и

угрожающе пропели, приближаясь к девичьему ряду:

А мы просо вытопчем, вытопчем,
Ой, дид-ладо, вытопчем, вытопчем…

Лукаво перемигнувшись, девушки спрашивали:

А чем же вам вытоптать, вытоптать,
Ой, дид-ладо, вытоптать, вытоптать?

Парни уверенно отвечали:

А мы коней выпустим, выпустим,
Ой, дид-ладо, выпустим, выпустим.

Большое наслаждение доставляла Николаю эта бесхитростная забава. Его так и подмывало встать в ряды играющих, запеть вместе с ними. Но кто знает, как к этому отнесутся парни и девушки: застесняются, пожалуй, петь перестанут.

Гулянье было в разгаре. Балалаечник вспотел, нажаривая разудалую ярославскую кадриль. Чего только не выделывали ногами парни, как только не красовались перед девушками, плавно поводившими плечами, томно опускавшими ресницы.

Вдруг среди танцоров произошло замешательство. Пары останавливались одна за другой и быстро отходили к избе. Жалобно дзенькнув на самой высокой ноте, умолкла балалайка. А из-за ограды барского дома донесся сердитый голос отца:

– Ераст! Эй, Ераст! Что за шум! Всех разогнать. Собак спустить!..

Девушки в испуге кинулись вдоль деревни к своим избам. Парни попытались было сохранить спокойствие и степенность. Но ненадолго. Где-то вдалеке затявкали псы. И всех танцоров как ветром сдуло. Остались только Николай с Кузяхой.

– Уж и в праздник, значит, погулять нельзя, – возмущался Кузяха. – Звери, и те веселье имеют. А мы, чай, люди-человеки.

И стыдно, и горько было Николаю. Он пойдет сейчас к отцу, выскажет ему все, все. Но прежде поговорит с Ерастом. Как он смеет выпускать собак на людей?

Ераст сидел у окна своей избы, пил квас из большой глиняной кружки, утирался вышитым полотенцем.

– Эва! – сказал он, выслушав барича. – Мое дело такое: барин прикажут, все исполню. Не я в ответе. Вот и вы, Миколай

Лексеич, скоро тоже приказывать станете. Наследничек! Старшой. А как же…

Не получилось объяснения и с отцом. Он пьяно мычал, свалившись на соломенное кресло около крыльца, где обычно вершился суд над мужиками.

– Николенька! – окликнула его из окна своей, комнаты Лизонька. – Зайди на минутку.

Она встретила его испуганным возгласом:

– Ты слышал?

Николай думал, что сестра спрашивает о собаках. Но оказалось совсем другое:

– Папеньку в исправники[33] выбрали. Он сам похвалялся. Из города пакет прислали. За печатями. Вот и напился от радости. Маменька очень расстроилась. Валерьяну пьет… Боится за отца. Как бы совсем у него характер не испортился. Власти ему дали много…

Утром отец укатил на легких дрожках в Тимохино, соседнее с Грешневым село, стоявшее на большой дороге между Ярославлем и Костромой. Там находилась почтовая станция. Алексей Сергеевич обслуживал ее лошадьми из своей конюшни. Дело было выгодное: дорога бойкая, лошадей требовалось много. Поэтому отец частенько заглядывал к тимохинскому станционному смотрителю Петру Хабарову, вечно нетрезвому, засиживался с ним до глубокой полночи за чаркой вина.

Но на этот раз Алексей Сергеевич, к удивлению, вернулся домой рано, до заката солнца. Вся семья была в сборе за ужином. Отец ввалился в столовую, покачиваясь.

– А вот и мы, – бормотал он. – Мир честной компании. Хлеб да соль, едим да не свой. Хе-хе-хе. Любо-нелюбо, встречайте.

Мутный взгляд его упал на Николая. Нетвердо ступая по скрипящим половицам, отец подошел к нему, встал позади стула.

– Т-э-эк-с! – просипел он, наклоняясь к сыну. – Вишь ты, секреты у нас появились. Любовные шашни заводим.

Николай с недоумением посмотрел на отца.

– Ах, шельма! Ах, бестия! – подперев бока, хрипло хохотал отец. Кряхтя и сопя, он с трудом начал отстегивать на боковом кармане кителя большую медную пуговицу с орлом. Пальцы не слушались его. Наконец он извлек голубой, порядком помятый конверт и помахал им перед носом Николая:

– А это что такое?

Николай по-прежнему ничего не понимал. Откуда этот конверт? Кому? От кого?

– Глядя, гляди! – продолжал между тем отец, держа конверт тремя пальцами, как подачку собаке. – Черным по белому

написано: «Я-р-ро-славской гу-у-бернии и уе-езда, – читал он по складам, – се-ельцо Гре-е-шне-ево, го-осподину Не-екрасову Ни-и-колаю Алексеевичу в со-об-ственные руки!» Хе! В собственные руки? Ан нет! В мои руки попало. Петька Хабаров сначала не давал. Закон-де, порядок: в собственные руки доставлю. А я ему бац по физии. Это что, говорю, не собственные руки? Он взвыл, почтмейстеру, говорит, донесу, в суд подам. Подавай! Сделай милость. Со мной судиться – не на праздник рядиться… Знаю все ходы и выходы…

Не выпуская письма, Алексей Сергеевич сделал несколько шагов в сторону и грузно опустился на свой стул, который никто никогда не занимал: он стоял на самом видном месте, очень внушительный, постоянно напоминавший о своем суровом хозяине.

Наступила тишина, прерываемая только недовольным пыхтением отца.

– Если письмо адресовано Николеньке, – неожиданно заговорила мать, незаметно касаясь руки сына, – то зачем же лишать его права на него? Николенька – почти взрослый. Ему можно вести переписку с друзьями самостоятельно.

– Хе! С друзьями? – скривил губы отец, тяжело двигаясь на стуле. – В том-то и дело, что тут девка замешана… Ю-ю-лечка! Так и подписалась, негодница…

Кровь бросилась в голову Николаю. Он сорвался со стула:

– Отдайте письмо!

Алексей Сергеевич отвел руку с конвертом назад, оторопело тараща глаза:

– Александра? Ты слышишь? Каков пострел! А?

Елена Андреевна резким движением подалась вперед:

– Сколько раз я просила вас не называть меня так. Разве вы забыли мое настоящее имя? И, наконец, отдайте письмо Николеньке. Не глумитесь над ним. Отдайте!

Как редко доводилось Николаю слышать в мягком и ровном голосе матери такие твердые и требовательные нотки. В эту минуту она изменилась даже и внешне. Что-то гордое и властное появилось в ее лице.

Но отец ничего не замечал. Наклонившись над краем стола, почти лежа на нем грудью, он с издевкой протягивал конверт то Николаю, то Елене Андреевне, дразня их, как собак:

– А ну, возьми! Пиль!

И вдруг, с необычайной для нее ловкостью и быстротой, мать вырвала конверт из рук отца и тут же передала его сыну.

Алексей Сергеевич откинулся на спинку стула, видимо, не сразу сообразив, что случилось. Затем он медленно засучил

рукава, поплевал на ладони и, поднимаясь со стула, угрожающе прорычал:

– Ах, вот вы как!

Николай бесстрашно шагнул к отцу:

– Успокойтесь, батюшка! Не шумите понапрасну.

Кажется, и не он это произнес. Впервые в жизни так назвал Николай отца.

– Уйди! – замахнулся на него кулаком Алексей Сергеевич. Рванув на себе ворот рубахи, он как-то нелепо, словно огромный куль, свалился на бок, белая пена запузырилась по краям его рта…

Отца уложили на диван, и он вскоре шумно захрапел на весь дом.

Письмо от Юлечки было короткое, всего несколько строк. Полудетский, полуученический почерк. От листочка исходил даже легкий, едва ощутимый запах нежных цветов – то ли ландышей, то ли фиалок.

«Милый Николенька!» Так начиналось письмо. Какие сердечные слова! Сколько в них простодушного доверия, искренности. Обидно только, что первым прочел эти слова отец, что истолковал их по-своему – грубо, оскорбительно.

Юлечка сообщала, что она уже в Петербурге, что очень скучает по Ярославлю, по Волге.

«Не собираетесь ли вы в нашу, еще не омраченную осенним холодом столицу? – спрашивала она. – Как бы я была счастлива увидеть вас здесь, под небом града Петрова, на брегах Невы. Пожалуйста, напишите мне. Жду».

А в самом уголке письма мелким бисерным почерком было добавлено:

«Не сердитесь на меня. Ваш адрес дал мне Мишель. Он очень славный…»

Вот и все, что было в письме. Даже обратный адрес Юлечка не указала, должно быть, по рассеянности.

Ранним утром следующего дня, когда Николай крепко спал, в комнату вошел отец и бесцеремонно затряс его за плечо:

– Подымайсь!

Николай открыл глаза. Отец стоял перед ним в новом голубом мундире с погонами. На боку висела сабля в черных ножнах.

– Собирайся! – приказал отец.

– Куда, батюшка? – не забыв вчерашнего, хмуро спросил Николай.

– По уезду прокатимся. Владения наши осмотрим. Тебе полезно. Скажи, не так?

Николай стал нехотя подниматься. А под окном, у самого крыльца, уже дожидался крытый тарантас, запряженный тройкой сытых лошадей. Позвякивали медные колокольчики на расписной дуге коренника. На козлах понуро сидел Трифон с унылым лицом: поездка с барином не предвещала ему ничего хорошего…

Целую неделю продолжалось путешествие. Уезд был немалый: на десятки верст раскинулся по обеим сторонам Волги.

Какие только селения не встречались на пути: Диево-Городище, Искроболь, Горе-Грязь, Голодаиха, Наготино, Сопелки, Горелово. Странные, удивительные названия! И кто их только придумал? – удивлялся Николай.

Всюду, где только не показывался отец, происходило одно и то же. Новый исправник бранил десятских, сотских, размахивал плетью, таскал за бороды мужиков.

– Я вам покажу!..

А потом садился в тарантас и приказывал ехать дальше.

Бесконечно вилась уходившая к горизонту проселочная дорога, однообразно скрипел и трясся на ухабах тарантас.

Наконец выбрались на укатанный Московский большак. Проезжали через село, которое называлось Карабихой. Стояло оно на высокой горе. Чуть в стороне виднелось голубоватое, с круглой башенкой здание, до половины утопавшее в зелени.

– Князя Голицына имение, – почтительно сняв картуз и обращаясь к сыну, сказал отец. – Губернатором был. Недавно богу душу отдал, царство ему небесное.

И, вздохнув, добавил:

– Ух, богач был! В полную сласть пожил. Позавидуешь!

Он с сердцем двинул Трифона ногой в спину:

– Погоняй! Дрыхнешь, каналья!

Николая передернуло. Будто его самого отец ударил.

Обедать остановились в бедной деревушке, одиноко стоявшей при дороге. Отец был бы непрочь добраться до Ярославля и там устроить трапезу. Но жара и слепни до того довели лошадей, что они едва двигали искусанными в кровь ногами.

– Горе-горькое, а не деревня, – распрягая коней, буркнул в ответ Трифон, когда Николай спросил его, в какое селение они приехали. – Так, вроде, и прозывается – Горево. А может, Егорьево. Что-то я не дослышал. Стар становлюсь…

Казалось, никто не живет в этих скособочившихся, с худыми крышами-ребрами избушках. Тишина могильная. Ни кошки, ни петуха на улице, ни вездесущих мальчишек.

Ходя из избы в избу, Трифон долго искал сотского.[34] Наконец привел едва передвигавшего ноги старичка с колючими, низко нависшими бровями.

– Нету у нас соцкова, – шамкал он беззубым ртом. – Я за старшего. Мне на Миколу-вешнего все девяносто стукнуло. Вот ведь дело-то какое, того-этого…

– Хватит языком молоть! – оборвал его Алексей Сергеевич. – Парного молока! Быстро!

Старец низко склонил лысую, с серыми пятнами голову:

– Нету молочка, батюшка. Барин всех коровок со двора свел.

– Ах, черт бы тебя подрал! – хлопнул Алексей Сергеевич плеткой по сапогу. – Тогда курице башку оттяпай. Слышишь?…

– Нету, батюшка, опять же нету, – кланялся старик, – барину намедни последних отдали. С голоду пухнем. Обратно же подати платить надо. Все поборы да поборы.

Алексей Сергеевич с гневом хлестнул старика плетью:

– Так ты еще рассуждать туда же! Смутьянничать!

Со стиснутыми зубами стоял Николай около тарантаса. Он готов был броситься к отцу, вырвать у него плеть.

Но Алексей Сергеевич уже оттолкнул старика.

– Запорю! – орал он на всю деревню. – Эй, Тришка! Сгоняй мужиков. Бей набат!

Почесывая в затылке, Трифон покорно направился к висевшему посредине деревушки колоколу с длинной, спускавшейся на землю веревкой.

Повернувшись к сыну, отец коротко приказал:

– Тащи погребец.[35]

И, опускаясь на траву, погладил себя рукой по животу:

– Давай угостимся, чем бог послал. Не богато в погребце, но кое-что запасено. Скажи, не так? Молочка вот хотелось да курочку. Только с этим народом разве столкуешься. Ну, тащи!

Но Николай не двинулся с места…

– Тащи, говорю, – повторил отец, засовывая плетку за пояс. – Аль забыл, в каком углу погребец? Все учить надо. – Когда он снова обернулся, подле тарантаса никого не было…

Свернув в сторону от дороги, Николай устремился к Волге. Он знал, что она где-то неподалеку. Спрашивал встречных, заходил в деревни напиться воды.

Наконец впереди мелькнула голубая лента реки. Потом показались золоченые купола Бабайского монастыря. А на том берегу вырисовывалась, подобно маяку, белая церковь. Она видна за многие версты. Нигде нет поблизости такой высоченной горы, как в Аббакумцеве.

Незнакомый лодочник с большой рыжей бородой перевез его на другую сторону. Был он молчалив, угрюм. Нехотя поднимал весла и все вздыхал.

– Жена, братец ты мой, у меня померла, – сказал он,

причаливая к берегу. И, отказавшись принять от Николая медные деньги, попросил: – Ты свечку за нее в церкви поставь. Дарьей звали. Работящая была бабенка, да проклятый бурмистр загубил: погнал в самую водополь в лес, дрова рубить. Ну и застудилась. Сперва ноги отнялись, потом и преставилась…

Торопливо, словно боясь опоздать куда-то, шагал Николай вдоль кремнистого берега Волги. Прыгали круглые камешки из-под ног, шуршал золотистый песок, взлетали алмазные брызги воды…

Как хорошо, что он сбежал! Может, это хоть немного образумит отца. Никогда он не будет помощником отцу в таких делах. Что бы сказали Александр Николаевич и Иван Семенович, если бы увидели Николая с плетью в руке? Бедные, нищие мужики. Нагие, босые. Стонут их дети, стонут жены. От голода, от холода, от нужды. «Все люди равны, все от бога!» – говорила няня. Почему же тогда так много несчастных на земле?

Няня! Он собирался к ней в Гогулино, да так и не побывал. Это недалеко. Надо хоть теперь зайти, не откладывая.

Вспомнилось, как няня, лукаво посмеиваясь, спрашивала:

– А много ли верст до Гогулина?

И весело отвечала:

– Ежели обходами, то версты три будет. А напрямик – целых шесть наберешь…

Вот и Гогулино. Крохотная деревушка. Поскорее бы увидеть няню… Но, увы, спешить было не к чему.

– Перед петровым днем прибрал ее бог, – скорбно приложив ладонь к щеке, поведала Николаю сердобольная женщина, которую он встретил на околице. – Слепенькая была. Не нужная никому…

Усталый и запыленный, затемно явился Николай домой. Гудели натруженные ноги: шутка ли, верст двадцать отмахал.

Горько всплакнул вместе с матерью, вспоминая няню.

– Грешница я, грешница, – утирая слезы, причитала Елена Андреевна, – не смогла бедную старушку спасти. Бросили, покинули. Пресвятая богородица, владычица наша! Простишь ли ты меня, рабу твою недостойную? – И она с надеждой поднимала глаза на икону с теплящейся перед ней зеленой лампадкой.

– Полно-те, мамочка, – вполголоса уговаривал Николай, целуя ее руки. – Разве вы виноваты? Это все Аграфена. Она, она…

Об отце говорить не хотелось. Елена Андреевна забеспокоилась:

– Не случилось ли с ним что.

Алексей Сергеевич не приехал ни на следующий день, ни на третий, ни на четвертый. Встревоженная мать послала нарочного

в Ярославль. Отец оказался там, в своей исправничьей канцелярии.

В субботу, на исходе дня, под окном звякнули колокольчики, послышался утомленный голос Трифона:

– Тпру, стой, дьяволы!

Из тарантаса вылез Алексей Сергеевич, держа синюю канцелярскую папку под мышкой. Не отвечая на поклоны встречавших его дворовых людей, он быстро поднялся на крыльцо. Тяжелые его шаги застучали по коридору. Николай отодвинул в сторону исчерканный вдоль и поперек листок бумаги. Дверь распахнулась.

– Здравия желаем! – входя в комнату, произнес отец каким-то приятно-бархатистым голосом, какой у него появлялся в минуты хорошего настроения.

Николай молча поднялся из-за стола.

– Ну, здравствуй, говорю. Чего нос повесил? Я тебе, брат, подарочек привез. – Он положил на стол папку, осторожно развязал на ней тесемки и раскрыл на две половинки. Затем сел на стул, с которого только что поднялся Николай, и, сокрушенно вздохнув, снова заговорил:

– Больших трудов стоил мне этот подарочек. Окромя всяких расходов, душу канцелярские крысы вымотали. Особливо ваш Величковский. Подумаешь, фря какая! То не могу, другое не могу! А как сотенную сунул ему, все сделал. С полным почтением… На-ка вот, читай!

Отец протянул глянцевитый лист гербовой бумаги с каким-то текстом, штампом и печатью.

– Читай! Вслух! – приказал Алексей Сергеевич.

– «Свидетельство», – негромко прочел Николай, держа лист в руке.

– Именно! Свидетельство! – потирая ладони, подтвердил отец. – Дальше!

– «Ученик Ярославской губернской гимназии Николай Некрасов, сын ярославского помещика Алексея Сергеева, сына Некрасова, – продолжал читать Николай, – обучался в оной гимназии положенным по уставу предметам в том пространстве и объеме, в каком оные проходятся в четвертом и пятом классах, а именно: катехизису, церковной истории, алгебре и геометрии, русской и славянской грамматике, началам риторики, всеобщей логике, древней и средней истории, математике, географии, языкам латинскому, французскому и немецкому»…

Поперхнувшись, Николай закашлялся.

– А ты не торопись. Спешить некуда! – Алексей Сергеевич с довольным видом развалился на стуле. – Продолжай!

– «С успехом по некоторым упомянутым предметам изрядным при поведении добропорядочном», – читал Николай, не веря глазам своим.

– Чуешь, чем пахнет? – самодовольно щурясь, прервал отец. – С успехом изрядным! При поведении добропорядочном! Чисто устроено. Комар носу не подточит. Каков твой родитель? А ты все недоволен им. Бегаешь от него, аки пес борзой… Ну да ладно. Забудем это. Люди свои… Шпарь-ка дальше!..

– «Ныне, вследствие поданной родителем его просьбы о выдаче свидетельства о знании его для представления в Дворянский полк, дано ему, Николаю Некрасову, означенное свидетельство за надлежащим подписанием и приложением печати гимназии…»

Николай умолк.

«Не очень-то грамотно составлено, – подумал он, – но все ясно: в Дворянский полк!»

Отец удивленно вскинул глаза:

– Ты чего? Чти до конца!

– Все, батюшка.

– Как все? А кем подписано?

– Разве и это нужно читать?

– А как же! Без подписей бумажка никакой цены не имеет. Скажи, не так?

– «Подлинное подписал исправляющий обязанности директора гимназии Величковский», – прочел Николай до конца.

– То-то и оно! Величковский, Порфирий Иванович. А подпись – самое главное. Запомни!

Он наклонился к папке и извлек оттуда белый прямоугольный пакет. Краешком глаза Николай успел пробежать по написанным на нем крупными буквами строчкам:

«Санкт-Петербург.
Его превосходительству, начальнику III-го
округа жандармов, генерал-лейтенанту
Даниилу Петровичу Полозову».

Алексей Сергеевич с уважением погладил пакет рукой:

– А это тебе свидетельство на жизнь. Рекомендательное письмо! Генералу Полозову. Прокурора Ярославского братец. Персона важная. Я с прокурором этим запросто: то в картишки срежемся, то бутылочку раздавим. Как приедешь в Питер, так прямо к его превосходительству. Так, мол, и так. Каблучком прищелкнешь. На вас-де, ваше превосходительство, вся надежда. Будьте отцом родным. Ну и все такое прочее.

Отец запрятал пакет в папку, завязал ее крепко-накрепко.

– Что же спасибо мне не скажешь? – вдруг помрачнел он. – В ножки бы поклониться не грешно. Для тебя старался. В люди хочу вывести. Ну?

– Благодарствую, батюшка! – глядя в угол, глухо сказал Николай.

Левая щека отца передернулась.

– Дите ты еще неразумное, как я погляжу, – заворчал он. – Молодо-зелено. Мужиков жалеешь? А чего их жалеть? Дай им волю, они убивцами нашими станут. Тебя первого на воротах повесят. Все добро твое растащат. Камня на камне от дома нашего не оставят… Так-то вот, дружок. Понимать надо, что к чему. Слушай отца да на ус наматывай.

– Я для тебя ничего не пожалею, – не хуже других обмундирован будешь. И за карманными деньгами дело не станет. Бери, расходуй!.. Себя поприжму, а о сыне позабочусь. Вот на твой отъезд семейки две продать думаю. На вывод, в другую губернию. Давно надо от шушеры избавиться, – от этих самых Петровых.

Сунув папку под мышку, отец в раздумье постоял у стола, видно, хотел еще сказать что-то, затем резко повернулся и вышел из комнаты.

А Николай сразу же отправился к матери. Его не столько взволновал предстоящий отъезд в Дворянский полк, сколько судьба Савоськи и его семьи. Нужно было без промедления рассказать матери обо всем, излить ей свою душу. Только она одна может понять его чувства.

Услышав о решении отца продать семейство Петровых, мать всплеснула руками:

– Бедная Василиса! Она совсем больная. И дети еще не подросли… Я уговорю отца. Я попробую это сделать. Он не поступит так безжалостно.

Потом, печально глянув на Николая, она тихо спросила:

– А ты, как же ты, Николенька? Неужели в Дворянский полк поедешь? Ты окончательно отказался от университета?

– Как знать, мамочка? – уклончиво ответил Николай, глядя в сторону. – В Петербурге будет виднее.

– Ох, Николенька! Болит мое сердце. Что-то ждет тебя там, в столице? Если бы стал учиться в университете, я бы и умерла спокойно.

– Зачем вам умирать, мамочка? – встревожился Николай. – Я сделаю, как вы хотите. Подготовлюсь в университет.

Идти к себе в комнату не хотелось. Спать еще рано, читать нет настроения. И стихи не идут в голову.

Мимо дремавшего в будке одноглазого Игната Николай

вышел за ворота.

Вечерело. По дороге к Самарке проскакали в ночное деревенские ребятишки. Вдали над Лешим озером поднимался сизо-белый туман. Где-то одиноко грустила пастушеская жалейка. На краю неба догорала алая заря…

Итак, Петербург! Гранитные берега Невы, адмиралтейская игла. Медный всадник на вздыбленном коне. И Юлечка, Юлечка!..

Дальний путь не пугал. Восемьсот верст на перекладных? Да это одно удовольствие. Новые места, незнакомые люди. Ямщики будут петь свои заунывные песни. Что может быть чудеснее!

Он привезет в столицу свою заветную тетрадь. В ней его сокровенные мечты и надежды. Уже немало накопилось строчек. Но все ли удалось ему? Кто скажет об этом? Кто оценит его душевные порывы?

Как он будет благодарен за теплое, сердечное слово!.. А вдруг услышит другое – холодное, горькое: ты – не поэт, у тебя нет никакого таланта… Тогда уж лучше и не жить на белом свете! Для чего?… Впрочем, зачем заранее так настраивать себя? Зачем предрекать неудачу? Он верит в свои силы, чувствует творческий жар в груди и будет писать во что бы то ни стало!..

Какой тихий вечер! Как необыкновенно сладок свежий волжский воздух. Не последний ли раз бродит Николай по этим, дорогим сердцу местам? Вернется ли когда-нибудь сюда? Не забудет ли навсегда любимую реку?

Нет, нет! Он вернется, он должен вернуться, потому что здесь прошло его детство, здесь – начало всему, всему.

Милый край! Северные, печальные небеса. Родина!

notes

Примечания

1

Девятой половиной в Грешневе, где прошло детство Н. А. Некрасова, называли конюшню, в которой по приказанию барина секли крепостных крестьян.

2

Доезжачий – старший псарь.

3

Восстание декабристов на Сенатской площади в Петербурге в 1825 г. , жестоко подавленное царским правительством. в этом восстании участвовало много солдат.

4

Сельцом в старину называлось деревенское селение, в котором имелась часовня.

5

Михаил Опекушин – отец выдающегося русского скульптора А. М. Опекушина, бывшего крепостного крестьянина, автора памятников А. С. Пушкину в Москве на Тверском бульваре и М. Ю. Лермонтову в Пятигорске.

6

Феноменально – редкостно, исключительно.

7

Взбутетенить – побить, поколотить (так говорили в старой ярославской деревне. Это слово Н. А. Некрасов использовал в поэме «Псовая охота»).

8

Повесмо – пучок обработанного льна

9

Бычки – небольшие тучки.

10

Исаакиевский собор в Петербурге. В его сооружении принимали участие многие крепостные крестьяне Ярославской губернии – каменщики, штукатуры, лепщики.

11

Так в старину называли разбойников.

12

Герцог Бирон – немецкий авантюрист, пользовавшийся при царице Анне Иоанновне неограниченной властью в России, установивший в стране жестокий реакционный режим – бироновщину. После смерти своей покровительницы был сослач в Пермь, а затем переведен на жительство в Ярославль.

13

Затрапезновка – грубая холщовая ткань, вырабатывавшаяся на фабрике ярославского купца Затрапезнова.

14

Рекреационный зал – помещение, в котором проходили перемены.

15

Асмодей – главный демон в древнееврейской мифологии.

16

Комедия окончена! *(итал.)*.

17

С прекращением причины прекращается и действие! *(лат)*.

18

В старину в питейных заведениях вино разливали небольшими медными ковшами с загнутой, похожей на крючок ручкой. Отсюда появилось выражение «выпить по крючочку».

19

Полушка – четвертая часть копейки.

20

В селе Мстера Владимирской губернии было широко развито производство деревянной посуды. Среди крестьян ложка мстерской работы ценилась особенно высоко.

21

Книжка, изданная в XVIII веке в Петербурге под названием «Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению». В ней содержались многие житейские правила, вроде таких: «Зубов ножом не чисти, но зубочисткою… не облизывай перстов, около тарелки не делай забора из костей, корок хлеба» и т. д,

22

Тавлинка – берестовая табакерка.

23

Дорогой друг *(франц.)*

24

Привет! (лат.).

25

На войне как на войне *(франц.)*

Как вы поживаете? *(англ.)*.

27

Нашел! *(греч.)*.

28

Морфей – бог сна *(греч)*.

29

Цибуля – лук *(укр.)*

30

Своекоштный – живущий не в пансионате при гимназии, а на частной квартире.

31

После восстания декабристов в 1вй5 г. царь Николай I создал специальное учреждение для борьбы с революционным движением в стране. Это учреждение именовалось Третьим отделением собственной его императорского величества канцелярии.

32

Бенкендорф – шеф жандармов, начальник Третьего отделения, один из непосредственных виновников гибели А. С. Пушкина.

33

Исправник – глава сельской уездной полиции, выбирался дворянами.

34

Сотский – должностное лицо из крестьян, выполнявшее обязанности полицейского.

35

Погребец – дорожный сундучок со съестными припасами.